

- **НАМ ЦЕЛЫЙ МИР ЧУЖБИНА...**
(роман М. Федотова об эмиграции 80-х годов)
- **НА ДАЛЬНОМ ЗАПАДЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН**
(рассказ Сола Беллоу об американской "глубинке")
- **В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО (СКАЖЕМ) НОСА**
(юмористическая повесть Г. Элинсона)
- **ИЗРАИЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА: ОДНА, ДВЕ ИЛИ НИ ОДНОЙ?**
(иерусалимские размышления композитора Ш. Бара,
режиссеров Н. Салаха и О. Котлера)
- **ЧИТАЯ БРОДСКОГО**
(размышления З. Бар-Селлы над текстом "Стихов
о зимней кампании")
- **ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО**
(полемические заметки О. Кустарева)
- **ОДИН У НАС ВРАГ – НАШЕ СЕРДЦЕ**
(М. Царинник и Д. Таксер об украинско-еврейских
отношениях)

22

МИГУЩАЯ ИИЕРУСАЛИМ
МОСКВА - АМЕРИКА

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

Год издания VII

№ 37

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА. Стихи	3
МИХАИЛ ФЕДОТОВ. Соотечественники (роман, книга первая)	7
СОЛ БЕЛЛОУ. Кому продать дом? (сокр. перевод с английского Юлии Винер)	89
АЛЕКСАНДР ЛАЙКО. Стихи	115
ГЕНРИХ ЭЛИНСОН. Член (ленинградская повесть)	120

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

КИРИЛЛ ТЫНТАРЕВ. Две беседы	137
ОДЕД КОТЛЕР. Театр и политика	148

УКРАИНСКО-ЕВРЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

МАРКО ЦАРИННИК. Только и есть у нас враг — наше сердце	156
ДАВИД ТАКСЕР. Люди Особлага	166

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

О. КУСТАРЕВ. Чего же ты хочешь?	180
---	-----

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА. Все цветы родства	192
---	-----

ЛЮДИ И КНИГИ

АЛЕКСАНДР ДОНДЕ. Литературная жизнь в СССР. Об "Антологии новейшей русской поэзии"	209
Д-р ЯКОВ АЙЗЕНШТАТ. "Антиеврейские процессы в Советском Союзе"	218
Книги, которых мы не читаем. И. МАЛЕР. Из физики-лирики	220

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

**В. Богуславский
А. Воронель
Н. Воронель
Э. Кузнецов**

**Ю. Меклер
Н. Рубинштейн
М. Хейфец
Я. Цигельман**

И. Чаплина

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор
технический редактор — Наталья Рубина
ответственный за выпуск — Нелли Гутина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacifis Grove. Ca. 93950. USA
A. Zeide, 455 West 43 th St., Apt. 38, New-York, N. Y. 10036

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR
L. Gerschtein, 27 Bruckner str. 8 Muenchen 80

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW 4

**Отпечатано в типографии
"ЯКОВ ПРЕСС"
ул. Рош-Пина, 22
Тель-Авив**

ЛИТЕРАТУРА

Лиля Владимировна

СОНЕТ

Томительно проходят дни за днями,
И каждый день на завтрашний похож,
И на сердце ложится временами
Рассудочности каменная ложь.

Две-три разлуки в памяти найдешь —
И то не впрок. Забвенье правит нами.
Я разучилась плакать. Отчего ж
Вдруг залилась внезапными слезами?

Куда спешить? Дышу я не спеша,
Но словно пашня, горькая душа
Все так же ненасытно просит влаги.

И слезы на губах все солоней,
И горечь оттого еще сильней,
Что чувство не доходит до бумаги.

ДУХОТА

Стояло душное лето,
Была духота во всем:
В тенях, в проблесках света,
Утром, ночью и днем,

В каждом вздохе гардины,
В лампочке, что светла,
В платье, знойном и длинном,
С пылью она плыла,

В бое часов сердитом,
Хрипнущем на стене,
В окрике домовитом
Женщины в том окне,

В дочках ее капризных,
В муже, что скучно пьет,
В старческих укоризнах —
"Долгонько смерть нейдет",

В сонном тепле, где двое —
Их дыханье слилось —
Разведены духотою,
Руки их спали врозь...

В каждом спокойном доме
(Может быть, и в раю),
В долгой комнатной дреме,
В долгом баю-баю...

В беличьих шубах, шубках,
В пудреницах, в губах,
В девичьих круглых юбках,
В хрусте новых рубах,

В каждой слабой пушинке,
Дышащей в зеркала,
В каждой гладкой морщинке,
В простыне, что бела,

В нашем хлебе насущном,
В мертвых вещах, в живых,
В снеге, в снеге идущем,
В грохоте мостовых,

В этих дворцах хрустальных,
Сделанных из стекла,
В этих сердцах печальных,
Знавших — что жизнь прошла...

* * *

Ушел. И букетик дрожит на ветру.
Как мог ты уйти? Как могла я остаться?
Как мне тяжело. Мне сегодня — шестнадцать,
И заново кажется: нынче умру.

Ушел. Это значит — погодка по нам...
С перрона, как вновь, одиночеством веет, —
И новые годы ведут по домам,
Как старые девы, судя и черствея.

Ушел. Это память уходит во мрак,
В тринадцатый день декабря, понедельник.
Кто выдумал нас? Благородный чудака?
Досужий мудрец? Сумасбродный бездельник?

Кто выдумал нас? И быть может, за миг,
В тот миг, когда руки откроют объятия,
Как он невесом, мой зеркальный двойник,
Как хохот, как холод в проталинах платья!

Я холод глотаю. Я праздную вновь
Настой этот, наст недовзрослости терпкой.
Мне только шестнадцать. И — зелена кровь!
И зря меня зрелые жены не терпят.

Сон стих. Так стихает веселье в дому.
Так просят докучных — быстрее возвращаться.
Там — рук не целуют! Там — только шестнадцать!
Дам ночи проспаться, а утром пойму...

И вспомню: перрон, твой букет, толчею,
И тетку твою: "Помирились бы, братцы!"
Полжизни стою — как могла я остаться? —
У крайней сосны, у весны на краю.

И заново кажется: нынче умру.
Как мне тяжело. Мне сегодня — шестнадцать.
Как мог ты уйти? Как могла я остаться?
Ушел. И букетик дрожит на ветру.

* * *

Я томлюсь без причины,
Озираюсь окрест:
То ли — выпьет кручина,
То ли — скука заест.

Все в тебе замечаю,
Вечно настороже.
От горчайшего чая
Не пьянею уже.

Неотвязный и праздный
Пожилой разговор
Где ты, многообразный
Сумасшедший простор?

Строчки, строчки и строфы —
Это ль вехи пути?
От житейской Голгофы
Никуда не уйти.

И души напряженья
Жду, строку теребя,
На пороге движенья,
На пороге — себя...

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

(роман, книга первая,
публикуется
с сокращениями)

"И в октябре вспыхнет великая революция, которую многие сочтут самой грозной из всех, когда-либо существовавших. Жизнь на земле перестанет развиваться свободно и погрузится в великую мглу. А весной и после нее произойдут грандиозные перемены, падения королевств и великие землетрясения; и все это сопряжено с возникновением нового Вавилона, мерзкой проституцией, отвратительной духовной опустошенностью, и это продлится 73 года и 7 месяцев.

*Нострадамус, из послания Генриху
Второму 2 июня 1557 года.*

*"...куда бы нас ни бросила судь-
бина
и счастье куда б ни повело,
все те же мы: нам целый мир
чужбина;
Отечество нам Царское село..."*
А.С.Пушкин, 1825 год.

ПРОЛОГ

По склону проскользнула тень, потом вертолет сдунуло в сторону и отнесло в соседнее ущелье. Летчики были крохотными, а себя было очень много, и тело было широким. Они полезли дальше вверх. Деревья стали редкими. Отдельные дубы и сосны с выверну-

тыми корнями. Далеко на горизонте вершины белели снегом, а здесь подниматься было очень жарко. И раздражал липкий несвежий пот. У него нарывали глубокие ссадины на руках — из-за этого приходилось постоянно отмахиваться от назойливых мух. Оперировать такими руками нечего было и думать. И уже некого. В последний день они встретили у разворованного мазара две семьи беженцев. Рядом с могильником в пыли купалась лошадь, а афганцы сидели на корточках вокруг мешков и смотрели с ненавистью, исподлобья. Мужчины были в грязных тюрбанах, а женщины совершенно дикие. Все в разных, с бору по сосенке, восток с западом, одеждах, а дети поголовно с трахомой. И от этих могильников, от шеста с разноцветными лоскутками, от засаленной одежды, от остервенелых мух, вывернутых век и гноящихся глаз шла тяжесть неуютности и грязи. И воды горячей для работы все время было мало.левой ногой было неудобно идти: ничего определенного, но иногда она неловко вставала на камень и начиналась металлическая судорога. И он молча сердился на своих спутников, когда они выбивались из темпа. Итальянская резиновая подошва хорошо держала на камнях, но он уже стер на-нет вторую пару легких скалолазных ботинок. Было очень жарко — спину заливало потом. На спине было черное пятно, величиной с кофейное зерно, а рядом еще четыре угольные точки, которые были приветом смерти. И за эти месяцы они не увеличились, а только притаились, и в этом месте на спине он постоянно чувствовал тревожную немоту. Пару лет назад канадский мальчишка Терри Фокс пытался на единственной ноге пересечь Канаду, убегая от своей саркомы, и его сняли с этого марафона с нафаршированными легкими. Вся Канада ждала, затаив дыхание, у телевизоров. Неизвестно чего. От этих точек не убежать. И сейчас Андрей тоже ждал. Все эти месяцы он ждал, что же произойдет с ним самим, а с ним ничего не происходило. И сейчас оставался последний перевал, за которым был Пакистан. Проводником был усатый парень в американском боевом жилете и овечьей нахлобучке на голове. Ему было лет двадцать пять, и когда он злился, у него багровели сосуды на жилистой шее. Проводник был очень ненадежным. В глаза он не смотрел, и за ним все время приходилось следить. Он вел их от Гардеза, где они в последний раз разворачивали импровизированный стол. Они там оперировали пожилого старосту деревни, раненного во время бомбежки. Пока они работали, половина деревни стерегла их с автоматами под дверью. И там им дали этого парня, к которому неприятно было поворачиваться спиной.

Он яростно целился по вертолетам своим китайским калашниковым. И каждый раз, когда эта сволочь стрекотала над ними, Андрей с беспокойством ждал очереди. Не хватало им в последний день размазать кишки по этому склону с овечьим дерьмом и колючками. Тропинка исчезла. Шла серая сыпучка, но проводник делал в каких-то местах зигзаги. Наверно, там иначе блестели камни. Кожи на ступнях не осталось. Чистой дороги уже набиралось дней пятьдесят. Почетного самоубийства не получилось. Нужно было жить дальше. Андрей несколько месяцев не курил и дышал легко. Один из канадских врачей расстегнул ремни, и Андрей взял у него станковый рюкзак с остатком инструментов. Весной с ними шли носильщики. Они привезли с собой пятьсот килограммов медикаментов, а сейчас остались спальники и вот этот рюкзак. Можно было бросить и их. Канадцы уже больше месяца из-за чего-то между собой не разговаривали. Сейчас они шли по последнему защищенному участку, а потом до перевала шел голый кусок, который лучше было бы пройти ночью, но они собирались проскочить его сразу после очередного облета. Оставаться тут лишнюю ночь не хотелось. И прошлой ночью вода во флягах замерзла. Они долго сидели и прислушивались к шуму вертолета, и Андрей думал, что до конца жизни будет теперь ненавидеть этот звук. Когда вертолет улетел, они поднялись и неловко побежали. И на бегу Андрей никого не вспомнил. Никого из близких. На седловине он оглянулся. Они забрались довольно высоко. За перевалом, внизу, белел пограничный пакистанский городок, а за спиной — три большие деревни, в которых сейчас стояли советские гарнизоны. И по пыльному шоссе что-то двигалось. Было плохо видно. Нужно было быстро спускаться: вертолеты могли отбомбиться и над Пакистаном — не очень там стали бы разбираться. Они грузно побежали вниз по серпантину, а потом осторожно спустились до деревьев над отвесными скалами. Падать там было метров триста. Андрей увидел парящих над ними грифов и выругался.

— Better out than in, my mother used to say, — сказал один из канадцев.

— Fuck it.

Они еще несколько раз слышали вертолет, но над перевалом он не появился. И Андрей подумал, что сможет еще повидать дочь.

Дверь распахнуло сквозняком, и пока я пыталась догнать и собрать разлетающиеся со стола бумаги, я вдруг поняла, что такой сквозняк уже был. И был со мной. И квитанции из химчистки так же рвало из рук, комната от ветра вытягивалась в длину, такой же яростный поток наэлектризованного воздуха метался от стены к стене, к потолку, и все, чего он дотрагивался на своем пути, зажигалось голубым и синим, потрескивало от разрядов и гудело. Я вспомнила, как меня развернуло лицом к шквалу, в последний раз хлестнуло лицо, ладони, грудь подмороженными снежинками и исчезло. Буйство кончилось. Деревянный пол перестал скрипеть. И бури во мне на много лет стихли.

Забываю себя. Хочется курить. Зябну во сне. И кожа перестала отторгать колготки. Мне даже нравится элегантность своей ноги в тонком дедероне. Бездушная фикция. Голос сохнет. Покрываюсь броней.

Но во мне остались слои, в которых еще можно отыскать крохи любви. Лучше туда не погружаться. Начинается уныние и темная тоска. И уходят все силы. А силы нужны на жизнь. Со своими раздвоениями я стараюсь бороться, и тема эта скучная. Про мои раздвоения соглашается слушать только мама, которой я стараюсь ничего не рассказывать, и мужчины, имеющие на меня определенные виды. Я вообще заметила, что большинство людей в основном интересуются кровавыми ужасами и сексом. Почему-то всех моих знакомых радует история о том, как сумасшедший изобретатель в приемной Академии Наук отрезал голову секретарю Келдыша и, дико озираясь, кричал, что так будет со всеми, кто станет на его пути, и скандал в Институте Экспериментальной Медицины, где освободилось место завлабораторией и старший научный сотрудник убил своего соперника, расчленил и сварил в эмалированном ведре с надписью "3-ий этаж". Все любят слушать, как невеста художника Игоря Чернецкого заразила его гонореей за три дня до свадьбы, но Игорь относится к женщинам очень отстраненно, и все равно на ней женился, потому что обещал. Пока в доме Чернецких кипели страсти, его избранница – худенький бесцветный мышонок из Калинина – объясняла будущей свекрови, что она "с мальчиками баловалась и через штанишки заразилась", а надменная полька Ванесса Теофиловна Чернецкая не нашлась, что ответить на эти непристойные подробности, и, поджав губы, величественно удалилась. Мужчины,

оставшись в нашем доме в одиночестве, с жадным любопытством листают учебники гинекологии, и вопрос, сколько крови женщина теряет в месячные, интересует их больше, чем даже подпольные антисоветские издания. Мне самой в четырнадцать лет, после того, как меня взяли на "Ночи Кабирии", снилось, что я стала профессиональной проституткой и толстые дядьки с сизыми павианьими носами доводят меня до дверей своих квартир, откуда я, страшно стесняясь, сбегая. Но в обычной жизни люди убивают друг друга редко, а те, кто умер по моей вине, не приходят ко мне во сне. Последняя женщина, смерть которой я, видимо, ускорила, притащила мне за неделю до этого связку тараньки, и это я вспоминаю чаще, чем ее смерть. И не каждый день знакомых художников заражают невесты, и никто никого не варит. И у меня перестало обмирать сердце, когда мужчины за моей спиной напряженно запирают дверь на ключ, и даже плечо перестало что бы то ни было чувствовать, когда с него скатывают бретельку. Каждый час уносит частичку бытия. Когда я по утрам осматриваю себя в зеркале, это не вызывает у меня ни гордости, ни интереса. И я избегаю любых беспокоящих меня мыслей – и про любовь, и про смерть. Избегаю и боюсь. И с отвращением отношусь к телефонным разговорам. Но в то воскресное утро мы проснулись именно от телефонного звонка. Вернее, я поняла, что Алешкина рука ищет на ковре телефон, и мысленно въехала вместе с ним в столбик пепла, который... Да, мы вчера опять поздно легли.

– Але. Я вас слушаю.

Алешка нашел трубку, но я понимала, что он преувеличивает: он еще не проснулся.

– Але, я вас слушаю.

Сейчас он напряженно продирает глаз и выясняет, той ли стороной он ее держит. Голос его прозвучал поживее:

– Ничего не слышно, перезвоните.

Алешка зевнул. Нужно было мне самой поднять трубку: наверно, это Нестеров. Я уже три дня жду его звонка, но ясно, что заговорить с Алешкой Нестеров себя не заставит. Если сейчас не перезвонят, я снова усну. Я еще не просыпалась. Тонкая корочка осеннего льда отделяет меня от яви. И на этот раз я ускользну неузнанной. В полжизни назад. В полусон с цветными видениями. Я от всего защищена: телефон молчит, а подсознание копается в ассоциациях и где-то за синей лампой карантина (по свинке) услужливо подает мне сердитого отца. Он уже в форме, и в его

четкий утренний график: семь — бритье, семь десять — завтрак, в семь тридцать из машины сигналит матрос с рыжими гвардейскими ленточками — в его четкий утренний график врывается нелепый звонок. Их знакомые так рано не звонят. Я еще без школьного передника, и меня обжигает мысль, что я первой должна успеть к телефону. И я лечу в шлепанцах на босу ногу, а отец все равно сердится. Он мрачно ругает неизвестных хулиганов, но я вчера видела: Сережа Космачев держал дверь, а еще кто-то — он сидит у окна на изрезанной третьей парте — смотрел классный журнал, который наша “училка” забыла на своем столе. Мы проходим со Светкой Мезенцевой по коридору и не смотрим: ну, вот как можно не смотреть — так мы не смотрим, но я знаю, что на последней странице журнала они ищут мой телефон. Шестой класс. Я освобождена от физкультуры. Слава Господи! Ненавижу, когда девчонки осматривают меня в раздевалке. Цветные сны! Занудный фон уроков и то, из чего в действительности состоит школьная жизнь, — соперничество с девчонками и переглядывания с мальчиками. Я хочу тут плавать. Не будите меня отсюда. Наш класс в зеленых маечках. Нас трое в классе, и мальчишки сдувают у меня алгебру. А утром они станут бесить папу своими звонками. Я разрешаю себе уплыть еще глубже. Там идет жизнь. Там страшно столкнуться лицом с мамой: она может заметить, что подкрашены глаза, что я всю ночь спала на ее бигудях и на мне туфли, которые разрешено надевать только на Первое Мая. Мне еще предстоит прокрасться под самым маминым окном и только за углом торжественно, с видом победительницы, распрямиться. Боже, как светло жить назад! У меня одно утро в неделю, когда я могу спать и не просыпаться: в субботу обход отделения, а сегодня мне снятся зеленые маечки. Я чуть отталкиваюсь от земли пятками, и меня снова кружит. И еще можно спать и спать.

Тут я почувствовала жесткую Алешкину руку на бедре. Нет, нет! Вы ошиблись. Меня по ошибке будят в прокуренной комнате рядом с возбужденным мужчиной. И разве мне столько лет? Я точно помню, что вчера мне исполнилось десять. В крайнем случае, семь. Или двенадцать. Ко мне еще нельзя иметь сексуальных претензий, а меня будят во взрослой женщине, у которой на бедре чужая рука, и нужно быть последней шлюхой, чтобы тяжесть этой руки с себя не сбросить, а я не последняя шлюха, и кожа дыбом, но руку я покорно терплю. И никто не смеет касаться моих губ, но мне их опять не защитить. Я еще сплю, а чужой язык, как муха, которую уже нет

сил отгонять, а можно только вздрагивать во сне коленкой, — как назойливая пытка, моих губ касается чужой язык. А сейчас я начинаю чувствовать запах: это чужой запах, никто из моих знакомых так не пахнет. Если это муж, почему у него такой чужой запах? Но все в порядке: муж значит муж. Значит, можно не просыпаться. А чужая рука сжимается на бедре, утверждая свою власть. Как-то он чувствует, что я неглубоко сплю. Уже начало светать, и на Кировскую свернул восемнадцатый трамвай, отвратительно лязгнув бронированными вагонами. Почему так гадко, когда по утрам до тебя дотрагиваются? Я дозирую мутность взгляда и шепчу: “Ах, перестань, я еще сплю”. Кому все это нужно? Почему нельзя просто лежать рядом? Мы два года вместе, а коже не привыкнуть. Каждый раз подобный страх, что тебя сейчас осквернит чужой мужчина. И голос. По утрам. Только первую секунду, но каждый раз по утрам, когда я слышу его голос, у меня начинается паника. Плохо. Скучно. Признаться ему в этом я не могу. Он прекрасный человек, и мне абсолютно не хочется его обижать. Если замереть, думать о ком-нибудь другом и совсем-совсем не отвлекаться, то взлет может произойти сам. Когда милый уже спит, я часами простаиваю под горячим душем. Я не ложусь, пока не появляется точная уверенность, что я сразу же засну. Половину ночей у нас горят окна. Безнадежно и тускло. Мне не трудно лечь с ним в постель, но меня раздражает, что я еще должна ему подыгрывать и изображать неземное блаженство. Он хочет видеть, как я с ним бесконечно счастлива. Иначе он очень расстраивается и начинает наказывать меня своими душевными переживаниями. Но изображать неземное блаженство, закусывать кончик ватного одеяла или плакать крупными слезами я не хочу. И счастье давно кончилось. Аминь! Нужно вставать и начинать этот отвратительный день. Я в капкане всеми лапами. И с каждым днем увязаешь все глубже. Заснуть, чтобы никогда не просыпаться. Лежит вот Ленин в мавзолее, и ничего его не мучает.

— Подожди, я схожу в ванную.

Раздражение в голосе целиком относится к себе. Это у них называется “утренним сексом”. Я сплю. Я не хочу просыпаться и видеть этот мир. Я не хочу ни изгибаться, ни шипеть, ни мурлыкать. Я не хочу, чтобы мною пользовались. Список моих “хочу” обычно значительно короче: сегодня там стоял всего один пункт — добраться до ночи целехонькой, чтобы меня не выводили “на чистую воду”, или уж порвать со всеми к черту и начать новую жизнь со спокойной, чистой совестью.

Я осторожно притворила за собой дверь, но в ванной уже вовсю хлестал душ. Это встала моя одиннадцатилетняя дочь.

Зачем она встала в такую рань — это никому неизвестно. Очень Алешка меня вовремя взбудоражил. Хорошенькое утро! Просыпаешься в совершенно нормальном состоянии и через десять минут уже выжата, как лимон. Какой-то кретин путает номер. Алешка начинает свою идиотскую возню, и Дарья в шесть утра вдруг надумала помыться. Меня поколачивает. Я еще полностью себя контролирую, но критика становится слабее.

— Даша, даю тебе еще три минуты!

— Мам, ну вечно ты, я только вошла.

— Я же тебя, кажется, не гоню. Я даю тебе еще три минуты. У меня масса дел!

От своих слов меня физически тошнит. У меня, разумеется, не может быть никаких дел в такую рань, в воскресенье. Но это ее, паршивку, не касается. Нужно слышать ее наглый тон! Она меня специально дразнит! Она со мной так разговаривает, что я зверею! И уж во всяком случае, я не обязана давать ей отчет, за кем я замужем. Меня уже несет. Я срываю с вешалки дремлющий плащ, подхватываю что-то на ноги и отправляюсь прогуляться.

ГЛАВА 2. ОТ АВТОРА

В шесть часов одиннадцать минут этого же дня, на побережье Средиземного моря, за Акко, к ливанской границе подъехал выцветший джип с неровным военным номером. За рулем сидел смуглый юноша-водитель, а рядом с ним офицер в легкой гимнастерке с тремя шпалами на плечах. На подъеме к контрольному пункту они пропустили встречный ряд автобусов с отпускниками, а потом, резко вильнув в освободившуюся полосу, проехали границу насквозь, не останавливаясь. Начинало припекать. Капитан покусывал рыжий ус и протирал лысеющий лоб выгоревшей форменной шапочкой. Практически, никакой границы и не было: три солдата-резервиста в неаккуратно сбившихся гимнастерках проверяли документы, а четвертый, постарше, дремал на деревянном стуле. Лицо его показалось капитану знакомым, кажется, он работал в каком-то тель-авивском банке.

За границей земля легла мертвой. Ни души. Угрюмо и пусто. Через три километра они заметили мрачного черного козла, пасшегося на заросшем люке. В преисподнюю. Перед джипом шли четыр-

надцать грузовиков ООН. Ребята в ультрамариновых беретах, в два ряда, прижавшись друг к другу спинами, совершали патрульный рейд по буферному коридору. Патрулирование не отменяли, но стеречь было нечего: фронт давно переместился на сто верст к северу. Они обгоняли грузовики по одному, пережидая встречный транспорт внутри колонны. Ооновцы блокировали дорогу и старались не пропустить джип вперед, но их положение в пограничном районе было нелепым и раздражения они не вызывали. Скорее, профессиональное сочувствие. Над самым берегом, заваленным обломками скал, окруженным цепкими кустами, низко пролетели два израильских транспортных вертолета. Пошли рябые, длинные железобетонные заборы, густо политые из танковых пулеметов. Незадетых участков не было, но сквозных отверстий мало: пять дюймов толщины. Каждые сто метров тяжелые железобетонные секции были сдвинуты танками, как калитки. В проемы неприветливо смотрели запущенные апельсиновые сады с низкой кроной, царапающей землю: простреливались только узкие дорожки, глубоко деформированные гусеницами. Шоссе было измято, большие выбоины наспех залепаны — день и ночь работали дорожные укладчики, но по краям асфальт до сих пор был обгрызан и разодран в клочья. За Аазивой, на узком участке дороги, спустило колесо. Пока водитель ковырялся под машиной, капитан бросил на дорогу складной предупредительный знак и коротким стволом своего "галиля" отгонял подальше от джипа идущие на север машины. Мимо удовлетворенно проехали Юнайтед Нейшенз, колесо в колесо, почти наезжая капитану на ранты ботинок. На голубом фоне развевался ооновский череп со скрещенными костями. На работу неслись клетки грузовых фургонов, облепленные сельскохозяйственными рабочими, и тощие легкие мотоциклы, тащившие по два седока. В стране, в которой капитан родился, такие мотоциклы раньше назывались "макаками". У сидевших сзади ноги свешивались и трепетали в воздухе. Ливанские машины торопливо шархались в сторону и объезжали капитана, только мотоциклисты выглядели паразойничьи, — непокоренные кавказские абреки, в зубах ятаган. Зеленый цвет исчез, все было покрыто густым слоем серой пыли: сады, широкие стены, дети, даже стаи сорок. Пошатывались пыльные финиковые пальмы. Много суток тут непрерывно шли танки. Эта толстая танковая пыль пролежит теперь тут до дождей. Капитан поглядывал по сторонам: из садов простреливали по военным машинам, а протесывать заросшие сады было трудно.

Они поменялись, капитан сел за руль, а молодой водитель, сначала, задрав солдатские ботинки на ветровое стекло, устроился рядом, а потом перебросил свой автомат на заднее сиденье и перевалялся туда сам. Дорога вернулась к берегу. На сохранившихся домах сушилось белье. Временами попадались короткие остатки железнодорожного полотна. Капитан знал, что железной дороги здесь нет уже тридцать лет, но в общей, вверх дном, разрухе трудно было отличить повреждения последних двух месяцев от вековых или годичных.

В Цоре они стали искать автомастерские. Патруль друзей послал их к лагерю палестинцев в километре от наполеоновской насыпи. Стояли несколько неповрежденных сараюшек, обвешанных заклеенными шинами. У входа торговались пятеро небритых палестинцев в соломенных и примятых джинсовых шляпах. Не переставая переругиваться, они взялись клеить шину, потом помогли прикрутить ее ремнями на место. Вокруг мастерских было месиво из покрышек, камня, стекла, молочных пакетов, семечек, рыбных хвостов и давленных американских жестянок. Нью-йоркская свалка. Развязный мальчишка лет тринадцати, продававший американские сигареты, пытался всучить им блок "Кента". Капитан отвернулся, придерживая автомат на всякий случай ногой, но наглый мальчишка лез со своими разговорами прямо в кабину. Он тыкал рукой в обломки и на ломаном английском рассказывал, что здесь был их дом. В обломках целеустремленно, по-взрослому, играли грязные детишки. Играть было чем. Отец и два старших брата собирали апельсины в саду, рассказывал мальчишка, и их схватили как террористов. "Ноу террорист, вай ин призон?" Мальчишка был большим демагогом. У мастерской стоял новенький сверкающий трактор "Массей Фергюссон". Провезли на тачке высокую батарею булочек с тмином. Капитан заметил, что мальчик подмигивает друзьям, стоящим у лотка с сигаретами. Капитан узнал это подмигивание: потом мальчишка станет похваляться друзьям, что наговорил с три короба важному израильскому капитану. Но палестинский мальчик ошибся: капитан тоже был мальчиком, ни за что не отвечал и на вопросы ответить не мог. И думал про себя, что и никто на свете ни за что отвечать не может.

После разговора с мальчиком день стал ребячливее. Капитан понял, что он не в чужой стране. Или не более чужой, чем Израиль, за который он служил. Он стал узнавать знакомые вещи. Навстречу один за другим проезжали патрульные джипы с тремя тугими

антеннами на каждом — антенны оказались длинными удочками, а рыжему сержанту нравилось свешивать ноги и дуло автомата за борт, и капитан ему позавидовал. Он обернулся к своему водителю, но тот, к счастью, ничего не понял. Водитель был приветливым и исполнительным сефардом, но капитану он был менее понятен. Может, у азиатов другой жизненный цикл, и они раньше взрослеют? Они проехали мимо небольшого пруда, в котором лежал перевернутый мерседес, а рядом стояли бронетранспортер и две легковые машины с ливанцами. Солдаты купались, ливанцы входили в воду немного поодаль. Девушка стояла по колено в воде, подоткнув юбку, совсем как Вовкина мать, но это было очень давно. Не исключено, что солдаты тоже были ливанцами, с дороги не разобрать — форма одинаковая. У ливанцев должен быть кедр на эмблеме, подумал капитан, настоящий ливанский кедр, который еще назывался сибирской сосной. Капитан читал, что ливанцы не настоящие арабы, в них течет кровь финикийцев. Военные финикийцы были молодыми мужчинами, и их поясицы были украшены роскошными кобурами. В израильской армии пистолеты были отменены. Военные финикийцы казались перекормленной гражданского населения и более с усами. Но они тоже были детьми. По берегу длинного оросительного канала бегали мальчишки с мокрыми волосами. Капитан вздохнул. На каком-то совершенно безлюдном участке дороги выбритый до пронзительной синевы лысый дядька торговал одеколоном. Очень хотелось пить. Снова пошли дома, густо политые пулями. И небольшие дверцы под телевизионными мачтами,брякнувшие крупными трещинами. За камышом и недлинным базарчиком блеснуло море. Помойки и свалки не резали глаз и были неразличимы в общем пейзаже. Опять навстречу ехали машины со скарбом — то ли возвращение, то ли бегство...

Водитель на заднем сидении уснул, и капитан остановил джип рядом с уличным разносчиком и купил на ливанские деньги две банки канадской шипучки. Одну он поставил к автомату спящего водителя. Лимонад был острый и очень холодный. Все факты были невероятно интересными: лысый дядька, шипучий лимонад, — но ни в какие закономерности они почему-то не выстраивались.

Неожиданно попался неповрежденный городок. Капитан поискал свободной рукой под сиденьем карту. По дороге шла высокая блондинка, и это его отвлекло. Еще через восемьсот метров стоял осевший дом с прислоненной на время к стенке крышей, а около него, положив голову на лапы, дремала овчарка. На склонах перед

Сидоном блестяли громадные нефтяные баки, этот участок брали морским десантом. Капитан входил в Ливан на восточном участке, в Друзии, и поэтому ему все было интересно: быть капитаном, играть в мальчика, и его игра никому не причиняла вреда, потому что в мире было еще много других капитанов, которые в мальчиках не играли.

У въезда в Сидон стоял пятиэтажный дом без серединки, на сохранившихся балконах парусили простыни на веревках, а под домом, на стеллажах из развалин, вальяжно расположился торговец обувью. Жизнь входила в норму. Торговали модельной обувью. Победа. "Ведь это победа!" — сказал он нечаянно вслух. Водитель заворочался и проснулся. Прополоскал рот лимонадом, и они стали изредка перебрасываться односложными фразами. Над городом возвышались рубки океанских лайнеров — уцелевшие пирамидальные многоэтажки. Сожженные советские зенитки канцелярскими скрепками торчали из всех канав. Война кончилась. В батарее у капитана было всего двое раненых. По военной теории партизанские войны на чужой территории регулярная армия всегда проигрывает. А здесь была победа, настолько полная и безоговорочная, что капитану чудились подвох и ловушка. Это вызывало у него сильную тревогу, и настроение у него становилось то лучше того, что он видел, то хуже, а то и вровень.

Проехали разбитый Дамур, свалки, баклажаны, стекла, колеса, половинки автобусов, пушистый кот на поленнице, изрешеченные дома, этажи скрученные в косичку, запах гари, хищные военные грузовики с обрубленными мордами.

Из встречной машины выбросили какой-то предмет, и капитан мгновенно затормозил и пригнулся. Банка "Севен-ап". Он поехал дальше.

Ничто здесь не напоминало курортную страну. Маленькие дети играли у самых обочин. Полгорода пустовало. Одинокое чертово колесо. Парк культуры. И отдыха. Теперь до моря было метров тридцать. Оно равнодушно плескалось и дурманяще пахло.

Сразу за Дамуром они увидели Бейрут. Рио-де-Жанейро Средиземного моря. Вдоль дорог — черные "ЗИЛы". "Газики", сдвинутые в кювет. За несколько километров до города они свернули направо и на второй скорости потащились в гору, к лежавшему над Бейрутом плато. Дорога была заставлена израильскими танками "Меркава", эдакие грустные муравьеды со свешенными носами. Их батарея стояла последней в ряду, и они проехали мимо соседей,

завтракавших под маскировочными сетками, мимо валяющихся башен советских танков, мимо горелых “Катюш”.

Сегодня их часть переводили к шоссе Бейрут—Дамаск. Шли последние сборы. Солдаты вяло ходили по лагерю, волоча за собой автоматы. Каждый второй походил на очкастого математика. Батарея стояла прямо над Бейрутским аэродромом. Капитан прищурил глаз, и посадочная полоса стала перевернутой слаломной лыжей. Пара забытых самолетов.

Вокруг были колючие склоны, которые свистели, дышали, жили, трещали и щелкали. Надрывались пересохшими кузнечиками. Будто и не было войны. А война была. Погибали люди. И это было плохо. У капитана в прошлом году умерла двухлетняя дочь. Но он и сам чувствовал, что много раз умирал раньше, и от этого сразу становилось легче. Один раз он тоже умер маленьким.

Капитан выслушал рапорт своих заместителей и доложил коменданту части, что вернулся. Потом он прошел к своей палатке, выпил там кофе из пластикового стакана и еще постоял напоследок с сигаретой и послушал, как Бейрут просыпается и стряхивает с себя серые остатки утра.

Иногда, как полотнище на ветру, доносилась пулеметная стрельба. По ночам она поднималась над морем серебряными столбами. В море и в небо улетали советские снаряды. Снаряды тоже были знакомыми. Над их созданием в Ленинграде работал родной отец капитана, и в кабинете у него стояли две пепельницы, сделанные из вороненных гильз.

Через два часа его батарея снялась с места и осторожно соскользнула вниз к шоссе. Они замыкали вытянувшуюся змеей колонну самоходных орудий, и капитан снова немного поиграл в мальчика. Змея отвернулась от Бейрута, вытянула по шоссе свои кольца и, отплеываясь гарью, подрагивая, вползла в сырое ущелье, ведущее на восток и наверх. Там капитана отвлекли, в грохоте вездеходов трудно было сосредоточиться, капитан устал. И на целый день он забыл о игре.

ГЛАВА 3. ОТ АННЫ

Есть люди, которые помнят только хорошее. Или только плохое. Или помнят, как хотят запомнить. А я вообще ничего запоминать не хочу, но я ничего не могу забыть, у меня не получается.

Последнюю неделю вокруг меня разворачивалась детективная

драма с постелью, к чему я с интересом присматривалась, пока не оказалось, что по ходу действия меня прочтат в главные героини. И они мне так заморочили этим голову, что я совершенно перестала себя слышать, а потом было уже поздно что-нибудь исправлять или менять. Я смотрю эти два дня, как видеозапись проигранного матча: вот сейчас кто-то потеряет мяч, ошибется защитник, вратарь вышел непростительно далеко...

Я хлопнула входной дверью и отсчитала восемьдесят две мраморные ступени с медными петлями от дореволюционных ковров. На этих ступенях я родилась и сюда хочу возвращаться старухой. Мы живем на третьем, и мраморных, собственно, вдвое меньше. И ковры выше второго этажа тоже не выстилали, и сам этот дореволюционный размах к третьему этажу как-то иссякал, что отчасти объясняло мне причины гражданских смут. На этих, суживающихся к чердаку, "ступенях народного гнева" я себе предметно представляла ленинское выражение, что низы не хотят, а верхи не могут. И мимо чугунных столбиков в подъезде, помнящих фонари, мимо широченных подоконников, помнящих поцелуи, мимо закладки под трубой, где у меня, а потом у Дашки хранились мел и коробочка из-под гуталина для игры в классики, я выбежала на Кировую. Мало кто помнит значение этого слова, и улица давно переименована в честь непереиздающегося Салтыкова-Щедрина. СТОП. Здесь по спине скользнул холодок, с которого начинается моя видеозапись. И я кручу ее раз за разом: спиной, затылком я чувствовала давление чьих-то глаз. Но тогда я, отмахнувшись, пробежала мимо кинотеатра "Спартак", обосновавшегося в голубенькой церквушке, где на афише Леонов застенчиво комкал кепку, и пошла по Петра Лаврова, которую по каким-то внутренним законам никто не называет Фурштатской, хотя высокообразованный идеолог народничества был по всем статьям сомнительнее Салтыкова-Щедрина. По этому пути я десять лет топала в английскую школу, хоть были две обычных, значительно ближе. Но родители решили, что мне полезнее проветриваться до английской, что заодно свело к минимум их общение с моими школьными учителями, к чему у них было стойкое отвращение. Каждый метр этого пути: мимо американского консульства со слоняющимся возле него заспанным милиционером, мимо пункта приема посуды, где только в это время дня не было очереди, — каждый метр дальше был насыщен кусками и обломками разговоров и объяснений, шепотом и обидами, и стотысячный раз у меня застрял каблук в решетке над подваль-

ным окошком, где треснутый целлулоидный пупс и кисточка сморщенной рябины на серой вате между стеклами всегда вызывали у меня желание завывать, но я не могла не пройти по ней, как я ходила в десятом и в первом, над этим сырým колодцем, выстланным заплыванными окурками. Я посмотрела, как под окнами роддома взъерошенные отцы передают что-то знаками в закупоренные окна, и проводила взглядом фургон, выезжающий из ворот хлебзавода, — его запах всегда доносился до нашего школьного двора. Я проводила его глазами и, встревоженная, пошла дальше, до самых ворот Таврического сада, подбирая по дороге желуди в сморщенных шапочках, которые Дашка давно уже перестала собирать. Кроме ранних собачников в парке никого не было, но это ощущение, что за мной наблюдают, постепенно усиливалось, напоминая один из моих повторяющихся цветных снов, в котором я лечу, крохотная, в объективе какого-то гигантского, причудливо раскрашенного глаза.

Вдоль моих любимых деревянных скамеек под ногами чмокали темные листья. Я шла и ежилась. Холодок в спине не проходил. Точно такой же холодок резанул меня в понедельник, когда я, беспричинно и беспечно счастливая, бежала утром в больницу, но на углу Литейного, около Дома офицеров, остановилась — взгляд в спину! — и резко обернулась. Сзади косолапо, под ранцами, бежали две школьницы и дворничиха прижимала к дородной груди совок, похожий на этрусский щит, и растрепанные метлы.

И вздрогнула. На мгновение мне стало жутко. Было холодно и солнечно. Кончилась летняя липкость воздуха. В этот день мы вышли из дома вместе с Дашкой и, хоть еще не помирились, стукнулись, не сговариваясь, сумочкой о портфель и, кружась, разлетелись в разные стороны. А через несколько минут я поднялась по больничной лестнице, на ходу превращаясь в Анну Васильевну, разодрала крахмал халата и рассеянно пошла к операционному блоку, здороваясь по пути со своими больными, чтобы в перерыв после первой операции выйти к городскому телефону и провести этот обреченный разговор.

От раза к разу эти два дня — воскресенье и понедельник — уплотняются, и под шорох листьев Таврического сада я с бравадой самоубийцы повторяю все фразы их сценария.

У него могло и не быть определенного плана. Может, ему просто хотелось послушать мой голос. Непонятно и неизвестно. И я мысленно шуршу листьями и каждые сорок секунд оборачиваюсь, как

контуженный летчик-истребитель. Ведь я с первой секунды, с застрявшего в решетке каблука, могла вычислить, что со мной происходит. Но я не сделала усилия, без которого прошлое катится на поводу у predeterminedности и мы расплачиваемся за него неминуемым настоящим.

А пока шло воскресенье, Алешка и моя дочь что-то молча жевали на кухне, и я им объявила свою волю — завести для утренних прогулок спаниэля.

ГЛАВА 4. ОТ АННЫ

Злосчастное воскресенье входило в силу. Над нами нависла очередная осень, и у людей, с которыми я дружу, происходили разные события. Люська Малкова сделала неудачный аборт и лежала с пельвеоперитонитом, у Липовецких была пятнадцатая годовщина свадьбы, Кит Нестеров находился под следствием, а Кожевников собирался разводиться с женой,пил и изрядно ее поколачивал. Но при этом все мы уже две недели были заняты предпусковыми сборами, и сегодня мне с Васькой Шахматовым предстояло покупать консервы, а Алешка уезжал на дачу за палатками. За Алешкой должен был заехать Саня Ланский, “честный Саня”, прозванный так за умение говорить в лицо всякие гадости, породистый кобель с мощными, кривыми ногами.

БЕБЕБЕХ! Хлопнула входная дверь. Алешка вошел на кухню, держа в руках кусок штукатурки. “Покажи ей сам, когда вернется, а мне сюда штукатурку нечего таскать...” Как они меня оба раздражают! Приперся на кухню с куском штукатурки. Я отдыхаю дома, когда их нет. Сейчас Алешка уедет, и у меня будет полчаса длинной жизни. Я ненавижу воскресенье, когда они оба дома, ничего не делают и непрерывно просят есть. Я бы уезжала куда-нибудь на воскресенье, но ни у одного человека, с которым я в состоянии пробыть вместе день, нет машины. Да и вообще, на всю нашу компанию машина есть только одна — задрипанный “Запорожец” Ланского, который он называет “корветом любви”. У Сани очень громкий голос. После заключения (Саня отсидел полгода за уклонение от военной службы) он уже шесть лет непрерывно ругается. “Большевиков”, “меньшевиков” — мне сразу хочется тихонечко выйти из машины, чтобы никогда больше этого не слышать. Вон, уже гудит...

— Алешка, иди открывай, у меня руки мокрые. И уезжайте сразу, не держи его здесь.

Саня ввалился с грохотом. На голове он нес маленький белый чемоданчик.

— Салют! Мадам, я у вас на службе!

Саня имеет у нас репутацию штатного Казановы. В основном, он сам себя рекламирует, но наши склонны все принимать за чистую монету и втайне ему завидуют. Цепкий, стервец. Когда-то давно, когда он только появился в Ленинграде, Милка Кошкина, наша хорошая знакомая, притащила его к себе домой “пожить”. У нее очень приличные “итээры” родители, отец — кандидат наук, а она девочка центровая — такая козочка с острыми коленками. Часов до четырех она спит, потом еще пару часов подкрашивается, взгляд у нее постепенно оживает, и она утаскивается в какой-нибудь кабак. Недели через три она от своего романа с Саней очень устала и просто-напросто сбежала из дома. Приходила время от времени попить чай с родителями. А Саня остался и еще полтора года прожил. Милкина мама жарила ему по целой сковородке котлет, а папа нервничал, орал на жену, но тоже терпел.

Про себя Ланской рассказывает, что в детстве бегал по Подолу музыкальным еврейским мальчиком и систематически получал по “морде” от соседних “хлопцев”. Это происходило, когда ему было двенадцать. Но уже из университета Ланской специально ездил в Киев с кем-то рассчитывать. “Ничто не должно оставаться безнаказанным!” — это резонное замечание Саня подкрепляет пятьдесят четвертым размером плеч. Звучит очень убедительно: я всегда представляю, что Санины враги остались двенадцатилетними мальчиками, и к ним в подворотню входит кандидат в мастера по метанию копья Александр Ланской, “Буревестник”.

— Санечка, не валяй дурака, покажи, что принес!

— Предстоит небольшая демонстрация мод, расслабьте мышцы таза!

Коммерсант фигов, нет, чтоб сразу все открыть, всегда вытягивает по одной вещи. Честно говоря, пока он достает тряпки, я уже прикидываю, что смогу продать. Альий цвет — даже не знаю, как реагировать. Нежный яркий трикотаж. Самого чистого алого цвета. Пойду-ка я померяю. Пусть все сидят тихо. “В коридор не выходить!” Признаться, я немного не в себе. “Саня, откуда оно?” — “Из Парижа”. Не похоже на фабричное. Надо хоть отдышаться. На всю квартиру одно нормальное зеркало. Сразу вижу, что коротковато,

но это чепуха. Таких платьев в природе я еще не видела. Только в кино. Конечно, когда знаешь, что оно из Парижа, все детали кажутся исключительными. Пока одеваешь, еще непонятно, как оно вокруг тебя выплеснется и пойдет жить кругами. Черт с ним! Можно продать обручальные кольца. Широценная кокетка и рукав, а сборки — застрелись, как висят удивительно. Непонятно, куда его можно надеть? На выпускной вечер. Материал повторяет все движения тела. Нужно встать на стул. Тьфу ты, зад отвисает — оно ношеное. Ношеное я не надену. И отворот тертый.

— Саня, оно ведь ношеное.

— Не лепи, я же не старьевщик! Его только меряли.

— Сколько?

— Семьсот.

Тут я засмеялась и пошла разоблачаться. Алешка очень серьезно насупился. Не иначе, собирается заплакать. Сейчас сурово заявит, что деньги — это не женское дело, и он с Ланским сам все обсудит. Но я уже отошла. Я это платье носить не буду.

— Что еще?

— Замшевый плащ. Очень тонкая замша. Бельгия.

— Сколько?

— Шестьсот.

— Паук, что ты заладил такие круглые цифры — на мне, что ли, хочешь насосаться? Плащ можешь не вытаскивать. Что у тебя там еще? Шампунь?

— Шампунь только в больших упаковках. Килограмма по полтора.

— Для зоопарков?

— Для парикмахерских. Три флакона отдам за сто рублей.

— Саня, зачем мне три флакона, подумай сам!

— Но хоть поешь ты мне дашь?

— Так бы сразу и говорил. Ты что — не завтракал?

— Не поверишь — великий пост! — с солдатским восторгом проорал Ланской. Не продал и не продал. Он не расстраивается. Саня — настоящий мужчина. — Плесни тарелочку борща! Понимаешь, играем мы с Илюхой Маликиным у меня всю ночь в де-берц. Обдираю его, как липку...

Пока Ланской ест, выясняется, что мать устроила ему утренний скандал, считая, что у него ночует, как он выражается, очередная "пипочка"

— ...и тут я готовлю мамаше сюрприз: из комнаты выходит похуевший Илюха.

Теперь Саня уже три дня гордо отказывается от еды. Оскорбленный подросток!

Если бы кто-нибудь знал, сколько я уже таких историй выслушала! Саня как засядет — кажется, что никогда уже не уйдет. У меня от шума голова начинает идти кругом.

— А как тебе нравится Кит? Как это ты не знаешь? Все знают, а ты не знаешь?

— Все знают, а я не знаю.

Саня доволен. Я еще не видела мужчины, у которого эта тема не вызывала бы сладострастной улыбки. Дело в том, что Кит Нестеров уже два месяца под дурацким следствием, а в последние дни его положение резко ухудшилось. В городе разгоняли кружки йоги (кое-где их называли "группами здоровья"), и один такой, безумно раздувшийся кружок, вел Кит. Ни в чем особенном его нельзя было обвинить: какие-то мелкие финансовые нарушения, пять книжек по йоге, напечатанных на "Эре" — на показательный процесс никак не тянуло, и хотя опросили уже около ста свидетелей, волноваться было нечего.

А потом произошел неожиданный поворот: на Кита подала в суд мать одной из девушек, которая занималась у него в группе. Девочка занималась, а не мать, мать работала в ночную смену на каком-то камвольном комбинате. Приходит домой: дочь в истерике, постель с красными петухами — только-только исполнилось семнадцать. Очень трогательная история. Я каждый раз не могу поверить, что если за человеком нет вины, ее можно изобрести. Произошло это преступление перед человечеством десять дней назад, с четверга на пятницу. С тех пор Аська, жена Кита, начала проявлять какую-то сверхчеловеческую активность. У Любушки Лесной обнаружился знакомый — крупный милицкий жулик. Уже два раза к нему ездили, он обещал все замять, но что-то крутил. Сегодня Любушка опять направлялась к нему с Асей. Если, конечно, они смогли собрать деньги. Кита за все эти дни видели раза два — он, видите ли, к подкупу милицких чинов отношения иметь не желает. Не то, чтобы он против, а именно "отношения иметь не желает".

— Нестеров-то наш, орел, малолеточку прислонил! — орет Саня.
— Преподавательский талант, уважаю!

И счастлив. Кит не зря ему говорил, что серьезные занятия спор-

том вызываются сильными сексуальными комплексами. По поводу метания копья у Кита тоже есть свои теории. Но он мне осточертел со своим Фрейдом. Привяжется и начинаются пышные разглагольствования — не может женщина-гинеколог не быть скрытой лесбиянкой. “Вот если покопаться, что ты чувствуешь по отношению к Аське? Она тебя возбуждает или нет? Аська говорит, что ты ее чувственно целуешь в щечку”. В щечку я ее целую чувственно! Я вообще не помню, чтобы я до нее дотрагивалась. А то, что я к ней чувствую, лучше бы людям друг к другу не чувствовать. Сволочи. Представляю, какие ушаты грязи они на меня выливают. Вот пусть она сегодня этому подонку из милиции расскажет про чувственные поцелуи, посмотрим, как это Киту поможет. Надоели они мне все: у Ланского и у Алешки глаза горят, чуть слюни не текут — пошли охотничьи рассказы про несовершеннолетних. Как будто нельзя это обсудить в машине!

Наконец они собрались и ушли. Я помахала им в окошко — Саня небрежно пнул колесо своего “Запорожца”, завел его и развернулся прямо наперерез трамваю. Крупный автогонщик!

Как бы то ни было, ранний гость меня расшевелил, и я стала потихонечку собираться. Я не участвую в разговорах о лесбиянках и лишении невинности семнадцатилетних девочек. А также шестнадцати- и пятнадцатилетних. Мне не интересно. Дело в том, что на прошлой неделе, с четверга на пятницу, Кит никого не лишал девственности. Ночь с четверга на пятницу Кит Нестеров провел со мной.

ГЛАВА 5. ОТ АННЫ

“Владимирская” очень глубокая станция. У меня с ней тоже много связано. Платформы длиннющие, народу выходит мало, зимой можно сидеть по полдня и открывать душу какому-нибудь балбесу-однокласснику. А наверху там — телефонные будки с деревянными дверьми: закрыл и — глухо. Я вообще не могу слова сказать, когда мой разговор слышит вся очередь. Но подниматься наверх на “Владимирской” мне всегда надоедает.

Я побежала вверх по эскалатору наперегонки с каким-то мальчишкой, не догнала его и, запыхавшись, вышла на улицу и зажмурилась от дневного света. Васьки у метро, конечно, не было. Шахматовы жили в двух шагах, на углу Колокольного, и я побрела ему навстречу. Пахло гмилью. В ларьках на Кузнечном стояли очереди

за мороженой треской: пьяные продавцы скрюченными пальцами раздирали треску на "штуки". Очередь была минут на сорок. В мусорной урне копались две страшные волосатые старухи в длинных драповых пальто и с одинаковыми клеенчатыми сумками в руках. Это мой контингент. Вся окрестная пьянь подкармливается этим рынком — страшенькое местечко. Мимо меня проехал безногий нищий, отталкиваясь массивными утюгами, — старый знакомый, могу наизусть сказать адрес: Рубинштейна 14-14. "Фантомные боли". По ночам, когда поликлиники закрыты, он раза по три вызывает "скорую" колоть себе морфий. Измученный и злобный человек.

В Васькиной подворотне стояли несколько пьяниц землистого цвета и бабулечка неясных лет с алыми белками. Я таких в "скорой" навидалась: "Чулоч винтом, фингал под глазом — шик Московского вокзала". Ото всех несло социально близким ароматом, который с большим трудом вытравливается из санитарных карет. Политура. С изысканной горечью.

Мужчины назвали меня "сестричкой", и я их с осторожностью обошла. За их спинами, в темном дворе, забитом деревянной тарой, Васька с сыновьями играли в футбол "на одни воротаки".

— Васька, ведь уже четверть первого!

Васька дурашливо вытянулся и зычным строевым голосом запел:

На Пervое мая листочек я пишу,
Маманя родная, я Родине служу!
Не бойся, китаец, не бойся, француз:
Вовек вас не тронет Советский Союз!..

Его старший сын Кешка за это лето невероятно вымахал, и на верхней губе у него пробился неопрятный пушок. Саркастически подрагивая ноздрями, он посвятил мне какую-то остроту, за что моментально получил от меня в лоб и пинок по задку. Еще один шутник подрастает на нашу голову; я под большим секретом узнала от Дашки, что Кеша Шахматов пишет фантастический роман о любви юных шаровых молний в системе неспиральной галактики. Что-то в этом роде. Очень интригующая тема. Но все-таки шаг вперед в сравнении с той галиматьей, которую рассказывает его отец.

Васька стал загонять "юные шаровые молнии" домой, но не очень настойчиво, и младший начал проситься с нами. Я послюнила пальцы и попыталась оттереть разводы грязи у него на шее. Если что-нибудь в нашей компании особенно в большой цене, то это супружеская верность. Мне тяжело до этого мальчишка дотрагиваться.

Я всегда делаю это с внутренней дрожью, ненавижу себя, но ничего не могу с собой поделывать: копия Кита Нестерова. Узко посаженные внимательные глаза, бронзовые волосы, смуглая кожа и подвижный нежный рот — Кит в молодости. В редкие моменты, когда Нестеров рядом со мной засыпает, мне хочется забраться к нему в мозг и понять, как можно не признавать такого сына. У каждого мужчины есть предел, за которым начинается бездушное мужское упрямство. Кит выдумал, что у ребенка должна быть стабильная семья. В этом смысле Васька Шахматов — конечно, удачный “выбор”. Я еще не встречала другого такого человека, которому настолько безразлично, свой это ребенок или чужой. Да он и к своей жене относится, как к маленькой, и поэтому совершенно не ревнует. Татьяну это бесит.

Я взяла мальчика за руку и потащила домой мыться. Шахматов постучал по кухонной двери кулаком, в дверях что-то крякнуло, мы очутились в их коммунальной квартире. Между двойными дверями, за серенькой марлечкой, стояли надписанные от руки трехлитровые банки с брусничным вареньем. На кухне, кроме Таньки, были еще двое соседей: толстая железнодорожница чистила грибы, а сосед в закатанных диагональных брюках мыл в цинковом тазу мраморного цвета ноги. Васькина жена в кухонном чаду с траурным ахматовским лицом жарила пачку пельменей. В прошлом году Татьяна тайно крестилась. Она преподает математику в Институте Точной Механики, и об официальном крещении речи и быть не могло.

Крещение — это поворотный пункт в жизни моих знакомых. Все, кого я знаю, становятся с этого часа настолько нетерпимыми, что разговаривать с ними уже невозможно. Я не думаю, что люди могут стать хуже от крещения, видимо, это совпадение, но факт остается фактом. Я их начинаю побаиваться. Начинают обсуждать каждый твой промах, каждый шаг; в воздухе попахивает гильотиной, и таким безалаберным людям, как я, права на существование не остается. У Татьяны появился религиозный наставник — никому в их доме не дает проходу. Двести пять советов в час: не курить, не мыться мылом, не пользоваться холодильником, не носить трусы, обломать высокие каблуки и ходить в одних галошах. Привязывать их к ноге бинтиком. Ваське он советует выйти из партии.

Я когда-нибудь назло вступлю в партию, всегда буду ходить в трусах, а моюсь я не только мылом — я три раза в неделю вымачиваю

ваю руки в таких едких растворах, что на кожу уже смотреть нельзя.

Мальчишки унеслись вперед по темному коридору, а я начала, как Катерина в "Грозе", стучаться о подвешенные велосипеды и детские ванночки: я каждый раз забываю, где нужно сворачивать. Пока Танечка по такому коридору донесет пельмени до комнат, они, наверно, очень успеют остыть. Шесть семей, шесть дверей, шесть выключателей в туалете и одна синяя лампочка.

В комнате, на массивном кованом сундуке, дремал Татьянин духовник. Бороду он не стриг и волосы имел длинные, завязанные сзади выцветшей желтой ленточкой. Два раза в неделю он занимался с Татьяной Священным Писанием и давал ее сыновьям уроки латинского языка за нестандартную плату — один рубль.

Следом за мной Татьяна внесла стакан кипятка и поставила его рядом с учителем. Учитель бережно взял его в обе руки и, улыбаясь, начал пить. Сейчас должен последовать псалом воде. На серебряном подстаканнике была выдавлена Валентина Терешкова в скафандре. Татьяна купила в комиссионке перед подорожанием.

— Невская водичка, — сказал учитель.

Загадка природы, — что она в нем нашла? Очень уж затреханный, и глаза тоже выцветшие и мутные. Я читала у Зоценко, что у всех мужчин брюки мнутся по-разному, но у идиотов они мнутся как-то особенно, на особенно идиотском месте. И вот без этого человека со странной складкой на брюках Татьяна уже год ничего не могла решить — она его спрашивала даже, что ей носить и как правильно мыть посуду. Еще дождемся, что он Ваську из дома вытурит.

После истории с Китом Татьяна невероятно изменилась. Это была какая-то отчаянная выходка — завести ребенка от Кита. Она ненормальная! Я бы лучше от этого кретина с желтой ленточкой стала рожать, чем от мужчины, которого я люблю, а ему на меня миллион раз наплевать. Это варварская идея — привязывать к себе мужчину рождением ребенка. Нашла канат! Кит ее даже в роддоме не поздравил. Между прочим, Шахматов предупреждал ее, что с Несеровым нельзя нарушать дистанцию — сгоришь. На наших глазах это уже со многими ночными бабочками случилось. И отсюда мой главный жизненный вывод, что даже равных отношений с мужчинами категорически иметь нельзя. Нужно отставать сразу на три ступени. Кит ко мне неплохо относится, но он четко знает, что он мне глубоко безразличен. Кит может мне не звонить две недели, но

сама я не позволю ему никогда. Ничего благородного в этой позиции нет, но, по крайней мере, находишься в безопасности.

От их комнат всегда веет дворцовым неуютом. Нежилой дух. Потолки высотой в пять метров, и в тон этим забытым гренадерским масштабам еще облешее “вольтеровское” кресло и мрачный буфет резного дуба с львиными мордами на дверцах, похожими на Карлов Марксов. Изо рта у Марксов торчат тяжелые бронзовые ключи.

Танечка любит при случае поднять брови и снисходительно намекнуть, что Шахматовы — древний княжеский род. А Васька на это начинает хмыкать и сразу рассказывает какую-нибудь несусветную историю, типа того, что у них в поселке изнасиловали и убили здоровенную девку-книгоношу, а секретарь райкома сказал: “Товарищи, не улыбайтесь, это с каждым может случиться!” Или как близорукий солдат в их части раздавил сапогом свои очки, начал ощупывать рукой лицо командира и спрашивать: “Это вы, товарищ полковник?” Шахматов успел до мехмата окончить танковое училище в Баку, и у него по сей день сохранились молодецкие привычки, к которым женщинам приспособиться трудно: он лучше высыпается на голом полу, ест ножом из консервных банок, курит в туалете с газетой, и его не переучить. А Танечка — профессорская дочка, у нее от всего этого начинается аритмия.

— Тапочки, тапочки, пожалуйста, тапочки!

Ой, мамочки, лучше бы она этого не говорила. У них паркет сказочный, просто сказочный. Эрмитаж. Я могла бы сесть на стул, с самого краешка, но если она меня заставляет переодеться в тапочки, то я просто вынуждена прокатиться. Вот оно! Как легко! Я бормочу бессмыслицу: “В позолоте, в перчатках, вспархивать, в первой паре, виски пульсируют...” — воздуха не хватило. Все слова ровным счетом ничего не значат.

Я сделала два тура, маленький Алька за моей спиной тоже начал кружиться — звон разбитого космического стакана и Васькин шлепок, прилипший к детской попке, раздались в одну секунду. Нужно бы меня. Расплата.

Латинист с испуганным выражением лица слез с сундука и начал собирать осколки. Васька выразительно посмотрел на семинаристский зад, но удержался и пинка не дал. Под каким-то гипнозом я тоже опустилась на корточки и стала доставать осколки из-под стола, оказавшись с латинистом нос к носу. Он сразу стал мне шептать:

— У вас бесконечно богатая натура, но перестаньте судить людей. Откажитесь себе в этом! Замените это истинным чувством бесконечного уважения к другим жизням.

Мне только не хватало шептаться с этим болваном под столом. Я встала. Васька мне сочувственно подмигнул и показал на дверь, но я уже и сама к ней направилась. Латинист мне еще что-то договаривал вдогонку:

— Ведь кольцо обстоятельств так вас окружит, что обязательно проживешь ситуацию, в которой оказался другой...

Какой другой? Каких обстоятельств? Сумасшедший дом, как Васька все это выдерживает!?

ГЛАВА 6. ОТАННЫ

Я — это я. Мне уже не нужно в жизни никаких новых “обстоятельств”. Если поверить, что любая жизненная ситуация прокручивается перед тобой по двадцать раз, пока ты ее не разрешишь, если поверить, что в жизни каждого человека есть момент, день, когда все герои его будущих мучений стягиваются вокруг него, чтобы он имел хотя бы формальную возможность всех увидеть и не жаловался после, что его не предупреждали — вот еще несется какой-то запоздалый гость, непременно с тростью, и чье-то лицо прижалось к окну автобуса, — то моя пьеса подходила к концу: все уже случилось, свой урок я поняла, и героев мне хватает по горло. Кругом одни обломки, остовы, клешни. Столы недоеденных крабов. Винегреты с окурками. За одним таким остовом я сейчас замужем. Он считает, что я “к нему вернулась”. Пусть ему хорошо живется. Другой остов зовут Доральдом. Доральд Ревич. Откуда взялось такое имя? Еще одного человека я любила, жила с ним восемь лет, и он назывался Дашкиным отцом. Слава Богу, все когда-нибудь кончается — и медовый месяц, и двадцать лет каторжных работ. Есть еще один человек, которому сейчас лет пятьдесят, я о нем давно ничего не слышала и, хорошо бы, жизнь не заставила меня больше его видеть. Он был художником. Это ничего не значит. Он мог быть кем угодно. Тогда он был художником. Я вижу на улице сутулую фигуру в клубке и прячусь. Это длилось три года. Когда три года кончились, мне по метрике было восемнадцать, вокруг меня крутились Доральд и Алешка, им было по двадцать пять, и я думала, что я им, как мама. Что я старше их на две жизни. Что это два невинных младенца, которых страшно совратить. С ними можно было гу-

лять по набережным, ходить в кино, держаться за ручку. Ладонки потели. Целоваться губами. Снова скрипел снег и какие-то чудеса — хотелось придержать юбку на крутых лестницах, снегоуборочные комбайны с английским акцентом двигались по левой стороне и высекали искры из асфальта. И можно было спросить, “что это” и “что это”. Меня взяли после школы рейсовой стюардессой в Аэрофлот, но к этому времени мне давно уже было больно жить.

У меня была отвратительная школа. Такой образцово-показательный гадюшник, хуже на свете не бывает. В восьмом классе, что бывает в восьмом классе — я уже не каталась с горок, но еще ходила в школьной форме, — в восьмом классе школьная медсестра разнесла слух, что я беременна. Конечно, я не была, даже близко. Но разбирательство длилось год: через месяц об этом узнали все учителя, через два месяца уже все об этом знали, из соседних школ специально приходили на меня посмотреть. Если бы не папа, я ушла бы в другую школу или кончила психушкой. Папа говорил, что нельзя переходить в другую школу, пока не стихнут сплетни. Он говорил, что если человек прав, то нужно ходить с высоко поднятой головой и смотреть людям прямо в глаза. Он только не учел, что к тому времени, как стихли сплетни, я уже и себе в глаза старалась не смотреть.

Наша директрисса — маленькая толстая баба с умными пороссячими глазками — раз в месяц вызывала меня на беседу. О жизни. Родители ни о чем не подозревали, а она прожигала меня насквозь и все видела. Я тогда неплохо рисовала. Мне и нужно было бы поступить куда-нибудь на искусствоведческий — водила бы сейчас экскурсии по Эрмитажу и хороводилась с иностранцами. Три раза в неделю я занималась в кружке при Академии Художеств. Из окон Академии было видно, как на невский лед выскакивают буксирчики. У сфинксов были отбиты бороды. Я рисовала или сидела в библиотеке и листала альбомы. Или бродила по мрачным коридорам. В три уже темнело. Идешь по коридору и изо всех дверей слышатся странные слова: “Щелкова! Чья это нога? Это лишняя нога! Обрежь внизу два сантиметра”. Лишняя нога. Волшебное искусство состояло из ремесленных замечаний. Я чувствовала себя, как за кулисами столичного театра, когда Дуэнья под веером рассказывает Роксане похабные анекдоты, а Сирано де Бержерак оказывается равнодушным угреватым интриганом. Кто-то дотрагивался до моего плеча и начинал говорить: “Вы понимаете, батенька, никто не может написать черную бархатную драпировку, чтобы это не было

просто жирное черное пятно...” Я ничего не понимала, но внутри все дрожало. Мне было интересно. На винтовой лестнице курили студентки в шароварах, со спутанными волосами. Живописцы. В приоткрытую дверь пустой мастерской я заметила стоявшую у стены картину. Сначала я ничего не увидела, кроме угрюмой, черноты, прерывающейся бледным поблескиванием. Постепенно глаза привыкли, и холст стал оживать. Спящая серебристая статуя. Пересекающиеся аллеи ночного парка. Душная испанская ночь. Половинка луны. Сжавшиеся деревья. Я оглянулась по сторонам — никого — и приникла к двери. И три года потом от этого избавлялась. Я не смирялась ни на одну секунду. Но я была девочкой. А он был несгибаемым, как скала. Мною он не интересовался. И высасывал из меня все силы. Так, что до автобуса было не дойти. Я не улетала в облака. У меня были странные для пятнадцатилетней девочки обязанности. Все время хотелось лечь на пол и заснуть. Папа говорил вдруг за ужином недовольным голосом, что опять звонила из школы какая-то хамка. Мне было не убежать и не скрыться. Считается, что ты в этом возрасте еще ребенок, и самое страшное, что ты сама так думаешь. Ходишь в школу. А в школе запирают гардероб, чтобы ученики не разбегались. И, как в тюрьме, срезают пуговицы со штанов. У меня до сих пор не отошел страх: я всегда поджидаю Дашку в школьном дворе, мне кажется, что если я войду внутрь, меня могут там запереть. Мария Васильевна — вот как звали нашу директриссу. А медсестру от нас потом куда-то перевели. Самое удивительное, что после всего, что было, я все-таки смогла забеременеть и родить Дашку. И все забыть. Но сначала были еще Алешка и Доральд. Влюбленные рыцари. Только мне было как-то не увлечься. Наверное, нельзя иметь сильную страсть к хорошим людям. Любят всяких неудачников, всяких подонков, всяких гадов, которые вытрясут тебя за день наизнанку, камня на камне не оставят. До сих пор пару раз в год Доральд мне, посмеиваясь, говорит: “Посмотрела ты на меня тогда виноватыми глазами! Не жалеешь?” — Ой, жалею, Доральд, миленький! Еще как жалею! Но виноватыми глазами я не смотрела. В тот вечер, когда он решил привести меня к своим друзьям, я на него вовсе никак не смотрела.

Я отчетливо помню ледящий февральский вечер. Дымную прихожую, заваленную смолеными лыжами. Бронзовую цепь. Печный угар и мягкий медовый запах свеч из полутемной комнаты. Меня кто-то легко подтолкнул в спину. Может быть, никто. Я рассеянно расстегнула шубку. Подумала, что в комнате что-то проис-

ходит, и безмятежно вошла. Полыхающая печь высвечивала плетеные бутылки, бледные полупрофили, грубые шерстяные носки, кости на полу и двух тяжело дышащих пятнистых догов. Смерзшийся мир и жаркое застолье. Глаза, ладони и лица еще казались размазанными дрожащими пятнами, когда я успела вздрогнуть от пьяной шутки:

— Внимание, Доральд привел мою жену!

Я медленно, с напряженной ненавистью, подняла глаза на говорившего. Голос шел из угла. Я повернула выключатель. Яркий свет. Очень яркий свет. Все зажмурились. Кроме него. Он смотрел на меня и улыбался. И сказал: “Эй!”

И я ответила: “Эй!”

Потому что это не было пьяной шуткой. И пока они там все смогли открыть глаза и привыкнуть к свету, я успела родить ему детей, прожить с ним жизнь, сжимать его ладони ногтями во время родовых схваток и выцарапывать ему глаза от ревности, я успела возненавидеть его, стирать его рубашки, прикрыть его спину и подписаться под всей его жизнью. Я успела умереть с ним в один день. Пока они открыли глаза, мы уже оба все решили. Это не было пьяной шуткой. И я замороженно пошла на голос. В их компании редко краснели, но все-таки тяжеловато, когда при тебе происходят такие напряженные диалоги: “Ты видишь, я пришла”. — “Конечно, вижу”.

И мы просто ушли, оставив за собой вакуум. И вдогонку кто-то рванул струны (это был Кит).

— И ПЕРВЫМ ЛЮБОВНЫМ ДУРМАНОМ МЕНЯ ОН НАКРЫЛ, КАК ПЛАЩОМ.

Кит был прав, потому что в один миг я вдруг снова стала девочкой, тигренком из тайги, у которого такой запас жизни, что идет дым. Все прошлое ушло. Мне снова стало восемнадцать...

ГЛАВА 7. ОТ АННЫ

Я не вспомнила даже, кто меня в этот дом привел. Я обо всех забыла. Надолго. На восемь лет...

ГЛАВА 8. ОТ АННЫ

И восемь лет я Алешку не видела и даже не очень часто вспоминала, пока мой муж (мой бывший муж или мой первый муж — все

варианты одинаково плохи из-за удельного веса слова “муж”, которое режет мне слух; точнее всего — “этот человек”, как его называет моя мама) не отбыл после нашего развода в заграничную командировку, настолько продолжительную, что мне уже четвертый год звонит куратор ГБ по нашему здравотделу и интересуется, нет ли о нем сведений.

А через полтора года после этого Алешка остановил меня на улице. С Алешкой я хоть уверена, что перебиваю всех его знакомых. Мой первый муж был мне слишком сложен, а я хочу простоты и покоя. Я устала каждую секунду ждать его thunderbolts от того, что у какой-то девушки необыкновенное лицо, или особенной кривизны ноги, или она просто весит сорок килограммов и ее интересно целовать, держа на руках. Его нельзя было оставить на пять минут — уже его куда-то несло! Я устала сидеть и ждать с воспаленными глазами у окна, когда меня всю переворачивает и остается только желание ему мстить. Я выжигала его из себя до пустоты, до дырки в памяти. От тех полутора лет у меня рябит в глазах. Мне казалось, что половина Ленинграда ищет мне женихов. Когда появился Алешка, никто к нему серьезно не отнесся. Это меня очень раззадорило. Кит Нестеров назвал моего избранника “редким коллекционным экземпляром”. Даже тактичная Леночка Липовецкая считала, что Алешка слишком прямолинеен. Чудно, чудно! То, чего я добивалась! Как-то мы были вместе с ним в гостях у Липовецких и засиделись до поздней ночи. Наши отношения с Алешкой были еще очень церемонные, “цирлих-манирлих”. Он смешной человек, ревнивый, ему очень важно первенство, но он очень надежный, и то, что его принимают за дурака, неправда и неточно. В общем, когда в третьем часу ночи Гришка спросил: “Как вам стелить?” — я ответила: “Вместе”. И посмотрела на Алешку. У него напряглась шея, как у жулика-шляхтича, когда его ловят за карточным столом. Честно говоря, я ждала, что меня станут хватать за руки и уговаривать. Но уговаривать меня никто не стал. Люди подивились, потихонечку умыли руки и от меня отодвинулись. А я закусил губу и стала выискивать достоинства своего нового статуса. Иногда я думаю, что важнее — когда ты сама любишь без памяти или когда так любят тебя? Теоретически я все-таки являюсь теперь сторонницей холостой монашеской жизни, но как-то незаметно скатываешься в брак. Замужество — дело совершенно нестоящее. На него идут по удивительной слепоте. Большинство браков сводится к тому, что сожительствуешь, как правило, с совершенно неподходящим

тебе человеком. При этом неженатые мужчины никого не удивляют, а незамужних женщин все почему-то жалеют. Почему — неизвестно. И все поголовно измельчали: я еще не встречала человека, у которого полжизни не было бы занято пустяками — выяснениями отношений и любовными травмами. С небольшим опозданием, но я поняла, что в это тоже очень втягиваешься. Какой-нибудь дежурный кретин начинает тебя пытаться: “Ну, скажи, ты меня хоть немного любишь?” — Ненавижу эти вопросы. Срывающимся голосом. Мне всегда хочется сказать “нет”. А если от неловкости сказать “да”, то начинается отвратительное выпендривание и кобеляж. Наш идеолог Кит торжественно заявляет, что половой акт не повод для знакомства. К сожалению, это повод.

ГЛАВА 9. ОТ АННЫ

Пока Васька спускался, я стояла несколько минут во дворе и слушала, как на первом этаже разминается трубач. Он спел на трубе неведомый мне гимн, который унес меня из вонючего двора-колодца, постукивая мною по водопроводным трубам, поднял над городом, превратил в плоский дым, в дух, начал рвать на части. Со мной произошел некоторый психологический оргазм, и я отпустила душу туда, наверх, прогуляться. А настроение тела незаметно улучшилось. Я даже взяла Ваську под ручку, и мы отправились с ним за тушенкой.

“Князь” перед отпуском постригся за семь копеек наголо и выглядит, как допризывник. Ему уже за сорок, но морщин нет и в помине и несет дикарской свежестью. Когда мне будет сорок, я буду как печеное яблочко. Но я слабачка, я не умею сопротивляться жизни. Вот Васькина долгожительница-бабушка вообще не выходила на улицу по воскресеньям — ей всюду мерещились баяны и первомайские банты, и прожила она в результате до девяноста четырех лет. Ни к чему не приспособливаясь. А мое тело легко окружающей жизнью убаюкать. Я иду по Загородному, балансирую по поребрику, и встречающая толпа меня то и дело смывает, но я принимаю все окружающее за данность, и мне почти нравится. Близко к природе. Прогуливаются крупные помоечные коты. Сопливый мальчик гоняется за воробьями. Музыка из громкоговорителя. И даже сам поход за говьяжьей и свиной тушенкой не кажется таким уж мерзким. Свиные консервы — лично для Липовецкого: он жалеет ков и ест одну свинину.

Васька развлекает меня по пути практическими шутками, танцует лезгинку, покупает газированную воду, поет с турецким акцентом "По улице ходила большая крокодила" и жизнью очень доволен. Сейчас нужно будет внимательно последить за ним в подвале гастронома. Я уже приготовилась перекинуть мостик между своей ипостасью в компании нищих снобов и чинной Анной Васильевной Волковой, ординатором областной онкологической клиники. И мостик этот мы сейчас выложим фантастическим дефицитом от щедрот директора диетического гастронома, моей бывшей больной.

Я помню всех своих больных руками. У этой была киста справа. На операции, когда я выводила кисту в рану, она вскрылась. Был участок малигнизации, но несколько лет она неплохо тянет. И для нее я — царь и Бог. Сейчас мы мои заслуги разменяем на жратву. Мы уже подходили к магазину, и появилось знакомое желание спрятаться. Ничего особенного, в общем, не происходило, давно пора привыкнуть, нельзя же каждый раз устраивать трагедию из-за того, что жизнь несовершенна, что люди смертны, что есть общество, в котором живешь, и что нужно, наконец, три раза в день "ням-ням", кушать. Теоретически можно питаться водой и хлебом, но не получается. Я никого не обманываю, я не ворую, а такое чувство, что постоянно совершаю пакости. И есть вопросы, по которым посоветоваться мне не с кем, — так живут абсолютно все люди. Единственный человек, которому я доверяла, немножечко уехал. За тысячи километров. Далеко. Дальше не бывает. Дальше уже Луна. И след остыл. Других перил у меня нет. Живу, как хищница, сугубый практик, день и ночь что-нибудь просчитывая: налево пойдешь — ничего не найдешь, направо пойдешь — потеряешь... Если б честь! А мои друзья по недоступным мне княжеским законам думают только о постели. Жить бы в таком месте, где "хорошо" — это хорошо, а "плохо" — это плохо, где не нужно было бы всякий раз все решать заново! И убей меня Бог, но этот идущий рядом со мной липовый князь с авоськами понимает в жизни не больше моего. А спросишь его что-нибудь — без запинки начинается балагурство.

— Васька, смотри, — при моей больной веди себя прилично!

— В каком смысле?

— В таком! В единственном! Прилично — это прилично.

— А за попу можно разочек ущипнуть?

— Убью! Барбос! У тебя жена и любовница, обе на тебя жалуются! Поменьше бы шутил!

Любому онкологу пользоваться блатом чрезвычайно опасно — я помню об этом каждую секунду и стараюсь, где можно, аппетит свой урезать. Кроме вопросов жизни и смерти, куда, безусловно, относится покупка сапог. Шью я себе сама, и хорошо бы еще купить сапожную лапу, набивать рот гвоздями и самой тачать себе модельную обувь. Вместо этого я позорно сжимаю себя в кулак и трачу свой самый ценный блат — отдел импорта в “Московском” универмаге. Там, на складе, я перестаю за себя отвечать: в голове от восторга что-то лопается и за пару английских сапог я могу отдать ся прямо на картонных коробках. Взятки, блат, деньги — сейчас все этим грешат. Самые мародеры — это урологи, хоть к ним претензии чисто этические: во-первых, их много, во-вторых, торгуют то они только возможностью с комфортом помочиться. А онкологическая больница у нас одна, мимо нас не пройти, сидим у ворот на кладбище и продаем билетки.

Начинается все с пустяков: духи, конфеты, гладиолусы. Потом тропиночка начинает разматываться (как аллеи Павловска с безликими статуями по бокам): и взять нельзя и не взять нельзя, больную обидишь и поставишь себя над коллективом. Потом вдруг замечаешь, что статуи на этой аллее все, как одна, с повязками на глазах, а в руках — весы. На правой чашечке весов — операция, на левой — облучение, так грубо можно разделить наши возможности. Облучаться все больные не хотят, но за какой-то гранью операция уже не помогает, а вредит. На этот счет есть простая формула: “Лечение не должно быть хуже, чем болезнь”. И рано или поздно приходит день, когда у больной стадия вторая “б”, но ближе к третьей, и узлы подозрительны, и параметрии тянут — как ни старайся, надо идти ножом через опухоль, а это уже СОВСЕМ ПЛОХО. Но больная слышать не хочет об облучении, идут деньги, идут подарки, и у твоей Фемиды ползет вниз правая чашечка, та, где у нас была операция. В этом месте ты кончаешься, как врач.

Плоть слаба, а искушений много. Стоит посмотреть записную книжку моего заведующего отделением. Эпохальная вещь! В ней буква “М” значит “мясо”, а буква “Р” — “рыба”. И он, святой человек, не стесняется, все достает по первой просьбе и чувствует к этому даже призвание. Из портфеля с монограммой постоянно торчит чей-нибудь хвост. Мой зав — деревенский, из настоящей деревни, за Вяткой. Говорит, что первый паровоз увидел в пятнадцать лет. Теперь к паровозам он привык, хирург он первоклассный, и портной у него, который шил Романову, но в голове у него неко-

торое “все смешалось в доме Облонских” – большой город в толк не взять и ничего с этим не поделаешь. Я его считаю очень современным героем: вот он стоит у операционного стола, настоящий МАСТЕР, скульптор, Микеланджело. Рот откроет – деревенский тракторист. Он все понимает, сведений очень много, но ему их не расставить по важности: то он просит объяснить ему Валентина Пикуля, за которым все гоняются, то во время философского семинара я ему читаю целую лекцию о лифчиках, которые у него, вероятно, на букву “Л”. Для справедливости надо сказать, что по Данилиным каналам, как райские голуби, проистекают такие неземные французские бра, что наши кавалеры слепнут. Лифчики лифчиками, а когда нужно оперировать ленинградскую знать, то к Даниле обращаются очень часто. Считается, что у онкологов лучше руки. В нашей больнице часто оперируют всяких местных “тузов”.

Это их пристрастие к нашим хирургам помогло в свое время Андрею так резко поменять место жительства: он оперировал “человека” из ленинградского обкома, и с тем за границей что-то стряслось. Срочно понадобилась консультация лечащего врача, Андрея отвезли в Хельсинки, и там, уже перед самым возвращением, пока сопровождавший его офицер заказывал в ресторане ужин, “повесил твой муж пиджак на спинку стула и так расслабленно, сволочь, вышел...”

Так мне, между прочим, рассказали на Литейном. Это был его финальный выверт. Подняли на ноги финскую полицию, но следов не нашли. А через несколько месяцев моей дочке передали комбинезончик из Стокгольма.

Мы прошли с Шахматовым служебными коридорами и остановились возле знакомой двери. Сейчас придется улыбаться и разговаривать. Я приготовила дежурную фразочку и выбросила из головы Андрея. Опять я о нем сегодня вспомнила. Уже в третий раз. Но бывают дни, когда я о нем не вспоминаю ни разу. Да и остроты в этих воспоминаниях не осталось. Постепенно я его забываю, остается в памяти не живой человек, а схема. Вот как эта схема разруба улыбющейся коровы. “Браунгшвейская – два кольца, тамбовская, армавирская, дрогобычская...” Очень полезные и поэтичные схемы.

В магазине мы пробыли около часа. Самое трудное – выходить через отдел с набитыми сетками. Васька нарочно поднимает их над прилавком, чтобы вся очередь могла делать завистливые предложения. А на мой змеиный шепот он начинает заливаться, объясняя,

что его радость имеет большое воспитательное значение: у людей не должно быть страха, что в стране кончаются продукты.

Я опять дала себе слово, что прихожу сюда в последний раз.

— Кончай смеяться, кретин!

— Да что с тобой?!

— Не знаю. Ненавижу все эти покупки.

— Анна, да ведь все это мелочи, суета. Туда банка, сюда банка — человеческая взаимопомощь. Кончай рефлексировать, посмотри лучше, кто стоит!

Метрах в двадцати от нас, на остановке “тридцатки”, стояла “она” — жена Кита Нестерова. Вид у Аськи был жуткий. Будто только что вылезла из постели. Я мысленно перебрала всех знакомых мужчин, которые жили поблизости. Кажется, я догадалась. Очень интересно. Ничего приятного мне эта встреча не сулила.

— Васька, она нас не видит, пожалуйста, давай не подходить!

— О Ките не хочешь ее спросить?

— Она еще не ездила, Гришка сказал, что встреча в три часа.

Шахматов взглянул на меня с подозрительной ухмылкой, но промолчал, и мы вскочили в уходящий троллейбус.

— Привези сетки вечером к Липовецким.

— А я прямо сейчас туда, неохота домой возвращаться. А ты куда?

Да, действительно, куда же я еду, это мне и самой интересно.

— А на каком мы троллейбусе?

— На “восьмерке”.

Значит, судьба. Я вообще не имею привычки ездить к Нестеровым, но прошло уже четыре дня после заявления “пострадавшей”, Кит за это время ни разу не позвонил, и было самое время выяснить, насколько он меня засветил и что меня ожидает. Самым противным будет, если это докатится до работы. Я представила себе, как на утренней конференции, после обычного доклада, начинают разбирать мой моральный облик, и передернулась. Очень кстати я увидела Аську. Это ее вид навел меня на такие мысли. Хотя и вид, и мысли были ни при чем. И к цели моей поездки отношения не имели. Я до сих пор не могла понять, почему я уже три года, ничего сверхъестественного не испытывая, безнадежно запутывалась с Нестеровым. Ему наши отношения, на мой взгляд, ничего не приносили, кроме унижения и мучений, да и меня развлекали не слишком, но поставить на этих встречах раз и навсегда точку нам обоим не удавалось. Я пошла когда-то на эту связь, в основ-

ном, чтобы себя проверить. После восьми лет замужества полезно выяснить, осталась ли в тебе еще хоть малая капелька женственности. На сегодняшний день я уже все про себя поняла: называя меня "тетей", поганец Ланской все-таки ошибался. Хотя и не очень.

Васька на Невском вышел, а я стала следить за обнимающейся напротив парочкой и от этого почувствовала себя очень несчастной и старой. Это одна из причин, почему мне с Китом не расстаться: где-нибудь некстати раздеваешься, покрываешься гусиной кожей, и сразу становится так мерзко, что меньше чувствуется возраст.

ГЛАВА 10. ОТ АСИ

Не то, что любви совсем нет. Но настоящее меняет прошлое. Точность характеристик всегда тяжела. Смуглые лица склонны к увяданию. Кровь не просвечивает. Если себя одернуть, то можно казаться моложе. Когда у людей столько разных мнений о человеке и он тебя боготворит, это лестно. Только не мне. Я любила в жизни одного человека. Мужа этой женщины, которая выходит из гастронома с Василием Шахматовым, светлым князем. Муж был ей не пара. Муж был парой мне. Конечно, я их вижу. Князь чертовски потеет. Я люблю только посторонние разговоры. Не то, чтобы любви совсем не было, но всегда тебя накажут. Всегда накажет муж этой женщины. Сложное родство. Конечно, я их вижу. Так внутри черно-черно, а вдруг вижу знакомых и сразу хочется засмеяться. Очень глупо и некстати. И я совершенно к встречам не готова. Только бы они сели в этот троллейбус. С моей репутацией можно не соблюдать приличий. Солнышко выглянуло, и одной щеке тепло. Надо уши проколоть. В Грузии есть примета, что к замужеству. Звезды будут в ушах. Кажется, садятся. Мне сейчас, в моем нежном состоянии не выдержать ее поцелуя в щеку. Опасная манера здороваться. Я слишком недвусмысленно выгляжу. Ничего не замечать может только Кит. Он невнимателен, как все мужики. Уехали, пронесло. Очередная пара. Мы уже все переблудились. Сейчас бы начала трещать. Мелочна, поверхностна и самодовольна. И я немногим лучше. С той лишь разницей, что себе я никогда не вру. Последнее мое достоинство. Они еще все думают обо мне, что я неосторожная красавица. Мне мука играть эту роль. У красавицы должна быть гордость, и красавица должна быть стервой. У меня нет гордости, и я

не стерва. Если на тебя накидываются с двенадцати лет и ты не стерва, то тебя ждет канава. И внутри не осталось ничего. Меня больше нет, я мертва. Все, как в песок, ушло.

Ничего внутри нет и не надо. Где-то там текло и в рот не попало. Игривое очень настроение. Юмор висельницы. Это мне еще в голову не приходило. Вешаться не буду — нет сил. Уважительная причина — у меня нет сил. И розы больше не стоят: на третий день вянут. Я люблю розы — и пусть они и пошлые, и пышные, но я люблю розы.

Нет больше сил сопротивляться предложениям. Меня не интересуют сами предложения. У меня другая программа. Я бывшая красавица с отрицательной программой. Красота — это ложное достоинство. Смирение. Я так вываляю себя в грязи, что красоты не будет собачьего духа вдалеке, останется одно смирение. Боже, как нехорошо, как плохо. Сейчас очередной похотливый трус. Хуже всех. И ведь точно знаю, что я опять завтра к нему попрусь. Какая-то моя патологическая активность. Унижаться понравилось. Кит может быть доволен: я реализую все его идеи. Я еще многому научусь.

Куплю бирюзовые серьги, а то я слишком скверно выгляжу. Расческу я, наверное, забыла. Все равно зеркала нет. Можно посмотреться в дрожащее окно кофейной.

Да я не на тебя смотрю, дурак, меня не интересуют такие... Раньше меня боялись — никакому мерзавцу не приходило в голову заговорить со мной на улице. А теперь со мной заигрывают пьяницы. Смирение — вот оно, вливается. Скоро я смогу заниматься этим в кофейнях, оставляя... на одной ноге. Может быть, Нестеров станет ко мне повнимательнее, а то я могу перед уходом на "лекцию" принять душ и поменять..., у меня могут дрожать руки, я могу как угодно пахнуть — эту... ничем не достать. Ах, как я влипла! Сама виновата, я не сразу их поняла — отвратительные тщеславные подонки. Внутреннее совершенство и сексуальная революция. Сексуальная революция — это я. Я уже могу проводить закрытые партконференции по вопросам любви и быта. Первый вопрос повестки: "Во сколько лет девочки вступают в царство... на земле?" Второй вопрос: как потом из этого царства выкарабкаться. Или, может быть, вам интересно, в каком возрасте меня в первый раз... и изнасиловали? Могу рассказать. Я — бывшая красавица. Я могу себе позволить больше, чем остальные люди. Я — закон. Потому, что я вас интересую, а вы меня нет. Ничего больше не осталось — только одна гнусность. У меня отличный наставник — это мой муж. Я

даже не успела опомниться, как пошла по рученькам. Он хочет, чтобы мне было лучше, чтобы “я сама выбирала”. Чтобы отвыкнуть от всего, к чему он меня приучил, меня нужно поместить в исправительную колонию, желательнее, не в “Как красиво, когда ... целует в губы ...” — я бы хотела посмотреть, как он сам сможет поцеловать в губы мужчину. И сколько часов ему потом нужно будет отплевываться. “Царство секса” — я три дня не могу подойти к собственному ребенку. Я должна смотреть на дочь виноватыми глазами и думать, что она связывает меня по рукам. Нужно было сделать Любка задерживается. Еще пять минут жду и пусть пеняют на себя — я не могу торчать тут вечно. Эти деньги лучше отдать в детский дом. А на его суде я, для разнообразия, выступлю главным обвинителем. Или просто поведаю наши альковные тайны. Чтобы дополнить моральный облик. Это же не преступление говорить правду. Ему еще судьи посочувствуют. Скажут, что зря вы женились на этой... нужно было выбрать честную девушку с макаронной фабрики.

В одном Анне не откажешь — она научилась держать Нестерова на коротком поводке. Не люблю ее. Чистюля. Мы уже сорок раз квиты. У нас общих... больше, чем она думает. Хочешь узнать, отчего уехал Андрей? Вряд ли он тебе об этом рассказывал. Я ни перед кем не чувствую вины — я не просила себя спасать. Тимуровцы. Мне не нужно вашего отвратительного счастья. Его нет на свете. Раньше хоть я своими проблемами никому не причиняла вреда. Пока они не навязали мне ребенка. Гады, гады, подонки, тщеславные лгуны! Они думают, что мне станет легче, если я увижу перед собой в постели какую-нибудь распаленную скотину. Герка был в свое время честнее всех, сплавив меня Киту. Потом этот субъект говорит, что я сама должна все решать, а Андрей отправляется в канадский вояж, вскрыв меня, как консервную банку, и оставив беременной. “Не знал!” Что с того, что он не знал. Он должен знать, что от любви рождаются дети. Много слов, а в глубине у них неверие, мрак и трезвость. И предательства — цена их дружб. Все одни натяжки. Думают только, чтобы залезть кому-нибудь... . Какие-то садисты: не умеете обращаться с людьми, так хоть никого не трогайте. Нет мужчин. Почему нет мужчин? Есть женщины, и вокруг них слоняются кастрированные размягченные тени. Ни достоинства, ни доброты. Всего Шекспира хватило на одного Меркуцио. С дьявольской усмешкой. Неужели, не предавать близких людей можно только с дьявольской усмешкой? Гнилое место...

— П'гивет, Любаша. Не извиняйтесь, я не се'гжусь. Я тоже не из це'гкви. Я надеюсь, что ваши высокие д'гузья п'гостят нам опоздание.

ГЛАВА 11. ОТ АННЫ

Я глянула на уличные часы — минутная стрелка сразу заволновалась, сделала два оторопелых прыжка и остановилась на без четверти три. В запасе у меня было два часа. Я посторонилась, чтобы выпустить из парадной милиционера, вежливо придержавшего мне дверь, за что я одарила его самой сладкой из своих улыбок. После работы на "скорой" я отношусь к милиции вполне терпимо — целыми ночами работаешь с ними бок-о-бок. Я ко всему стала относиться терпимее: к тому, что таскаешь носилки по таким средневековым лестницам, как эта, что дома без номеров и ищешь нужный адрес часами по сугробам. Что носилки не развернуть, и больной съезжает вниз, прямо тебе на спину, тяжело — хоть плачь, эти "черные лестницы" — воистину наказание господне. И соседей на них всегда мало. А у Нестеровых на лестнице даже днем темно — одни глаза кошачьи светятся. Одно маленькое окошко — я остановилась возле него подпудриться. От меня здорово несло сигаретами, он не любит, когда я курю. Потом я перевела глаза на дверь, и у меня все внутри опустилось. Дверь была опечатана.

Я успела заметить сегодняшнее число и гербовую печать на сургуче и совершенно неосознанно побежала дальше, наверх — если за мной следят, пусть видят, что я не в эту квартиру, я просто шла мимо. Над Нестеровыми был еще один этаж, а дальше шел чердак. Судя по табличке, верхняя квартира была сильно коммунальной: я успела запомнить фамилию Кабалкин, к которому было пять звонков. Если остановят, скажу, что была в восемнадцатой квартире у Кабалкина и не застала дома. И тут я сообразила, что должна сделать. Дверь на чердак была приоткрыта — пройду через чердак и спущусь вниз по другой лестнице. Остановят — остановят. До работы дойдет — уволюсь. Чего я, собственно, лечу? Просто не хочется влипнуть ни в какие истории, никакого страха нет.

Я прошла на цыпочках последние полпролета до чердачной двери, посмотрела вниз — лестница вымерла, не было ни души. Повернулась — и столкнулась с рыжей бабой, развешивающей на чердаке фиолетовое белье:

— Тебе чего?

— Мне... девятнадцатую квартиру... — пролепетала я заискивающим голосом.

— Откуда тут девятнадцатая в доме? На чердаке, что ли? Сама, небось, знаешь! Вишь ты, запыхалась! Белья чужого надо! Видывали мы таких птиц!..

— Вы с ума сошли...

— Я те дам "сошла"! Ну-ка, Егор, держи ее! Я тебя, суку, в милицию сведу!

Уже не скрываясь, я выбежала через низенькую дверь, выходящую во двор, заставила себя не бежать, а просто быстро пройти через двор, нырнула в соседний дом и проходным двором вышла на Невский — нигде ни души. На часах два пятьдесят: всего пять минут занял весь этот кошмар. Метров через сто я позволила себе отдышаться. Ну и ну, ничего себе, приключение! Теперь нужно выяснить, что же с Китом. Если его забрали, то зачем опечатывать квартиру, странная история. Надо срочно всех предупредить, чтобы еще кто-нибудь из наших не влип. Автоматы, как назло, не соединяли. Наконец, я нашла исправный, набрала Гришкин номер и, не дожидаясь ответа, повесила трубку. Гришке звонить было никак нельзя: Шахматов, наверняка, уже там. Как мне объяснить, почему я оказалась на лестнице у Нестерова, когда ехала к себе домой? Я медленно тащилась по набережной. Лучшее, что я смогла придумать, это вызвать к телефону Шахматова, как-то все ему объяснить и попросить, чтобы он никому не говорил, чтобы не дошло до Алешки... Так не хочется посвящать этих уродов в свои дела... Я все-таки позвонила.

Кита там не было. Шахматов долго слушал, что я ему лепечу. "Поехала к маме... случайно зашла к Нестеровым..." В трубке было тихо, он хорошо меня понял. Потом спросил, чего же я все-таки хочу, и стало ясно, что я позвонила зря.

— Узнай, что с Китом, и немедленно мне перезвони! Слышишь? Немедленно! Только мне, а не Алешке...

— Мне сразу столько не запомнить, — сказал Васька и первым повесил трубку.

Через пять минут я была уже дома. Мне никто не открыл — значит, Алешка еще не возвращался, а Дашка где-то шляется. Я начала переодеваться, потом раздумала, стала ходить по коридору и ждать звонка. Если Шахматов позвонит при Алешке, придется все ему рассказать — пристанет, как банный лист. Меня раздражала неизвестно откуда взявшаяся обязанность перед ним отчиты-

ваться. И квартира, как тюрьма. Тесная, темная. Кто бы знал, как я ее с детства ненавижу. Половину жизни в ванну нельзя было войти — по вечерам от воды било током. Монтер не верил, орал, что у него в глазах телевизора нету — пока не выяснили, что это воруют электричество снизу, из скорняжной мастерской. В коридоре не развернуться — дед набил квартиру мебелью до отказа. На грузовиках, наверно, свозил. Лучше бы он золото скупал. Вот уволюсь и начну продавать мебель. Отвезу все на толкучку и буду спать на газетах...

Из длинного зеркала на меня смотрела босая тридцатилетняя женщина в ядовито-зеленом плаще. Выглядела она неплохо, только глаза невеселые. Ни добрее, ни лучше я за последние пятнадцать лет не стала. Но мама могла быть за меня спокойна — я “хорошо устроена”. Уважаемая специальность: онколог-гинеколог. Еще не старуха. На эскалаторе на меня оглядываются старшеклассники. И еще влезаю в свои девичьи юбки. Просто нужно быть сдержанной. Поменьше расслабляться. Или хотя бы в меру. Вот это, в зеркале, моя мера: руки в карманах, вызывающе-циничная пантера. Десять лет, как ветром сдуло: стоишь, взъерошенная, кажется, что все, что было, это еще “понарошке”. За эти десять лет я выяснила, что мужчинам в тягость, когда их любят, им это не нужно. И я больше не хочу никому быть в тягость со своей любовью. И не хочу быть ничьей половиной. Был один человек, которого я никогда не прощу, помню, что Дашкин отец. Даже имя вспоминать не желаю. И зеркало пусто. Из кухни показывается крохотный серый мышонок, я знаю, что он живет за обоями, но у меня не поднимается на него рука. Нужно его тоже послать на Запад — нам тут самим скоро есть будет нечего. А потом я увидела, что входная дверь открывается и входит Алешка — с целым ворохом пылающей рябины. И в зеркале снова всплыла я. Что-то говорю, улыбаюсь. Раз Шахматов не звонит, нужно срочно уводить Алешку из дома — по дороге что-нибудь придумаю. Все равно мы собирались к Липовецким. Дашка попалась нам навстречу около самого дома.

Если сегодняшний вечер не кончится каким-нибудь взрывом, и мы все-таки поедem в отпуск, свою дочь я оставляю в Ленинграде. Это я решила точно.

Через восемь дней мы собирались всей компанией в маленькое каштановое ущелье чуть южнее Сухуми. Подальше от осени и от жизни, “за скобки года”. Весь прошлый отпуск мы с Дашкой там

проскандалили. Был единственный спокойный день, да и то, когда она с утра ушла с ребятами за вином в горы. Тогда я и поклялась, что больше ее с собой не возьму — пусть поживет у мамы. Но мамой она вертит, как хочет. Та ее даже уроки делать не заставляет. Говорит, что девочка не Змей Горыныч, головочка у нее одна, нельзя ее перегружать. Разве это нормально, что у девчонки в одиннадцать лет — ни одной подруги? Я в ее возрасте таскалась по помойкам с второгодницами, а эта — прилипнет к взрослым и слушает разговоры, кто с кем спит. Я напомнила ей про уроки и мусор, а она в ответ пробурчала: “Вырасти семь розовых кустов, перебери три мешка пшеницы, познай самого себя...”

— Что ты там бормочешь?

— Чао-какао... — и она уже скрылась в парадном.

Лучше всего она была в первые минуты после рождения. Акушерка кричала надо мной: “Тусся, тусся, тусся”. И такой голубок некрасивый появился, с хохолком, весь синий — чистый дух. “Тусся” — значит тужься. А уроков на понедельник, наверно, нет, зря я к ней пристала.

ГЛАВА 12. ОТ АННЫ

К одному из бесспорных Алешкиных достоинств относится то, что с ним удобно вместе идти по улице, он легко подстраивается под мой шаг. Моего отца всегда раздражало, что мама за ним не попевала и забывала, под какую руку его можно держать, чтобы не мешать ему отдавать “приветствия”. Грустное признание: я из семьи потомственных морских офицеров, “офицерская дочка”. В военного моряка, при стечении обстоятельств, я могла бы даже влюбиться — они не вызывают у меня такого стойкого отвращения, как все другие военные. Офицерские дети — это самый неблагополучный контингент, основной фонд красного декадентства. А вот в Алешке декадентства нет. Он из баптистов. Или из сектантов, я их не очень различаю, но не из “хлыстов”. Мне перед ним немножко стыдно и жалко его — нельзя же ведь вообще никак не относиться к человеку, за которым ты замужем. Я могу ему иногда даже сказать “очень люблю”, и во мне при этом ни одна клетка не протестует: приставленное к “люблю” слово “очень” делает все выражение спокойным, умеренным и пристойным, то есть полностью лишает его смысла. И еще одно Алешкино достоинство — его мне ни с кем не нужно делить.

— Тоже нет? Попробуем в “Филипповской”...

В четвертой булочной нет тортов. Алешке приспичило в конце воскресенья найти бисквитный торт, и мы все шли и шли, он мне что-то рассказывал, и было уже поздно говорить, что сегодня к Липовецким идти не стоит. Брать его с собой туда было просто самоубийственно. Но ничего уже не придумать, и ноги — чугунные. Перед последней булочной я не выдержала: “Знаешь, если ты сегодня услышишь что-то неожиданное, обещаю, что не будешь это там выяснять...” Алешка замолчал. Думаю, что ничего хорошего он про себя при этом не подумал. Все-таки не совсем же он болван, чтобы мне до конца доверять. Очень окольным путем вся история выплывет наружу. Какую-то неведомую идиотку ставят в ночную смену, и дальше все нити начинают расплзаться как тараканы, и даже себя я уже не в состоянии контролировать. Пойти завтра к следователю и сказать, что в ту ночь Кит был со мной? Принести вещественные доказательства? Анализ мочи. Противно, но идти, видимо, придется. Не может быть, что только за йогу и высосанное из пальца изнасилование станут опечатывать квартиру. Что-то было. Наркотики? Бриллианты? Не может быть — хоть убей, не может. Скорее всего, какая-нибудь антисоветчина, больше нечему. Со мной никто не делится, потому что мне это неинтересно. Я не настоящий интеллигент, я ни с кем не хочу бороться. Когда со мной говорят о диссидентах, я могу слушать и думать при этом, что нужно распустить мохеровый шарф и достать на Кондратьевском рынке простую шерсть похожего цвета, чтобы свитер получился пушистым. Может быть, это звучит цинично, но я не вижу большой разницы между демократическими странами и нашим свинюшником. Если Бог есть, то во всем есть какой-то смысл и нет разницы, а если Бога нет, то тем более все сводится к тому, в какой стране можно вкуснее покушать. Кит это называет откровениями слабого девичьего ума. Пусть застрелится. Я ему тоже свои тайны не доверяю. И никому другому. Но это тяжело. Обязательно нужно иметь человека, которому можно доверить тайну. “Подружку”. Последняя моя дружба закончилась в седьмом классе. Я иногда встречаю ее на улице и восторженно визжу, но дальше кофе с пирожными мы с ней не заходим. Когда-то у меня были ленивые отношения с Гришкой и Леной Липовецкими. Они распределились втроем с Андреем в Малую Вишеру, и я таскалась туда по воскресеньям с маленькой Дашкой. За занавесочкой ночевала, в физиотерапевтическом кабинете. “Подружкой” мне был, скорее,

Гришка. Лена — человек тяжелый. У нее всегда на все свое категоричное мнение. Она старается его не высказывать, но достаточно, что она его имеет. Из Малой Вишеры Андрея перевели в областную хирургию, а Липовецкие пустились в брачные аферы и, в конце концов, получили ленинградскую прописку и вот эту квартиру с Мариинским театром из окна. Постепенно ее превратили в проходной двор: Гришка открывает ночью, не глядя и не здороваясь, и скрывается в опочивальне. Приходят неизвестные люди, играют в карты и уходят. Чьи-то знакомые. Наша компания — это такой разросшийся организм, каждый в нем разный, но незаменимых нет. Все начиналось когда-то с совместного поддавона и флирта, и если бы компания состояла из таких людей, как я, то давно бы все распалось. Но Кит и Гришка — люди другие. И окружающая жизнь от них сильно зависит. А я среди них — “народ”, который в расчет не принимают, но который тоже нужен и которым иногда можно даже вдохновиться. Сюда же, в эту нервную обстановку, к Лене привозят больных детей. Тем, кто приходит второй раз, Лена преподает курс дикой педиатрии. Типа того, что кислород — это яд, дышать вредно, а от простуд к ногам прикладывать толченый кирпич. У Лены было страшное детское отделение в Вишере, не хочется вспоминать. Таких запущенных детей привозили из деревень, таких уже синих... Лена говорит, что потеряв в отделении первого ребенка, она за одну ночь стала другим человеком. Не то, чтобы черствей. Педиатру профессиональная черствость не нужна. Вот если мне умирать с каждой моей больной, то меня надолго не хватит. Делаешь, что можешь, и отстраиваешься. Было. Умирала. Сейчас я могу отпустить себя на десять секунд: рак — ну, рак; смерть — значит, смерть. Бог дал, Бог и взял.

— Купил? Покажи! Неужели это можно есть? Какой жирный!

Я не циник, я просто устала. Все эти снобы фиговые, мои друзья, с “большевиками не сотрудничают”, а на работающих врачей смотрят, как на отбросы человечества. А ведь никто им не мешает пойти работать санитарями — ну, хоть бы в детское отделение. Зарплата санитаров не очень отличается от врачебной: раздашь долги и все равно остается треть того, что нужно на жизнь. Но как-то все выкручиваются. Гришка вон мотается летом по стройотрядам, зарабатывая себе на зиму. Я этого счастья хлебнула, когда Дашке был год: в маленьком поселке, на границе с Монголией, Андрей работал плотником, а по вечерам вел прием в деревянной больничке. Меня он взял с собой неохотно, и комсомольской романтикой там не

пахло. Я была влюбленной идиоткой и смотрела на него дрожащими глазами, но работать рядом с ним и Гришкой тяжело. Не выдержишь. Они оба пропитаны таким хроническим юношеским максимализмом, таким застарелым, неуместным, особенно сейчас. Мы — современные люди. Современные женщины. Я уже не знаю границ, которых не могла бы переступить.

Мы со своим маргариновым гостинцем уже почти добрались до цели. Перед дверью кто-то повизгивал и курил. Та самая девочка. Еще та девочка. Глазки пуговками и алый обсосанный ротик. Непонятно, кому придет в голову ее насиловать. Рядом стоял Герка и всю ее обхаживал. В таком приподнятом настроении я его давно не видела.

— О! — сказал Герка. — О! Кто к нам идет! И кого мы все нетерпеливо ждем! И как, заметьте, вовремя! В тот самый миг, когда Кит Нестеров поведал нам всю правду.

Я стояла, как стояла. Пол начал уходить из-под ног. Я даже не сразу сообразила, что Кита не посадили: Асмодей во всем блеске скакал передо мной на оранжевом коне, хлестал меня бешенством по глазам и расцветчивал картины страшной мести. Отлично. Отлично! Будем все говорить только правду. Я его уничтожу сама, собственными руками. И сейчас же. Алешка засуетился и у самого входа успел спросить меня смущенно: "Слушай, Анночка, о чем это он говорит? Подожди, я докурю..." Но я не ответила и вслед за Геркой вошла в квартиру.

ГЛАВА 13. ОТ АННЫ

— ...еврейских-шмеврейских! А сколько татар крестили? Или тунгусов? Кого эти мелочи интересуют? Исторический процесс! Из чего-то должна же получаться русская нация. Шесть процентов одних да девять других...

— Да шестьдесят девять третьих!

Я ношусь по чердакам, а эта сволочь сидит здесь, как ни в чем не бывало, и беседует с Шахматовым о евреях. С Шахматовым, который не может запомнить слишком много сразу. И удосужиться мне позвонить. Прекрасно. Замечательно. Он меня не бережет — и я никого беречь не намерена. — "Брьсь!" — Зоологический сад. На голову прыгают тощие сиамские коты. Пес их дурацкий, только войдешь, сразу начинает лапать, будто я ему невестка. В жизни никто не скажет "здрасьте". У входной двери Фимка Пази и "Сорока"

Сорокин колошматят по шахматным часам и "до флажка" таскают по доске двух ошпаренных коней. Я не удержалась и так шарахнула бедром по шахматной доске, что сиамские коты начали злобно кашлять.

Разговор в комнате прекратился, и аудитория лениво развернулась ко мне. Паузу я выдержала прекрасно. Теперь моя игра. Я хочу, чтобы меня слушали. Боком ко мне, на круглой стиральной машине, перед тремя Гришкиными детьми, сидит Нестеров и показывает детям фокусы.

— Как дела? — спросила я. — Нестеров? Какой сюрприз! Разве тебя еще не посадили? А как здоровье Аси?

Кит сделал руками несколько широких пассивов и вытащил из стиральной машины черного кролика величиной с пушистую рукавичку. Дети и Лена восторженно застонали. Фокусы он им показывает. Думает, я его не достану.

— Как здоровье Аси? — повторила я. — Знаешь, я решила, что это была отличная идея — пропустить ее через милиционеров. Только как бы она потом нас всех не перезаразила...

Лена собрала детей и вытолкала их в соседнюю комнату.

— Мадам, отключите вибратор, — сказал Пази и расхлябанно пошлепал себя по губам. Нестеров смотрел на меня с сочувствием и не сердился. Мне показалось, что он не понимает, почему я пошла вразнос. Зато Герка выпучил глаза, открыл рот и высунул восторженный язык.

И тут я с опозданием поняла, что Герка меня разыграл. Очень тонко. И рассчитывал, что я промолчу.

Хлопнула входная дверь, и Алешка с торжественным видом внес в комнату торт. У меня сразу заняла печень. Алешку придется принести в жертву. Не хватало, чтобы он тут всех поубивал. Кит его не любит. То есть, он Алешку органически не переносит. Я приняла торт в руки, прижала Алешку к стенке и погладила по груди:

— Уйди, пожалуйста...

Он изумленно посмотрел — и вышел.

Тогда я выдернула из-под Шахматова пуфик, поставила торт на пол и с размаху села на пуфик. Все покачали головами, но никто ничего не сказал.

— Да, — продолжал Гришка, — а то, что я ни в одну кардиологию устроиться не могу, — это тоже справедливо?

— Я не говорю "справедливо", я говорю "логично", — перебил Шахматов. — Плата евреям за пролетарскую революцию.

— Ты лучше думай! Валишь все на евреев и этим свой русский народ низводишь до стада баранов...

— Любой народ — стадо баранов.

— Это как сказать. И второе, ты считаешь, что я меньше русский, чем ты или Анна? А ты ее затолкай в другую страну, через месяц ее от любой шведки будет не отличить...

— Мое личное мнение, — сказал Васька, задумчиво развязывая веревочку на коробке с тортом, — что евреи все эти тысячи лет что-то серьезно нарушают и за это их наказывают.

— Ты еще увидишь, во что ваша ср... математика превратится без евреев, — сказал Гришка. — Такое будет убожество...

Васька вдруг заискрился и выдал:

— Ты же говорил, что Николай под пытками сто тысяч еврейских мальчиков крестил — вот их внуки на матмех поступать и будут. Между прочим, сам-то ты женился на русской. Подожди, ты еще своих детей на Фонаревых перепишешь.

— Ломоносова фамилия была Ораниенбаум, — влез Фимка. Он со своими шутками сидит у всех в печенках. Ложишься спать и никогда не можешь быть уверен, что он не окажется под кроватью.

Ко мне никто не обращался, но я уже просилась обратно, как нашкодивший пес. Вовремя я остановилась с Аськой. Голову могу дать на отсечение, что сейчас все про себя домысливают, сколько будет "охвачено". Я сходила на кухню за ножом и стала делить торт. Три куса с вишенками — детям. Четвертую вишенку, так и быть, съем сама. Всех нас было двенадцать, и еще трое должны были подъехать. Еще был Гришкин брат из Архангельска, который тоже собирался с нами на юг. Он сидел на спальнике и что-то выковыривал гвоздем из щели на полу. Саня Ланской придерживал за джинсы свою новую пассию, близорукую девочку из "Интуриста". В прошлый раз она всех развлекла занимательной историей потери, цитирую дословно, *foolish virginity*. Ей дали в "Интуристе" группу, состоявшую из одного молодого "штатника", с которым она в номере невинно целовалась. Но оторвавшаяся бретелька от лифчика у нее была заколота английской булавкой, обнаруживать такой позор перед иностранцем не хотелось, и лифчик она малодушно сняла. И так далее. Разговор тогда шел о неожиданных поворотах судьбы, и иллюстрация получилась очень удачной.

Напряжение в комнате после еды немного спало, только Гришка с Шахматовым продолжали лениво доругиваться:

— И напрасно ты думаешь, что они там глупее тебя — и Суслов,

и Андропов, и даже наш этот Романов. У них, может, неинтеллигентные морды, но...

— Жопы с ушами, — сказал Сорокин.

— Романов все-таки похож на человека, — засмеялась Санина переводчица. — Когда он стоит на мавзолее, я еще могу поверить, что он сейчас слезет и уйдет домой. А у остальных такой вид, будто они всегда там живут.

Кит посмотрел на переводчицу и отвернулся. Все, что нужно, он уже увидел. Она сняла свитер и завязала ковбойку на плоском загорелом животе. Мне даже не пришлось в голову узнать, как ее зовут.

— Людям нужно веру вернуть, — сказала Танечка Шахматова.

— Людям нужно жрать водку и блевать в канавах. Все, чего ты своим православием добьешься, — что они еще больше будут винить жидов и кричать: "Я, бля, русский!" Ты не забывай, — Гришка ткнул пальцем в лежавшую на шкафу икону, — Христос свое учение предназначал для евреев. "Не кормят собак, пока дети не накормлены..."

— Этого нет!

— Этого есть. Ты невнимательно читала. И кто это вообще выдумал, что русский народ — богоносец и мессия?

— Если и выдумал, то правильно, — сказала Таня, — хотя я еще не вполне понимаю, что это значит.

Гришка только всплеснул руками:

— Ну, Танька окончательно поглупела. Ей уже снится, что таджики за завтраком говорят по-русски. Твоих русских скоро будут всюду резать!

— Чего же ты не уезжаешь? — спросила Танечка сладким голосом.

— Да брось ты меня этим попрекать на ворованной финской земле!

— Так я же за это воровство несу ответственность, а ты не хочешь.

— Конечно, не хочу.

— Чего же не едешь?

— Не хочу. Устроили международную торговлю евреями, и я не хочу в этом участвовать. Я — заложник.

Танечка задумалась, а потом начала медленно выговаривать:

— Тебе придется понять, что православие — самый глубокий и честный путь. Ты, как человек неверующий...

— Я не неверующий, прошу не путать. Я не верю, что Богу важ-

но, двумя или тремя перстами ты себя крестишь. Я ущербный агностик. И в иудаизм я тоже не верю, он морально устарел...

Гришка потерял нить, недоуменно остановился и пошел к телефону. Звонили Киту. Гришка принес аппарат и поставил Киту на колени:

— ...да ...кто-то из них... зачем ты вообще туда потащилась?.. не терпится!..

Он еще продолжал говорить, но очень тихо, слов было не разобрать. Из соседней комнаты высунулся Гришкин сын Сева. Я могла бы руку дать на отсечение, что он там сидит и подслушивает.

— Это правда, что вы Дашу с собой не берете?

— Дуй отсюда, узнаешь все у Даши. Или лучше с сестрами прогуляйся...

— “Темная ночь...” — запел он со значением.

На улице, действительно, уже стемнело. Начались неожиданные провалы времени.

— Ты за луну или за солнце? — спросила меня конопатая Севкина сестра. — За солнце — за пузатого японца, за луну — за советскую страну...

— Яня, — недовольно сказала ей Леночка. — Ты про солнце уже пятнадцатого человека спрашиваешь.

Прошло полчаса, пока Нестеров понял, что я ему делаю знаки. Уже все заметили, непонятно, от кого уже было скрываться. Я поднялась по ступенечкам в мансарду, и через несколько минут он ко мне демонстративно постучался и так же демонстративно щелкнул английским замком.

— Чем обязаны такому вашему вниманию?

— Иди к черту, хватит кривляться. Ты был сегодня дома?

— Нет, я ночевал...

— Мне не важно, где ты ночевал. Разве тебе Шахматов ничего не сказал?

Нестеров многозначительно поднял глаза к потолку и развел руками:

— Иди хоть поцелуемся.

— Полная квартира людей. Это Аська тебе звонила? Что она говорит?

— Легла на амбразуру. Александр Матросов!

— Врешь, не может этого быть. Ты так думаешь, потому что я сказала? Это меня Герка завел, и я понесла чепуху. Ты же не знаешь главного — у тебя квартира опечатана!

Кто-то повернул ручку двери, а потом стал ее раскачивать и сильно дергать.

– Кто там?

– Анночка, это я.

О, Боже, принесла его нелегкая! За дверью слышался шум. Потом замок вместе с шурупами вылетел из стены под рев и улюлюканье: кроме Алешки в комнату ворвались два карнавальных медведя с гуттаперчевыми мордами, они хватили Алешку снизу за ноги и орали: “Отдайте женщину снов!” Алешка озлобленно отбивался каблуками. Наконец, он вошел, совершенно белый от злости. Мы с Китом стояли и нетерпеливо ждали. Я вспомнила, что ни разу не слышала, чтобы Алешка разговаривал с Китом или даже вслух к нему обращался. Может, он хочет говорить через переводчика? Сорокин и Пази все еще лежали на пороге и мычали, по краям масок сверкали отвратительные белые клыки. Я тоже играла в школьном драмкружке, но тогда не было таких масок.

– Что тебе от нее нужно? – глухо спросил Алешка. Кит в ответ неожиданно весело и легко рассмеялся.

– Все, до чего ты дотрагиваешься, превращается в грязь.

Кит ждал, что последует дальше. Алешка снял со стены подкову, но ничего с ней не сделал – ни разогнул, ничего – только вытер пыль и повесил обратно на гвоздь. Оба они стали мне удивительно противны. Я начала боком подбираться к двери.

– Если ты до нее пальцем дотронешься, я тебя выброшу в окно.

– Это было бы даже интересно, – вежливо ответил Нестеров.

И тут я увидела, что наряд стоит в прихожей и услышала Любкин голос. Значит, они приехали.

ГЛАВА 14. ОТ БОРИСА

Чего бы я сейчас хотел? Помыться и поспать. На лбу можно написать “миру-мир”. Пыль и мозг в пыли. Но сейчас не заснуть... И мы привыкли не спать. В первую неделю войны я больше часа подряд не спал ни разу. Вот опять. МАТРАЦ-О-ЛЯ-ЛЯ-БАТАРЕЯ-ЦЕЛЬ.

Матрац-о-ля-ля – так поднимают меня. И так поднимаю я. Сейчас уже не до разговоров. И думать ни о чем не получается. Противотанковыми. 557 – это тип детонатора. 119 – значит, далеко. Это тринитротолуол и, значит, далеко. 33203 – пушка по горизонтали. Третья пушка, центральная. По ней я веду расчет. Высота пушки 329. Первый вместе. Остальные в максимальном темпе. Значит, три

минуты стрельбы. Бесейдер*. Приготовить двенадцать на три минуты. Американцы говорят — плей бэк ордер, повторяю. Сейчас я должен на пальцах проверить данные компьютера. Главное — это угол. Чтобы расхождение было не очень грубым. Третья пушка — 33203. Вторая — 33206. Четвертая пушка — зажат ударник. Первая готова на цель. Третья — готова на цель. Шестая готова на цель. Готов тремя. Пятая — готова на цель. Четвертая — зажат ударник. Давид, сбегай на четвертую. Готов пятью, четвертая не стреляет. Мне нужны все. Ну, что, четверка? Не получается. Готов пятью. Мне нужна вся батарея. У меня нет четвертой пушки. Ждем. Четверка? Не получается. У меня нет четвертой пушки. Готовься к обратному счету. Хамеш-хамеш, арба-арба, шалаш-шалаш, штайм-штайм, ахат-ахат**. ЭШ. Огонь. Все-таки к этому нельзя привыкнуть. К счастью, я стал хуже слышать. В моей телеге звук приглушен, но и этого хватает. Первая — отстрелялся, пушка пустая. Третья — отстрелялся. Гимель*** — отстрелялся. "Спасибо. Цель уничтожена, понадобитесь через два часа".

Два часа отдыха. Уже несколько часов постреливаем. Долгожданный заслуженный мир: только встали, нас сразу начали дергать. После восьми часов пути. От сирийцев сейчас километра четыре, но я не знаю, куда мы стреляем. За двое суток спал два часа. И еще час прихватил в бронетранспортере. Я люблю спать в каске — не думаешь, куда голову приткнуть.

Вот под этой трубой и помоемся. Темно. Я даже не заметил, как поле опустело. Семья ливанцев собирала спелые помидоры — у нас тут, как драка в кабаке: кружки летят, а кто-то жметя к стеночке и пытается поужинать. Нет, нет. Мне не нужно поливать. Тода****. Я люблю все делать сам. Пока сирийцы пристреляются, мы еще успеем поставить душ. Мне тут рядом еще две позиции вымеряны. Стреляют сирийцы средне, не так, как мехаблим*****,— те лупят в белый свет, как в копеечку. Но рано или поздно сирийцы меня отсюда поднимут, хоть стою я очень хорошо. За холмом и за каменной насыпью. Я в яблоневоm саду. Яблоки еще кислые. Бикат А-Леванон, Ливанская долина, начало Северо-Африканского разлома.

* Порядок (ивр.).

** Пять-пять, четыре-четыре, три-три, два-два, один-один (ивр.).

*** Третья буква еврейского алфавита.

**** Спасибо (ивр.).

***** Террористы (ивр.).

Прошли сегодня по ущельям городков двадцать. Выше, выше, выше, пылью все заволочло — и потом такой вид. Справа — озеро плоское, кленовый лист, у шоссе пылают два здания, а остальное все — тетрадь в клеточку, лоскутное одеяло: разноцветные поля с каменными изгородями. Рай. Похоже на Баксаны. Я не помню, были ли там лягушки. Таких зеленых я не видал с детства. Ливанское корыто — по плоским стенкам ютятся городишки, за шоссе — поля, сады и плохие сирийцы, а перед шоссе — поля, сады и хорошие мы. А хоть бы и плохие. Мне все равно. Мы любим быть хорошими в чужих глазах, а нужно называть вещи своими именами: исторических прав на землю нет, не существует. Если бы они были, то все люди на свете давно бы друг друга перерезали. С чувством долга. Я сегодня полдня стоял за браунингом, и господа ливанцы смотрели на меня со всех балконов, и что я — агрессор, хоть и вынужденный, ни у меня, ни у них сомнения не вызывало, но дело в том, что мы слишком глубоко здесь увязли. Сегодня они смотрят с балконов, а завтра...

МАТРАЦ-О-ЛЯ-ЛЯ-БАТАРЕЯ-ЦЕЛЬ. 239279 108931. Высота 211 метров. Гимель. Пять кругов. Два фугасных, два осколочных и один зажигательный для коррекции. Теперь это все пойдет на компьютер. И он мне просчитает на каждую пушку. Это уже по похоте.

Матрац-о-ля-ля. Батарея-цель. Собственно, мне сейчас делать нечего. Только следить. Сержант с вездеходом что-то финтит. Дождлся темноты. Делает вид, что работает, как сто китайцев. Ему до дембеля месяц, так он совсем распустился: три часа гусеницу не может на место поставить. Потихонечку. Кадима.. Ахора* Назад. Вперед. Еще вперед. Ага, вот давай я стукну. Как же это по-русски? Алик, как большой молоток по-русски. Сам ты молот. Пацаненок из Казатина. Беда с этими вездеходами. У американцев за батареей еще по пять машин ездит, а мы единственный вездеход до отказа грузим, вот гусеницы и слетают. Дай, я еще раз сам ударю. Ты же здоровый, как бугай. Ладно, вози так. Тринитротолуола — сто футляров, и снарядов — пять сортов. А стеночка, как картон, — одного осколка хватит, костей не собрать. Сейчас стреляет только третья пушка. Уже второй снаряд куда-то в сторону заложили. Давид, нужно ТНТ проверить. Восьмой вместо девятого. Вот тебе эти двести метров ближе. Первая батарея уже прохаживается, что опять нам

* Вперед. Назад. (ивр.).

двух снарядов мало. Ури, заткни их. Сделай рацию потише. Что там? Прекратить огонь. Одна не выстрелила. Сейчас будет морока вытаскивать. Для стрельбы этот снаряд уже не годится.

Еще день прошел. Спешить некуда. Такая древняя специальность, называется — “военные”. Снарядный ящик под спину и спальник. Как крестьяне. Возвращаешься пару раз в месяц домой и хочется блевать — еще идет война, а они там уже живут дальше. Военных на дорогах стали хуже подвозить — это главный барометр. Подобрал вчера девчонку-хайелет* на шоссе — простояла сорок минут, никто не брал. Заснула у меня на плече. Пилоточка под погоном, кудри до плеч рыжие — мечта! Я устал от умных женщин. Надо жениться на американке, самый будет благоразумный шаг. Если женишься на американке, то тебе даже прощают, что ты из России. Тут же не один — тут десять Храмов можно разрушить, все равно, кроме денег никто ни о чем не хочет слышать. Дай волю, половина в Америку сбежит. Они же не евреи. Они САБРЫ. Это первое поколение людей, которые больше не евреи. Глаза спокойные. Дело не в обрезании — хоть... руби на “пятаки” — дело в глазах. Так он гусеницу и не сделал. Мудак безрукий. Выложи ее на землю, второй пусть держит сверху, а ты накатывайся. При фонарях, раздолбай, еще до утра будут возиться. Обленились на фронте — здесь я их меньше шпыняю. Но они неплохие мальчишки. Вид захватский, все в черных очках, амулеты на шее. У меня тоже такой, и еще один в сапоге — личные номера, чтобы меня могли опознать армейские раввины. Настоящий Израиль — это не Израиль. Настоящий Израиль — это наша армия. Остальное все плесень. У нас министр обороны, который любит воевать. Всем голову задурит, чтобы ему дали повоевать лишний час. Может быть, и я тоже люблю. Надо в себе покопаться. Искушение, которому трудно противиться. Я говорю о русских. Соблазн любого боксера в весе “мухи” — нокаутировать тяжеловеса. Но им здесь нечего искать. Я заезжал к своим раненым — у них в госпитале лежат три русских летчика. Молчат, партизаны, “испанцы” сраные, говорят по-английски с челябинским акцентом и требуют представителей Красного креста. Красиво мы их отсюда вычистили! 85 самолетов на один наш учебный. Может, хоть сегодня ночью поспим. Ури, предупреди часовых, чтобы по кабанам ночью не стреляли. Их легко отличить, шорох резче. Но не промахнись — по этой дороге мехаблим уходят

* Солдатку (ивр.).

к сирийцам. Ночью даже скучно, если нет стрельбы. Я не люблю лежать и думать. О чем думать? Не о чем. Пора уже лечь с кем-нибудь в постель. Тут неплохие бабешки были, даром что ливанки. Ноги только все бреют. Ури, чем твоя девчонка бреет ноги? Филлипсом? Даже вопрос никого не удивляет. В Союзе бы меня с бритой бабой в постель не уложили. Звонят. Каждый час колокольный звон. За стрельбой было не слышно. Когда меня харьковский политех выпускал лейтенантом запаса, я смеялся. Я зря смеялся. Я всегда был военным, — я реально смотрю на вещи. Надеяться на мир с арабами смешно. С другой стороны, я не сентиментален, я не придаю личности слишком большого значения. Идут процессы выше нашего понимания — до них не нужно докапываться, даже вредно. В вашем доме прячутся бандиты? — тем хуже для вас, нужно было думать раньше. При чем тут жалость? Из-за жалости нельзя позволить поливать свои города "Катюшами". И нужно найти свое место и делать то, что от тебя требуется. Думаете, мне здесь лучше, чем в Союзе? Мне везде было нормально. За мной не бегали и не кричали "жид". За мной много не побегаешь. У меня даже тесть, извините, русский. Бывший тесть. Так чего я сюда приехал? Я не знаю. Может быть, я родился, чтобы спать на этих снаряжных ящиках. Абалаковский рюкзак под голову. Это мое имущество. Хорошо его Виталий Михайлович придумал. Немного устарел, но я с трудом отказываюсь от своих привычек. Завтра, Давид, все завтра. Махар*. Народу мало, треть я перед шабатом** отпустил домой, завтра начнут возвращаться. Засыпаю. Кувалда. Не молот, а кувалда. Забываю язык. И не хочу его помнить. Все свое я России отдал. Хватит. Кончил смену — хер в стену.

ГЛАВА 15. ОТ АННЫ

Любка и Ася стояли в прихожей и странно посмеивались. Я раньше никогда не видела Аську пьяной.

— Все-таки мы не 'гешились с'гывать су'ггуч.

Кит скрежетнул зубами и оглянулся. Казалось, никто, кроме меня, не понимал, о чем речь.

— Хватит шуточек на сегодня, — сказал Кит. — Волкова уже попалась, эти две тоже — кто это сделал?

* Завтра (ивр.).

** Субботой (ивр.).

Один из медведей за шахматной доской начал корчиться от смеха и лупить себя по бокам. Я начала понимать. Выходит, я опять оказалась в идиотках.

Все-таки слова Кита не давали мне покоя. Мне не было дела до Любкиных романов, но ничего хорошего я от нее не ждала. Когда она еще училась в студии ТЮЗа, я видела двух ее мужей, один сейчас преуспевал на Ленфильме. Это такая специальная порода киногероев с раздвоенными подбородками, похожих на официантов. И еще на следователей. К кому из этой райкомовской своей сволочи она водила Аську? Аська еще утром выглядела подозрительно. Впрочем, сейчас на ней не было ни неточно застегнутых пуговиц, ни второпях перекрученной юбки, правда, глаза размазаны, но мало ли от чего размазываются глаза, эка невидаль... Любка смотрела на нее со своей сучьей преданностью. Мне мешало, что я непрерывно чувствовала Алешкино напряжение за спиной, он держал меня за локоть и впивался пальцами до боли. В первый раз я даже не услышала, а только почувствовала выдох, потом он сказал вполголоса и уверенность каждый раз крепла:

— Ты и Кит. Я все понял. Ты и Кит, что, не так?! — каждый раз громче, наконец, стало слышно всем и образовалась абсолютная тишина.

— Вы знаете, Ася, что она и Кит...

— Мне это не мешает, — отрезала Ася, не оборачиваясь.

Не очень-то она была пьяна, а изображала черт-те что, еле держалась на ногах. Но ответила мгновенно, словно готовилась.

— Собирайся, — взревел Алешка, — мы отсюда уходим.

— Мы отсюда не уходим, уходишь только ты! — я засмеялась так, что резануло в горле.

— Ты еще пожалеешь, ты еще очень-очень пожалеешь! — он в последний раз, до крови, сжал мне пальцами руку и неожиданно бросил ее так, что я ударилась ладонью об острый угол. Но он даже не взглянул, обвел всех ненавидящим взглядом и вышел.

Я сразу же почувствовала себя свободней. Пази все еще продолжал хохотать, приглашая и других поучаствовать в его триумфе. Васька тоже посмеивался.

— Но там же был милиционер! — вдруг вспомнила я.

Пази развел руками сквозь смех:

— Ну, был какой-то посторонний милиционер, мало ли, может, он там живет или в гости приходит к своей бабе...

Фимка сдернул маску и забросил ее наверх, на развесистые

оленьи рога на стене, где уже качался Любкин зонтик. Лицо его еще несколько секунд сохраняло форму маски, но он повертел головой, и оно расправилось. Любка тем временем съезжала по стенам на пол, хихикая. Ей совершенно нельзя пить, она пьянеет с перстка. Это очень непрофессионально для актрисы. Сейчас начнется концерт — она будет бить стекла и исповедоваться. Она пьяно бормотала:

— ...он теперь сделает все, что мы попросим... знаешь что, Нестеров, отведи-ка ты меня в ванну... а я люблю военных...

— Дай ей по щекам! — предложил Шахматов. Аська коротко на него поглядела. Шахматов отвернулся.

Кит с отвращением взял Любку под руки и поволок в ванну, ее ноги в сапожках волочились по полу, ей было очень весело и радостно представляться. Ася проводила их глазами и сказала Гришке, сквозь зубы и очень зло:

— Сделать-то он, конечно, теперь сделает, что сможет. Машенькину маму уже припугнули, что за дачу ложных показаний ее посадят...

— Ну, и слава Богу! — сказал Гришка. — Теперь нужно Нестерова напоить — за счастливое освобождение...

— Деньги взял, но очень странно себя ведет, — продолжала Ася. — Говорит, что сделает все, что в его силах, но что он тоже не Бог. И на что-то намекает. Говорит, что есть еще данные, которые он заблокировать не может. Фигурирует какая-то Арина Ревич. Или заявление от нее. Спрашивает, не знаю ли я такую, и посмеивается, сволочь...

— Ревич? — У Доральда была сестра Арина. Она умерла лет десять назад, еще маленькой девочкой от чего-то типа лейкоза. Она была совсем маленькая, лет тринадцати, даже для наших "бойцов" возраст малоинтересный...

— Иди, звони Доральду, — повернулся ко мне Гришка. Я с недоумением на него посмотрела.

— Доральд? Да он никогда...

— Иди, звони!

Я с раздражением встала. Не знаю, как могла выплыть Арина Ревич, если это вообще о ней речь, но это не Доральд. Он никогда...

Сначала было занято, потом я сразу наткнулась на Доральда. Он обрадовался моему звонку. И поскуучнел, когда узнал, что я звоню по чужой просьбе. Но приехать обещал. Это еще час ждать.

Я вспомнила, что Лена просила меня дошить штормовки, снова

поднялась в мансарду и села за "Зингер". Фельдшерница на "скорой", с которой я часто дежурила, правильно мне говорила, что женщине нельзя учиться шить, "как начнете, так и будете всю жизнь за машиной". Но меня никто не учил. Я всегда умела шить лучше мамы, еще даже когда домоводства в школе не было. Мама у меня, в основном, в высшем смысле, шить не умеет. Умеет она про "отзовистов" и "ликвидаторов". В жизни это никому понадобится не может. Так-так... Зря я "реглан" сделала: возни много, а плечи получились очень покатыми. А из наших мужчин надо делать героев, а то они все выглядят, как сыновья матерей-одиночек. Ответчики за Россию: придумывают себе лубок, в который немедленно начинают верить. Ленька Арьев притащил вчера огромную банку "Иваси пряного посола" и начал ее папиным кортиком открывать, приговаривая: "Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи". А у самого руки от нетерпения дрожат. Очень на них папин кортик действует. "И красная кровь не нужна ли республике иль королю?" Жалко, что у них никакого выхода нет — только играть в покер и приставать к чужим женам.

Хорошо здесь, мне такой мансарды не хватает дома, чтобы можно было от всех скрыться. Гришка выложил пол грубыми овчинами, зимой окна леденеют, а от струганых деревянных стен, от развешанных пучков каких-то лечебных трав, от чесночных кос, от ниток белых грибов по углам, от ожерелий окаменевших баранок идет сухое ароматное тепло.

В комнате о чем-то еще спорили, но мне даже слушать не хотелось. Аська стояла напротив приоткрытой двери — я вертела машину вхолостую и ее разглядывала. Она замерла у стены, готовая в любую минуту исчезнуть. Блузка "на размахечку" с торчащими ключицами. Даже непонятно, как эти ключицы совмещаются с такой нарядной грудью. Подчеркнутая симметрия: широко расставленная грудь, широко расставленные зеленые глаза, всклокоченные пепельные кудри и удавочка турецкой бирюзы на открытой шее. Я не видела слабых мест. И только горький ореол вокруг губ вместе со щелью между передними зубами производили эффект какого-то скомканного сладострастия. Живешь себе, живешь, а на тебя припасена такая Асенка — и вся жизнь летит в тартарары.

Мимо двери прошел Герка, я его окликнула: "Герушка, там в куче барахла под сетками, должна быть рябина на коньяке, належ мне..." Коньяк нехорошо ударил в голову. Мне стало скучно жить и страшно заглянуть в себя. Что мне Ася? Не Ася — так другая.

Просто я думала, что спрячусь за Андреем от жизни. А он не спрятал и сказал: "Живи сама". Сама. А меня самую утягивало обратно, в бездну...

Я легла на овчину и вытянулась. Подкова, которую снимал Алешка, повисла криво. Кривое счастье... Надо спросить у Гришки, где он достал подкову. Гришкину квартиру заполняли какие-то доставшиеся по случаю вещи: доски, фланцы, куски дверей, листы фанеры. Все это было свалено вдоль стены. Гришка собирался превратить квартиру в сказочный дворец. Но до дела доходило редко, обычно после ссор, когда жизнь становилась невыносимой, и Лена с детьми отправлялась ночевать к знакомым. Тогда Гришка переставал подметать и начинал искать растерянные струбцины и рубанки. Пол по колено покрывался радостной стружкой, но доски, свежей, как деревенская свадьба, хватало лишь на очередную треть стены, и это настраивало Гришку на возвышенный лад. Лена, возвращавшаяся мириться, обычно заставляла его за беседой о жизни в лесу, ульях и прочих сельских радостях — и еще недели две дети играли стружками в "Новый год", а Лена ходила, зажмурившись, и деликатно не убирала мусор, чтобы Гришке не почудился укор.

Я постепенно засыпала.

ГЛАВА 16. ОТ АННЫ

Мне снилось что-то хорошее, но я совершенно не помню что. В мансарде было совсем тихо, и я решила, что все разошлись. Но потом я почувствовала, что рядом кто-то сидит и гладит меня по голове. Очень нежно. Как мама.

— Нестеров, это ты?

— Проснись, пожалуйста.

— Что-нибудь случилось?

— Пришли Ревичи, и Трубачев их там травит. Выйди к ним, я не хочу встречаться с Веркой.

— Да, да, я встаю.

Я считаюсь специалистом по Доральду.

— Слушай, Нестеров, а кто дал три тысячи?

— Саня.

— Китущка, я все думаю, может быть, Аське не пришлось бы туда ездить и все такое. Если бы я, ну, ты понимаешь. Если бы я сразу все заявила?

— При чем здесь ты? Она же в восторге. Это самый сладкий момент в ее жизни. Она и не мечтала, что можно будет меня так взять за горло. Встань, пожалуйста! И сделай что-нибудь, чтобы Герка замолчал, а то больно это слышать.

Кит остался в мансарде, а я толкнула дверь носком и посмотрела вниз одним глазом. Верка и Доральд сидели на стульях, а остальные действующие лица в разнообразных позах расположились на спальных мешках и на полу. Кто курил, а кто дремал. "Сорока" держал на коленях чемодан и гонял сам с собой в "гусарика". Пора было проморгаться и выходить.

— Не смотрите на меня, я пойду умоюсь.

На пороге ванной комнаты меня встретил Гришкин брат в теплой полосатой пижаме. Из-за его спины поднимались клубы горячего пара.

— Слушай, ты не могла бы мне достать крем "Вималан"?

— Я узнаю.

— Если будешь покупать, возьми сразу бутылок двенадцать, меня еще на работе просили. Чего-то вы сегодня расшумелись.

— Давай, вали отсюда, дай мне умыться!

— Только ты не забудь!

Не забуду. Я взглянула на себя, ну и чучело, еще бы — полдня проспять. И я очень во сне замерзла. Сейчас бы залезть в горячую ванну и сидеть там, пока все не разойдется. Все-таки я, поеживаясь, как кошка в дождь, поджимая передние лапы, вернулась в парадную залу и примостилась на штабеле досок рядом с Сорокиным. "Сорока" тасовал одной рукой атласную колоду и отчаянно уламывал Мару: "Сдавать будешь только ты", — приговаривал он.

Герка все еще сидел на полу за шифоньером, но Машенька переместилась к нему на колени и очень угловато и неловко перебирала его бороду. Герка сидел красный и разглагольствовал о хоккее. Наверное, проходил какой-то турнир, потому что крик на лестницах всю неделю стоял ужасный. Но дело в том, что Доральд никогда хоккеем не смотрит. И Герка тоже никогда хоккеем не смотрит. Герка его просто дразнит. Или дразнит Верку, у него никогда не поймешь. Доральд — я видела только выпрямленную, одеревеневшую спину — кивал.

— Фирсову палец кое-куда не клади, сразу накажет, — мямлил Герка.

— Окстись, Фирсов уже умер, — фыркнул Сорокин.

Очень содержательный разговор. "Три корнера — пендель". Умер

какой-то неведомый Фирсов, которому не нужно в рот класть палец. Хоть бы Герка унялся.

Кит наверху в мансарде насвистывал “город детства” и тихонько себе наигрывал. “Где-то есть город, тихий, как сон, где-то есть город тихий, как сон”. Где-то есть город.

Это моя песня.

Шахматов и Гришка хихикали на диване. Когда я проходила мимо, Гришка подергал меня за юбку, дескать, пора говорить с Доральдом. Но Герка опять завел свою канитель: “Дорик, а как йога? Вы на этой йоге все помешались. Тантрайога — это я еще понимаю, — он показал рукой на мансарду. — Хоть есть какая-то цель, но все равно весь всех не переброешь. Это правда, кстати, что нельзя есть говядину? Очень странно. А как же без мясного? Верочка, ты скажи, ведь ноги протянешь!”

Верочка поцокала языком и послала ему воздушный поцелуй. Верочка была в свое время замужем и за Китом, и за Геркой. Она знает, “как без мясного”. Верка сегодня неважно выглядела. У нее бывает два состояния, без промежуточных, урод или красавица. Ее дочке семнадцать лет. Скоро будет бабушкой. И Нестеров, кстати, дедушкой. Дедушка, сидящий в тюрьме за разврат малолетних, — это просто позор, а не любовник. Никому не похвастаться. Я все еще сидела молча, только кивнула Доральду, и он мне не очень приветливо ответил. Гришка снова подергал меня за юбку.

— Доральд, — выдавила я из себя неискренним голосом, — нам очень важно знать, зачем тебя вызывали.

Доральд и Верка переглянулись.

— Вам это лучше знать, — сказала Верка, — мы с этим человеком не хотим иметь ничего общего. Мы за его жизнь, за его романы...

— Это твой бывший муж, — засмеялся Шахматов.

— ...и за его многочисленных детей ответственности не несем.

— У тебя тоже от него дочка.

— В каком смысле “тоже”? — презрительно процедила Верка, озираясь на Любашу. Та свернулась калачиком на спальнике и тихонечко во сне храпела.

— Прикрой ее кофтой, пьяная Снегурочка.

— Отличный сюжет для мультфильма: Снегурочка, сильно пьет...

— Живет с Дедом Морозом.

— Это тривиально. Живет с другой Снегурочкой.

Доральд болезненно поморщился, поднял голову и, не глядя на меня, начал отвечать на мой вопрос.

Ничего нового Доральд не рассказал. То, что и так все прекрасно знали: про две лекции, которые он читал в группе Кита, и про оплату этих лекций, и все такое. Никто его не слушал — только рассматривали. А Гришка и Шахматов на диване зажмурили глаза и одинаково смотрели непонятно куда — то ли на Доральда, то ли на лампочку.

Я не могу точно сказать, когда человек врет. Я вообще не верю, что религиозный человек в состоянии врать. Про себя я считаю, что в глубине души я глубоко аморальна. Но я не верю, что другие люди могут быть такими же.

В глаза Доральд не смотрел, и все время казалось, что он чего-то не договаривает. Но это могло быть и просто его манерой. Его сильно все не любят. То шагу без него не могли ступить, теперь за что-то презирают. То ли за то, что глаз пустой, то ли он какой-то слишком вымытый. У меня к слишком большой чистоте появляется брезгливое чувство. Зря они его сюда притащили, еще слава Богу, если выяснится, что ошиблись. Попробуй, скажи человеку в лицо, что он врет... Начнешь ловить, лучше бы и не поймать, а то будет только хуже. Стыднее всего поймать. Что они будут делать дальше? Поймать и презреть! Как я не люблю эти публичные разбирательства, кто бы знал. Расселись вокруг Верки и Доральда, как волки, сейчас начнут рвать на части. Какой стыд! Но думаете, если сейчас выяснится, что они ошиблись, всем будет стыдно смотреть в глаза? Как бы не так... И рвать на части не станут. Абсолютно всем все равно. Если еще Гришку связать и заткнуть ему рот, то будет полный покой. Им главное — доказать, что вот они — религиозные, а доносчики, а мы не религиозные, но такой сторож в голове, что всем на удивление. А эти два не от мира сего крохобора тоже начинают торговаться, "про деньги не сказали-сказали-не сказали", какие к черту деньги, три рубля там было за эти лекции.

— О девочках тебя...

— Поступила информация, что на Кита написан донос. — Герка испугался, что его опередят, и заторопился снять пенки. — Мы тут прикинули, думаем, — Дорик, больше никому...

— Развели бардак и теперь ищите виноватых! — завопила Верка-“бабушка”. Она уже от бешенства вся ходила ходуном и изгибалась.

— Поменьше страсти, — подняла голову Ася. Видимо, Веркин голос действовал ей на нервы. Ася сидела на полу рядом с Любашей и пыталась привести ее в чувство.

— О девочках тебя не спрашивали? — грубо повторил Васька.

— О сест'ге? — негромко спросила Ася.

Верка с удивлением оглянулась на Доральда, видно было, что она не понимает, о чем идет речь.

Доральд съезжился, враждебность к нему пропала и интереса ни у кого он больше не вызывал. Он посмотрел на всех, как на заразных больных, поднялся и вдруг направился к выходу. Но ему было не пройти. Все сидели с очень удовлетворенным видом. Один Ланской опустился на четвереньки и загораживал Доральду дорогу: он согнулся на рыжем собачьем спальнике и с горящими глазами пытался разбудить Любку. Саня дул ей под колени, а Пази соломинкой щекотал пятки. Любка, довольная, во сне мычала. Ланской стоял прямо перед Ревичами в очень напряженной и корявой позе. За тем, что Ревичи собираются уходить, внимательно следила только Танечка Шахматова.

— Верка, садись верхом на Саню, он тебя довезет до двери! — Значит, следил и Пази.

Верка позеленела от бешенства. Доральд примирительно постучал по ее руке и даже отодвинул ее в сторону, чтобы она случайно на Саню не села.

— Вы можете хоть одну секунду не шутить, — торопясь, выговорила Танечка Шахматова, — минуту, пять минут. Они уйдут, а его посадят... Пожалуйста, вы можете не шутить? Хорошего не получается, так сразу топить? Вы меня одну секунду послушайте и сразу все поймете. Наши души ходят по свету и ищут свои половинки. И, конечно, нельзя трогать чужие половинки. Но Кит же всех любит. Это же все знают. И Верка знает. Мы все под стеклянными колпаками — никто никого не слышит!

— Нам ничего не нужно слышать, — сказал Доральд, — достаточно...

— ...того, что мы видим! — прокричала Верка, закончив его фразу.

— Не ори, дети спят, — сказал князь.

— Дети! Детей у вас нужно отобрать! По детским домам! Вспомнили! Дети! Устраивать вертеп дети вам не мешают! От кого эти дети?!

— Не суди! — сказала бледная Танечка Шахматова. Она пыталась не заплакать, но глаза ее уже предательски поблескивали. Этого Шахматов не мог перенести. Он взвалил жену на плечи и потащил на кухню. "Васька, пусти, у меня порван чулок!" Опять все засмея-

лись, даже Верка. Шахматов отнес жену на кухню и начал подтягиваться в дверном проеме.

— Васька, с сегодняшнего дня ищущи себе половинку, предлагаю искать на пару, — сказал Ланской. Васька со смешком свалился с косяка:

— Тебе, Саня, нужно было вместе с Волковой в гинекологию податься. Представляешь, приходишь с мороза...

Верка потащила Доральда к выходу:

— Вот вся ваша жизнь, — выкрикивала она по дороге, — самки! Я представляю, что так же выглядела эта группа, за которую его судят. Профанация йоги!..

— Хочешь, я тебе тоже подую, — сказал с пола Ланской.

В этот момент проснулась Любка и сказала отдельно: "Раздень меня", — непонятно к кому обращаясь. Аська закрыла ей рот рукой. Доральд и Верка были уже в прихожей. Им навстречу раздался коротенький деликатный звонок. Гришка пошел открывать. Я с беспокойством прислушивалась к тому, кто пришел: окончательно объясняться с Алешкой я бы предпочла в своем собственном доме.

Это был не Алешка. Это была моя мама.

Я проверила, на месте ли моя одежда. Все было на месте. Надо сказать, что в соседнем доме живет мамина двоюродная сестра, и мама, когда она там в гостях, часто забегает к Липовецким, пытаясь встретить меня или Дашку.

Нужно было к ней подойти, но мне было не сдвинуться с места.

— Как я рада, что никого не разбудила. Я вижу, свет горит. Анночка, сейчас меня проводишь? А что, Алешеньки нет? — кричала она мне, цепко схватив за руки Доральда и Верку. — Никуда не отпущу! Вы хоть пять минут можете со мной побыть? Двести-триста лет вас обоих не видела! Как работа, как девочка, расскажите хоть что-нибудь. Верочка, мама-то твоя работает еще? Сядьте и дайте просто на вас посмотреть! — мама опьянела от восторга и не давала никому вставить ни одного слова.

Дверь мансарды скрипнула и с гитарой в руках некстати высунулся Нестеров. Это было уже совершенно лишней каплей. Маму понесло:

— Вы должны сейчас все вместе мне спеть! Хоть одну песню! Помните, поросята вы эдакие? И знаете, какую песню?! Знаете? Я точно знаю, что вы мне сейчас не откажете! Ту, которую вы пели, когда еще Анночкин папа был жив!

Мама расчувствовалась, махнула рукой и пошла на кухню пить воду.

Было бы интересно, если бы сейчас удалось заставить нас всех вместе спеть.

“В Ленинграде-городе, у Пяти углов, получил по морде Саня Соколов...” — негромко проговорил или пропел Кит со ступенек.

Верка и Доральд покорно и приговоренно сели. И затравленно смотрели, как из кухни вышел распаренный после ванны Гришкин брат.

— Что это за баба там, на кухне? — спросил он.

— Это моя мама.

— Пожалуйста, извини.

— Костя, — раздался голос за моей спиной. Я могла держать пари, что никогда его не слышала. Это девочка слезла с Герки и задумчиво смотрела на Кита, покусывая красненький пальчик. Мне вдруг очень понравился ее голос. Голос был лучше самой девочки и лучше всех нас в комнате. Или просто моложе.

— Это все твои женщины, Костя? Какие они недобрые. И водят сюда мам. — Девочка спохватилась и взглянула, как из кухни выходит моя мама.

Машеньке больше ничего не хотелось говорить, но у самого выхода она обернулась и добавила:

— Они все Богу душу отдадут за оргазм. — И ушла.

Я вышла в прихожую, закрыла за девочкой дверь и стала искать свой плащ. Нашла его и вернулась за мамой.

Пока я выходила в прихожую, Кит спустился со ступеньки и, остановившись посреди комнаты, сказал, тепло подмигивая Доральду и Верке:

— О покойнике сказано много интересного!

— Ты сопли-то не распускай, — бросил ему вполголоса Герка Трубачев. — Доральд на тебя донес, что ты был в связи с его несовершеннолетней сестрой!

Кит посмотрел на Герку с удивлением:

— Для этого вы Доральда сюда вызывали?

— Ты считаешь, что это недостаточный повод?

— Совершенно напрасно, — сказал Кит медленно.

— Что ты говоришь? — спросил его Герка.

— Я говорю, что совершенно напрасно, — повторил Кит. Вздыхнул и добавил, — это не Доральд, это сделал я сам.

— Ека-макарека! — только и воскликнул Фимка.

— Зачем?

Кит пожал плечами.

— Бабы надоели, — презрительно сказал Ланской и с отвращением отвернулся.

— Мы можем идти? — спросила Верка.

Во всей квартире неожиданно погас свет, и ни с кем не прощаясь, я повела маму на автобус.

— Я себя так легко с вами чувствую, — сказала она мне на лестнице, — у вас происходит жизнь. Знаешь, я сразу с вами молодею. А что такое "оргазм"? А? Леночка тоже не знает.

ГЛАВА 17. ОТ ЛЕНЫ ЛИПОВЕЦКОЙ

Господи, как плохо мы живем! Все питаются одной ненавистью. Как я не люблю Ленинград! Как тут душе зябко! Даже от улиц мороз по коже. Дыбенки, Крыленки — это же все убийцы...

"Можно вспомнить опять, ах, зачем вспоминать, как ходили гулять по Фонтанке..." Арина Ревич лежала в отделении интенсивной терапии больницы Эрисмана. Двенадцать лет назад. Это была чудная девочка. Жизнелюбивая и очень веселая. Кит взвалил тогда на себя вину, которую больше нести не может. Он хочет внешнего наказания. Может быть, он прав. Наверно, он прав. Но разве можно за одну жизнь полюбить всех девочек, которые больны неизлечимым лейкозом?

Кит необыкновенно большой человек, я до сих пор отношусь к нему, как к антикварной игрушке, красивый мальчик с золотой головешкой. Кит запутался. Мы все запутались. От этого города нет противоядия. Я им не больна, я провинциалка, но я, как пес, привикаю. Только не к месту, а к людям. И никому не могу помочь. Я слабая, Господи! Скорее бы включили свет! Какая безжалостная луна! Фонарь на улице. Четыре газовые конфорки. И темные лица, насупленные тени. Картавящие девки и кривляющиеся принцы. Страшное место на костях и на крови. В комнате темно, и никто не видит моего лица. Я глупая хозяйка этого дома, склонная к сентиментам и полноте.

А сестра Доральда умерла на моем дежурстве. И о том, что у нее было с Китом, знаю только я. Но я — доверенное лицо, конфиденгент, моя роль — черный ящик...

Отражение было не очень четким, и глаз было не разглядеть, но и то, что я видел, выглядело достаточно убедительным. В малиновом кресле ленинградского международного аэропорта сидел высокий мужчина с ригидным затылком иностранного идиота-туриста. Веки у него были приспущены, а пальцы впились в дерматиновую обивку, готовые взорваться барабанной дробью по подлокотникам.

— Take it easy, парень, take it easy.

Пограничные околышки. Считай, что все. Последняя проверка документов. Можешь еще раз ей позвонить. Новый эротический опыт. В сексуальной периодике это называется wife watching, как бы перевести? Не надо переводить. Удовольствие достаточно изысканное. Твою жену выводит из знакомого подъезда румяный молодец. И дает ей затянуться из своих рук. Не торопись. Медленно. Чтобы не упустить детали. Мужчина снимает перчатку. И подносит пальцы с сигаретой к ее рту. И смотрит, как она делает две затяжки. Не отнимая рта. Она стала курить. А потом он берет твою жену за руку и переплетает с ней пальцы. И в шесть утра заспанным голосом отвечает из вашей постели. Так, что тебя обдает близостью ее тела. Можешь еще раз позвонить ей в спальню. И почувствовать ее в чужих руках. В получасе езды. С тобой же случилось — быть с женщиной и вести по телефону вынужденный разговор. Помнишь? — Помню. И с кем разговаривал! — Тоже помню. Теперь за все плати. — Я не отказываюсь платить. Так, может, позвонишь еще раз? — Нет, хватит. Все видел и слышал. Полным весом. И два раза видел ее одну на улице. Чего же ты, кстати, не подошел? — Не хотел.

Я сидел неподвижно. Страха не было, но от напряжения сводило шею. Подали аэрофлотский автобус. Когда мы выходили из дверей аэропорта, к автобусу подруливал газик с майором и двумя краснорожими прапорщиками. Из машины они не вышли, только разглядывали букли заграничных старух. Нет, если бы у них были сомнения, то придрались бы раньше...

В полупустом салоне я устроился у окна. Впереди сидела ветхая немецкая пара, а за спиной кто-то по-русски рассказывал старый самолетный анекдот: "...и тут он бортмеханику говорит: сейчас, говорит, переключу на автопилот, выпью чашку кофе и пойду трахну стюардессу. А радио в салоне не выключено, стюардесса на пря-

мых ногах бежит, бешеная, а ее какой-то мужик по дороге останавливает...”

Начали прогревать моторы, самолет дрогнул и опять наступила тишина.

— Ну, и что?

— Что что?

— Ну, останавливает он стюардессу — и что?

— А! И говорит ей: вы, говорит, не торопитесь, он сначала еще хотел выпить чашечку кофе...

Снова заработали моторы. Когда самолет выруливал на полосу, я закрыл глаза и расслабился, немцы ко мне зачем-то обращались, но я плохо их понимал и разговаривать не было сил. Спать. Женщин всегда трясло от этой моей привычки — засыпать в момент ссоры. Нежно улыбнуться канадской улыбкой и заснуть. Спать. Самолет набирал высоту над Дачным. Все пустыри застроены. Зеленое пятно было лесом на проспекте Ветеранов. Когда-то я снимал тут квартиру со своей сокурсницей. Еще на втором курсе. А может, на третьем. Ну, да, мы еще учили с ней “фарму” — значит, на третьем. Сейчас доктор Аксенова начмед в Старой Руссе. Русски карош. Нужно было закупить в “Березке” балалайки. Кит бы обязательно купил балалайки. Parola dopore карош. Very, very. Bayonett auf. “Отрубиться”. Когда я снова открыл глаза, в салоне уже курили, и девчонки развозили завтрак. Немецкая пара оживленно ковырялась в подносиках и чем-то трогательно друг дружку потчевала. Вот и все. Подданный Соединенных Штатов Josef Plastik вылетел в Амстердам. Можно было снять темные очки и вызвать стюардессу. Девочка приветливо наклонилась:

— Good morning. Can I bring you breakfast?

— No, thank you, not now. Have you got Armenian cognac?

— Certainly, Sir.

— What is your name?

— Galia.

— Thank you, Galia.

В кармане у меня лежала нераспечатанная пачка “Беломора”. Я надорвал ее и выбил папироску. Разучился их курить. Хуже махорки. Когда-то я курил даже “Север”. “Тот, кто курит “Северок”, не получит трипперок”. Дерет горло, а потом начинается лающий кашель. Курево пожилых блокадниц. Кто-то из подруг курил эту мерзость. Интересно, можно ли вообще вспомнить какой-нибудь факт изолированно, без женщин? Ее это всегда безумно раздражало.

Она не любила подробностей. Но она всегда рассуждала по-детски. А когда она повзрослела за моей спиной, я просто не успел к этому подготовиться. Сигареты жутко подорожали. Они там с ума посходили: предмет первой необходимости — полтора рубля пачка. “Thank you, Galia”. Откуда в сентябре столько веснушек? Широкое, плоское тело и сладкие бедра. Неужели вся в таких веснушках? Надо ее спросить. И колени я тоже вижу. Колени — это больше, чем стройные ножки. Колени — это дом. Колени — это тепло и крыша. Меня сейчас чем угодно можно растрогать. Вот такой голубой формой. Такая форма висела у нас в шкафу. На распялочке. И пахла топленным молоком. Или цветущей магнолией. Всегда немного балдею от женщин в униформе. Я начал представлять себя режиссером, снимающим фильм о стюардессах: просыпается, чистит зубы трехцветной пастой. Визитная карточка цивилизации. После двух лет Америки меня потрясли голландские стюардессы: худенькие, бледные, носатые, с челками на глазах, но все живые женщины, с человеческими интонациями и руками, с грудью не голливудской, а женской, и с совершенно осмысленным взглядом. Господа, вы знаете, что такое осмысленный взгляд? Господа, вы знаете, чем человек отличается от робота? Это шок — прилететь из Америки и увидеть живую европейскую женщину, любого возраста. Столетнюю старуху. Быть американкой — это не национальность, это болезнь. Неужели во всем мире это понимаю только я? Хороший коньяк. С двенадцати лет американки превращаются в манекены без возраста. Какая-то новая раса. Нельзя безнаказанно с младенческих лет смотреть телевизионную рекламу, что-то происходит с мозгами. Это все равно, что слушать целый день репортаж с Красной площади, только репортаж можно выключить, а рекламу не выключают. Неужели я сейчас опять делаю ошибку? В Канаде больше жить нельзя, это ясно, это выше моих сил. Под нами, навстречу, на небольшой высоте, летел еще один самолет. Уже все. Ошибся, не ошибся, но я снова сделал выбор. Наверно, легче всего было бы сдать властям и все такое прочее. Но пришлось бы много разговаривать. Разговаривать я разучился. Облака. Сколько их? Опять земли не видно. Может, земли вообще нет, одна иллюзия? Если начинать все сначала, то нужно честно признать, что никаких сногшибательных уроков я для себя не извлек. Позавчера нужно было все решать. И решаться. Позавчера я стоял у окна и смотрел на бронзового Пушкина. И Пушкин мне сделал ручкой. Там плохо. Здесь плохо. Всюду, впрочем, хуже

Куда же ты летишь, если всюду хуже? Но оставаться-то все равно не у кого. Всюду бабушки, родители, гости. Принципы и любовницы. Нельзя же жить без паспорта в комнате своей одиннадцатилетней дочери!

Скоро они все поедут в Сухуми. Придти вечером к костру, как будто все приснилось и я никуда не бежал?..

“Earphones, Sir?” Слушать ничего не хотелось. В аэропорту я уже наслушался. Галиматъя, но в последний раз все внутри успело перевернуться: “На дальней станции сойду, необходимой, с высокой ветки в детство загляну, та-та-та-та...” Что такое “та-та-та-та”? Теперь уже никогда не узнать. Слушать ничего не хотелось, но стюардесса положила наушники рядом и беззаботно уселась сама. В среднем ряду, прикрывшись газетой, сидел человек, похожий на Ван-Клиффа, с такими же усиками, и со стюардессами болтал, как свой, даже особенно не скрываясь. Как ни верти, этот гепеушник мне ближе всех американцев на свете. Мир полон загадок. Почему для пианиста выступить перед Брежневым считается позором, а перед Картером — большой честью? Знаете, что я понял, господа? Я понял, чем отличаются Соединенные Штаты Америки от Союза Советских Социалистических Республик. Ничем. Такое же дерьмо. Тютелька в тютельку. Несмотря на банк спермы и по сто искусственных почек на каждую деревню. В Ленинграде когда-то их было три на город. Банк спермы и отсутствующие глаза. Соскальзывающий взгляд у всех людей старше двенадцати лет. Свободой одинаково не пахнет нигде. Свобода — это когда можно не торговать собой. От большевиков еще можно как-то отстояться, но от жадности нет защиты. Облако из сказки братьев Гримм про горшочек каши. “Раз, два, три горшочек — вари!” Опять всплыла эта девочка из онколожки. Когда мне Бог позволит забыть ее? Вот на что похожа Америка — на эту девочку с манной кашей. Ей было лет пять. Я обходил отделение и наткнулся на пятилетнюю девочку с менингиомой. Она пыталась ложкой есть кашу. Привычное движение, только ложка каждый раз уходила мимо рта. Девочка не понимала, что происходит, и беззвучно плакала. Ребенок с распадающейся опухолью мозга. Разъевшийся континент с болезнью, которая всеми религиями признается “нормой”. Только в Америке ложку мимо рта не проносят. Это антианалогия. Болезнь называется жадностью, поражает мозг и печень. Особый товар, который служит всеобщим эквивалентом, определяет мнимый социальный статус. Круговая порука делает ситуацию безнадежной.

— First visit to Leningrad, Sir?

— Yup.

Пожалуй, что первый. Не считая того, что в Ленинграде я родился. И лет тридцать в нем прожил. Не считая мелких отъездов и двух лет Забайкальского военного округа. Знаешь, Galia, как мне знаком этот город? Наощупь. Каждый метр. Кем я тут работал? Я тут всем работал. И тут живет моя единственная дочь, с которой я простился вчера в 17 часов 12 минут 30 секунд, когда ее увез со станции "Звездная" поезд метро. Да, пожалуй, это first visit. Таким чужим ни он мне, ни я ему никогда не были.

— Got some friends?

Чего она от меня хочет? Их мог насторожить мой паспорт. Пакистанские штампы. Я лингвист, пять языков и шестой — пушту. Я его действительно учил — семь месяцев, неподалеку от Кабула. Вы его там еще нажретесь. Их трудно любить, афганцев. Нужно иметь специальную подготовку.

— And what did you like best?

Best? Бест мне ничего не понравилось. Но я от многого опьянел. Нигде сразу столько людей не говорят по-русски. Весь последний год я слышал русский язык только в армейском военном передатчике. Очень специфический язык. "Семерка, отвечай, семерка, еб твою мать, Панкратов, отвечай!" Еще поразил вид денег. Странно, я забыл, как выглядели деньги. При виде трехи хотелось заплакать. Рубль показался игрушечным. Все смешалось: кроны, марки, фунты, мили и послевоенные трехи с красноармейцем. На каких-то был Ленин. Я точно помню, что балабол Евтушенко просил убрать Ленина с денег. Или это не Евтушенко? А может, бест — это то, что я выбрался оттуда целым? А рядом сидела Galia, и у нее были нежные колени и складочка на советских колготках.

— How long will you stay in Amsterdam, Galia? I'll be happy to have a drink with you.

— No, thank you. We'll fly back in two hours.

Не свисти, девочка. Не полетите вы назад через два часа. Ты просто не имеешь права выходить в город. И гулять одной без подруг тебе тоже не разрешают. И лучшее, что ты можешь сделать, — прокатиться часок по Амстердаму в закрытом посольском автобусе да купить себе в аэропорту пару тряпок на десять баксов, которые русская женщина по идее прячет в лифчик. Тебя такая привычка тоже бы не испортила. Досадно. Это моя последняя возможность выпить с русской девочкой и поцеловать ей руку. Стоп!

Пьянею. Я еще должен спокойно выйти из самолета. Самолет аэрофлотский. И хоть я уверен, что никакая она не гебешница, а безобидная веснушка, но и у них свой инструктаж.

Расслабляться нельзя. Уже давно и ни с кем нельзя расслабляться. От одних я ушел, а к другим приду не скоро. Хорошо бы еще знать, что происходит с моей спиной. Ради чего я так трясусь над своей шкурой? Вот так, "Галья". Ай гот френдз. Меня когда-то двое суток ловила хельсинкская полиция — я два раза засветился интеллигентного вида финкам, и обе меня продали. Не зря писал Баратынский: "Финляндка дивной ей обновкой похвастать матери спешит..." И как я добрался до Швеции, лучше бы никому из моих знакомых не знать.

Мы летели уже третий час. Пора было уводить часы от пулковских ориентиров. Самолет прошел сплошную облачную вату, жизнь сразу потемнела и пошла голландская крупнозернистая сеточка. "Когда какой-то геометр..." Дальше забыл. Дороги, каналы, помочки и квадратики. И залив Зельдерзее в полгоризонта.

— Nice meeting you.

— Вуе, sweat heart!

Второй раз за неделю жизнь начиналась сызнова. Самолет приземлялся в Амстердаме.

ГЛАВА 19. ОТ АННЫ

Под утро мы помирились. Алешка в конце концов сказал, что секс — это не главное, и притворился, что спит. Я лежала и с отвращением думала, что муж — это я, и проснулась я в самую последнюю секунду. Снова пришлось выгонять Дашку из-под душа, и на этот раз я действительно дала ей три минуты. Дашка что-то там вякала про душевую в операционной, но я включила ей холодную воду и сказала: "Все, моя больница не баня". Потом мы на ходу позавтракали подсолнечным маслом, окуная туда ломти французской булки, и до парадной Дашка несла мою сумочку, пока я, набив рот шпильками, подтыкала волосы под берет. Потом мы закружились в разные стороны. Дашка показала мне язык, и тут я поняла, что никуда мне не деться — мы опять будем месяц ссориться на море, продолжая этот четырехлетний спор: имею я право на личную жизнь или должна зажигать свечи перед портретом ее отца.

Пока я кружилась, одиннадцатый троллейбус ушел из-под носа. Я погрозила водителю кулаком и пошла пешком. По ночным

лужам. Кого-то обрызгала по пути, перебежала через дорогу, и тут мне что-то почудилось — взгляд в спину? — и я пошла медленней. На обратном пути надо бы заглянуть в Гастроном — холодильник совсем пустой. И Дашку послать в прачечную за номерками. Все-таки за углом я остановилась и резко повернула голову назад. Улицу было видно насквозь. Две черные трещины в асфальте. Напротив уже открылся молочный магазин. Мелькнули темнозеленая куртка и малиновая косынка дворничихи. Из-под колес мчащегося такси поспешно вышел голубь.

Дом Офицеров объявлял прием на курсы кройки, шитья и машинной вязки.

И я поспешила дальше.

В дверях больницы меня чуть не пришибла толстенная операционная сестра, тащившая в автоклав два огромных бикса.

— Вы оперируете на втором столе.

— Кто на подаче?

— Вам-то не все ли равно? (Она сама лучше всех знает ответ.) А кого вы хотите? (Это она тоже распрекрасно знает.)

— Зину Веселовскую...

— Она и будет, — и пошла дальше, что-то бурча ("Еще их и не все сестры устраивают...")

День начинался гладко. Мою больную, крепкую, сильную женщину, тренера по велосипедному спорту, уже привезли в перевязочную. Перед операцией я хотела ее еще раз посмотреть. Два месяца назад она орала с мотоцикла на своих гонщиков и сносу ей не было. И два месяца ждала к нам очереди. *Colly secunda*. Чуть больше. Рак шейки матки — это, между прочим, венерическое заболевание. Вероятность пропорциональна числу партнеров. По международной классификации я стадирую ее как T-2. "Т" — значит опухоль, тумор. Тумор, тумор, тумор... Слева немножко тянет. "Здесь не больно?" А "М" — метастазы — неизвестно. "Лежи, лежи, милочка". Все-таки чуть-чуть слева тянет. Как намек. Постараюсь пройти пошире. Даст Бог — все будет хорошо. "Можно обрабатывать и подавать в операционную. Перебирайся на каталку". — "Спать хочется, Анна Васильевна". — "Спи, Наденька, это уколы действуют, скоро уже начнем. Завтра будешь ходить". Я больных после операции поднимаю на следующее утро. Чтобы не залеживались — осложнений меньше. Всех так веду, даже самых стареньких — перед операцией неделю слабительные и клизмы, два последних дня — полный голод (я традиционный лекарь, подверженный йоговским влияни-

ям близких друзей, на меня косятся коллеги, но послеоперационных осложнений у меня очень мало). Тьфу, тьфу, тьфу, тьфу. Перед операциями я боюсь сглаза и порчи, как косная старуха, плюю, крещусь, черных кошек обхожу за два квартала. (У меня еще есть несколько минут, и я немного дрожу. Возбуждение. Каждый раз — как первый. Если хирург спокойно может войти в чужой живот — он шарлатан, вы у него не оперируйтесь.)

— Девочки, почему не начинают?

— Комсомольское собрание у анестезисток.

С ними можно разговаривать только матом. Я, к сожалению, не умею.

— Почему опять в наш операционный день, всегда одно и то же?!

— Не сердитесь, не сердитесь, уже можно мыться.

— Наконец-то...

Теперь ковыряйся хоть час в этом биксе — все маски в губной помаде. Черта они мажутся в операционные дни? Или маски не стирает никто?

Две минуты трусь жесткой щеткой. "Сколько сегодня в растворе?" — "Три минуты". Значит, муравьиная кислота. Все. Сейчас меня не трогайте. Три минуты моей абсолютной тишины. Считайте, что я молюсь. Я молюсь за Надю Рябинину, бывшую чемпионку Крыма, тридцати девяти лет. Исчезла суета предоперационной. Сейчас я простучу каблучками, как футболист под трибунами столы тысячника, и — руки уже подняты — войду в гудящую от зеркальных ламп операционную. Я — хирург, существо вне пола. Вы знаете, как ночью светятся окна больниц? Какого цвета человеческая боль, затушеванная фторотаном? Он не белый, он не стальной. Он скрежещуще лиловый. Это цвет нежелания жить. И этим цветом окрашены три моих утра в неделю.

На животе у больной уже желтая бабочка йода. Склоненные головы анестезиологов за занавеской. Я слышу голоса и ничего не слышу. Плотные у Нади ноги. Где она родилась? Воробышком в деревенской пыли? Что-то очень здоровое в пыли. Без порчи. Как ландыш.

— Правую, Зина. Левую.

Мои перчатки семь с половиной. Раньше седьмой номер был мне чуточку велик. Я подправила крахмальные простыни и подвинула себе ногой узкую деревянную подставку. Жестко, черенком скальпеля, наметила линию разреза.

— Можно?

Это анестезиологам.

— Да.

— Разрез.

Теперь меня догоняйте. Рената хорошо делает. Ругаюсь с ней, что она не дает наркоз на двух столах, когда не хватает анестезиологов, но с Ренатой я спокойна.

— Зина, давай нормальный кетгут.

Я не люблю электрокоагуляторов. Меня учили по стариночке, по-мужицки. Хирург учил военного времени, по фамилии Стуккей.

— Обложимся.

С Леной Евгеньевной хорошо оперировать. Мы с ней работаем в одну силу и в одно время начинали. Дружбы особенной нет, но и плохого друг другу не делали. Поднимаю кишечник.

— Горячее.

Широкий таз — просторно, легко работать.

— Горячее, Зина.

— Щас-щас даю.

Обкладываю кишечник горячим полотенцем. Зина хорошая девочка: я раздражаюсь, а она не сердится. Только бы подающая сестра не пререкалась. Я могу оперировать с любой сестрой, но с одной Зиной Веселовской у меня совместимость полная. Когда я начала сама оперировать, я поняла, почему хирурги на операционных сестрах женятся: операция, как интимная связь, никакой дистанции нет. Зина, между прочим, еще с Андреем работала. Она мне этого долго простить...

— Прямые зажимы, Зина, прямые...

Матка маленькая, со стороны живота и в голову не придет, что здесь может быть рак. Хорошо Зина подает, с легким ударом в руку. Она мне долго простить не могла, что мы развелись и Андрей уехал. Хорошо она подает. Вся профессура со своими личными сестрами предпочитает работать — почти ничего не нужно говорить. Глазами. Андрей мне говорил, что никогда не видел лица своей любимой сестры — только глаза над паранджой.

— На круглые.

— На воронку.

— Шить.

— Еще шить.

Это все связки, на которых матка подвешена в тазу, как ребенок в ходунке.

— Шить.

Вот наш простой разговор: “шить” и руку в воздух. Не оглядываясь. Шлеп. Шлеп. Это Зина раз за разом вколачивает мне в ладонь иглодержатель.

— Сухо.

— Сухо. Длинный тампон.

Чуть-чуть слева кровит. Этого я боялась. После облучения всегда больше кровоточит: ткани становятся хрупкими. Вторым ассистентом стоит мальчик после нашего института. Он на год моложе меня. Мне хочется называть его “сынком”. Я еще не успела с ним познакомиться. Вырядили его, как малайского пирата, — марлевая маска на одно ухо, белые шаровары широченные. Его к нам при-слали на месяц поучиться.

— Скальпель и анатомический пинцет...

Здесь я немного поясню: изнутри все выстлано брюшиной — тончайшей пленкой, а под ней сосуды, как сплетение дорог на американской автостраде. Каждый крупный сосуд оплетен паутиной с фасолинками. Паутину я должна бережно снять: это те самые лимфатические сосуды, по которым раковые клетки плывут от шейки матки. Фасолинки-узлы — это сторожевые псы и шлюзы: раковым клеткам каждый узел нужно поочередно прорвать. Три уровня прорвали — любое лечение не имеет смысла. Если в сосуды на ступне ввести специальную краску, то эти фасолинки можно на несколько дней прокрасить и увидеть на снимке, как далеко зашел процесс, нет ли фасолин, изъеденных молью. Оценка очень приближительная — что оперировать поздно, это иногда можно сказать, а хороший прогноз никогда с уверенностью не сделать: клетки меряются в ангстремах, а рентгеновский снимок под микроскопом не рассмотришь.

— Лена Евгеньевна, лигатуры натяни немножко.

Одно движение скальпелем, а дальше над сосудами я люблю идти тупо, сведенными ножницами, — как паутину весной с антресоль вылизывать. Ничего особенно сложного, только очень глубоко, на вытянутых руках приходится работать. Сейчас на самом деле все решается.

— Зина, внимательнее...

Вроде бы узлы не увеличены, но рукой узлы оценить трудно — их еще будут ступенчато нарезать, как отдельную колбасу в Универсаме, и под микроскоп. Я столько...

— Сухо. Еще, еще, доктор. Промокайте досуха. Доктор, как ваше имя-отчество?

Мягче, мягче, ты стараешься, и ты устаешь. К нам их часто присылают, но многому их за месяц не научишь. Я все сделаю за полтора часа, но если ты будешь так напрягаться, у тебя не останется сил. Тут мощи не требуется, только чувствовать оператора. Слева все прилично. Левая сторона меня больше всего и пугала. Я столько...

— Меняемся!

...говорю об узлах, потому что если вот в этом узле раковая клетка успела укрепиться, то вероятность выживания падает вдвое. Мы меняемся с первым ассистентом местами — сейчас я пойду справа. Тупо над сосудами. Вот здесь очень опасное место: коротенькая подчеревная вена — задеть ее, и все пропало: зажимами ее не схватить. Пытаются заливать парафином. А очистить от паутины нужно и ее. Не торопиться. В этом месте я не должна торопиться. Все зависит от рук.

— Сухо, Зиночка!

Одно неровное движение, и сразу озерцо крови откуда-то набегают. И вслепую там зажимом тыкать нельзя.

— Я сама. Я сказала же, я сама! Только сушите!

Ах, чертовка, ускользает! Очень глубоко!

— Зиночка, я кохер сброшу, дай мне что-нибудь пожестче. Давай бульдоги.

Это мы так шведские зажимы называем, Данила их где-то достал — одной рукой не разжать. Как Данила говорит: "Чем грубее, тем нежнее". Мне кажется, что мальчик сейчас упадет в обморок. Он очень напрягается, дурачок. Но это со всеми нами бывало, все мы в обмороках лежали.

— Сейчас можете совсем отпустить.

Он раздвигает рану большими крючками и показывает анатомию, но мне сейчас нужен только крохотный уголок.

— На мочеток.

Близко уже к концу. Очень красиво: сосуды дрожат, как оголенные провода.

— Препарат.

Об этом больная умоляла не рассказывать ее мужу — удаляю одним блоком и матку, и трубы, и яичники, и все узлы впридачу. Сейчас все сморщится в тазу, а была красивая женщина.

— Зиночка, бульдог и острые ножницы.

Ткань после облучения поскрипывает, как песок на зубах. Я ей сама два раза радиоактивный кобальт вводила. Голыми вот этими

руками. Не люблю заряжать — защиты почти никакой, через десять лет мы все себе зарабатываем лучевую болезнь.

— Шить...

Я чистенько все сделала, ткани склерозированы, но рака я не видела. Теперь время — года три — нас рассудит. Оставалось только шить.

— Зина, проверяй нитку.

— Сейчас шелк и длиннее.

Я оставляю в ране лес железа, а потом только шью. Так, так, так, так — прошиваю каждый зажим. У Нади Рябининой широкий таз, вся операция идет на голой технике.

— Моем руки, перитонизация. Доктор, у Вас левая перчатка чет, сбросьте в таз. Зина Вам даст другую.

Хорошо сегодня идем. Компенсируем комсомольское собрание. Нигде не кровит.

— Зиночка, длинный кетгут. Дай потоньше.

Операция приятная была, интересно, сколько мы уже оперируем.

— Рената, сколько мы уже оперируем?

— Час двадцать.

И еще двадцать минут мне нужно. Скоро я Лену Евгеньевну отпускаю, и мы с мальчиком закроемся.

— И вот тут кisetный шов, доктор. Смотрите внимательно. Следующий раз сами будете делать.

Здесь я могу им немного заняться, он очень старался.

— Анна Васильевна...

Хорошо идем. Нет большего удовлетворения, чем от такой операции. Кит говорит, что над операционным столом вьются тучи вампиров — питаются человеческой кровью. Не над моим и не сегодня. Впрочем, смотря, что Кит имеет в виду. Не хирургов ли самих? Для всех стало острой тягой вскрыть чужой живот и сделать все, как нужно.

— Анна Васильевна...

Но у меня пока хватает сил держать этот зал и защищать своих больных.

— Анна Васильевна, вы скоро кончите? Вас уже второй раз к городскому вызывают.

— Без меня ушьетесь? Дайте мальчику пошить и счет проверьте.

Счет — это счет тампонов и инструментов. Они его и без моего

напоминания проверят — недавно ЧП было: один тут мастер полотенце вафельное в животе оставил.

— Историю я запишу. Всем спасибо.

Я сбросила халат, сегодня я его почти не испачкала, и аккуратно вымыла перчатки. Можно было швырнуть их санитаркам, но маленькие размеры у старшей сестры — дефицит, и пока у меня рука не выросла еще на три размера, оперировать в громадных мужских перчатках я не люблю.

На посту лежала снятая трубка, а по отделению развозили на тележке обед. Больные ходили с тарелками. Что-то такое было бурое типа тушеной кислой капусты. И по запаху тоже.

— Але, пятое отделение. Врач Волкова слушает.

Какие-то щелчки. Ну, точно, это тушеная капуста. Я зажала трубку рукой и крикнула:

— Сушкова, вам сегодня на "лучи", я договорилась!

Опять тихо.

— Але, слушаю вас. Да-да, громче. Нестеров, это ты?

— Привет, малыш.

Я прислонилась к стене возле сестринского поста и начала рассматривать банку с градусниками. Их держат в мокрой вате. Я не дышала, и сердце не билось. И в животе был трупный холод.

— Здравствуй. Откуда ты взялся?

— У тебя феноменальная память на голоса. Это удивительно, что ты меня узнала.

— Где ты?

— Похоже, что ты основательно вышла замуж? Оба в зеленых плащах...

— ...

— Чего ты не отвечаешь?

— Наверное...

— Что ж, можно позавидовать. Ты прости, что я звоню...

— Это ты звонил вчера утром?

— Какая разница? Ладно, малыш, я не могу больше разговаривать. Ты прекрасно выглядишь. Я тебя целую. И прости.

Я сидела и листала свежие анализы. В коленях оставалось зябко. Лейкоцитов у Проценко две семьсот. Тиотэф отменять и срочно. Зачем он приехал? Дешевый спектакль по телефону. И я тоже не сказала ни одного нормального слова. И ничегошеньки во мне не изменилось. А прошло уже четыре года. Как вчера. Где его теперь искать? По гостиницам? У вас не остановился липовый иност-

ранец, мой бывший муж? К Герке он не мог не зайти. И не уйти — нас четверо сегодня на два стола. После следующей операции поеду к Герке. Вряд ли он пойдет к своим родителям. Что он делает, сумасшедший человек? Два дня где-то рядом пасется. Меня он видел. Хоть бы не ко мне — так к ребенку зашел...

— Анна Васильевна, Вас ко второму столу зовут, они уже начали.

— К столу? Да, я сейчас... Женечка... Это междугородний звонок был?

— Нет, обычный. Второй раз этот мужчина уже звонил, а первый раз Вы оперировали.

— А кого он спросил?

— “Доктора Волкову можно к телефону”, а что, случилось что-нибудь?

— Нет, нет. Все в порядке.

Все в таком порядке, что я даже не знаю, что мне сейчас делать. Нужно себя заставить никуда стремглав не бежать и мыться на вторую операцию. Я должна ассистировать нашему заведующему и я не могу даже вспомнить, на что он там идет. Какое сегодня число? Посижу еще секунду. Подменять меня некому, но десять минут Данила прекрасно мне может дать. Пусть начинает с сестрой.

Я прижала ко рту комок маски, с усилием добрела до двери и заглянула в операционную.

— Даниил Владимирович, дай мне выпить стакан кофе, я очень устала.

— Пять минут тебе хватит?

— Спасибо.

В пустой ординаторской булькал кофейник — я упала в кресло и бессовестно распустилась. Зачем этот безмозглый кретин рискнул сюда приехать?

.....
Когда я вернулась, на первом столе еще валандались с Васильевым, а Даня с порога начал меня подгонять. У него такое пузо, что он с трудом дотягивается до раны. Но хирург он — дай Бог! Рукава стерильного халата склеились — я вылезала из него, как из смиренной рубашки. Сзади меня уже кто-то подвизывал.

— Ань, посмотри. Чего думаешь?

— Чего тут, Данила Владимирович, думать?

Такие операции на нашей убогой латыни называются “пробатория”, так мы перед больными на обходах изъясняемся. “Пробатория” — значит, открыли и закрыли, ничего не сделав. Разрастания

по всей брюшине. Это после курса тиотэф'а, уничтожающего растущие клетки. Опухоль яичников с кишечником в сплошном конгломерате, ни концов, ни начал. Это уже к лекции Доральда о свечениях. Свечение тут более, чем черное. Не трогать. Не трогать. Весь кишечник в гниющей цветной капусте, сама опухоль многокамерная, зловонная, прорывается и гноя много. Трогать или нет? Если бы можно было ее в рану вывести, чтобы хоть основную массу убрать, так и не вывести. Все в спайках. А если ничего не убирать, то ходишь потом оплеванным... Слушайте, а если он уедет? Вдруг он уедет?

— Что думаешь, Ань?

Я думаю, что как снег на голову на меня свалился единственный человек в мире, который меня интересует, и чем больше я буду тут толкаться, тем меньше шансов мне его найти.

— Довольно молодая.

Это он осторожно говорит. Я взглянула на лицо за простынку. Лет пятьдесят. Действительно, не старая. Шансов очень мало. Запущенный рак яичников, и уже кишечник заинтересован. Моих друзей, милых интеллигентных демагогов, заочно волнует "право на вмешательство". По их теориям, в черное свечение вмешиваться нельзя — станет только хуже. Килограммов пять гнойной распадающейся массы, которая прилипла к брюшине и кишечнику. И почему природа превратила яичники этой женщины в мешки, плещущие страшным янтарем на сизые простыни с печатями больницы? За что она наказана?

Данила все еще сомневался и руками немного думал.

— Ну что?

Сам что-нибудь скорей решай. Я подпишусь под любым твоим решением, толстый Данила, член ВКПБ или как там она у вас сейчас называется, добрый и завистливый, подлый и заботливый тракторист-самородок, заведующий моего отделения. Мне наплевать на твое мелкое честолюбие и партбилет. Я люблю смотреть, как ты держишь в животе руки. И моим разборчивым друзьям не понять, что партийная сволочь Даня — тоже мой близкий и надежный друг, но в какой-то другой плоскости. Живет, как все люди. Жизнь тяжелая. По утрам трясется на трамвае и двух автобусах, чтобы вот так положить руку на живот. И сейчас он должен или уменьшить вес опухоли и еще попытаться травить ее клеточными ядами, или закрыть живот и дать ей спокойно умереть под наркотиками, выпус-

кая в оставшиеся месяцы по десять литров жидкости из прокола на животе. От попытки оперировать легче будет только нам самим.

— Попробуйте немного убрать.

Это против всех правил. И грех. И блуд. И врачебный ли долг или адское искушение — разгрузить судьбу этой женщины, положенную ей неизвестно кем и неизвестно за что. Слепой оперирует слепого. Но нет сил оставлять в животе всю эту гниющую массу.

— Попробуйте отойти от пузыря.

Так на так. И пузырь пророс, стенки — как папиросная бумага. Противная операция. Провалитесь вы все сегодня пропадом — я сейчас поеду к Герке. Не может быть, чтобы он не зашел к Герке.

— Ты смотри — хорошо отделяется.

Что толку: хорошо-нехорошо? Что пять месяцев, что четыре с половиной. Кварта. От этого слова скорее содрогнитесь. Мы работаем в гнойном месиве и с халатов течет, а потом операционный шов невинно заживет и еще пару недель до выписки мы будем больной мило улыбаться. И она еще принесет бутылку коньяка и набор конфет “Ромашка”. Три звездочки коньяк. Меньше не бывает.

— Данила Владимирович, а ты знаешь, ведь действительно отделяется.

Паллиатив. До матки все равно не добраться. Он чикнет сейчас опухоль где-нибудь посредине, и живот не будет так остро торчать под халатом. Но недолго. Через месяц все будет, как раньше. Подарить ей эту радость на месяц — вся наша на живую нитку религия.

Данила мягко отделяет опухоль от пузыря. Попасть в правильный слой и не въехать в пузырь можно только на озарении.

— Микулич и прямой. Еще Микулич.

Микулич и прямой — это все, что он может сделать. А теперь попробуй прошить эти зажимы — прорезается иголка. Фикция, а не ткань. Пытаешься завязать, и нитка ее тоже прорезает. Даня Фокеев оперирует все, кроме сердца, но сердце не фокус, сердце для научной фантастики, его инженеры оперируют, хороший хирург может за месяц научиться.

— Данила Владимирович, дай я со своей стороны попробую.

Кажется, что так мы скорее кончим. Только кажется. Я всегда работаю с бешенством, у меня все от рук отлетает, а толстый Данила, как барс, подчеркнуто медленно, но вдвое быстрее меня — он не делает лишних движений.

— Все, больше ничего не убрать, надо уносить ноги.

Я — угрюмый ингуш, я — латышский стрелок, я — краеугольный камень этой власти: ни во что не верю и продолжаю работать по локоть в этом месиве. Только не сегодня. Сегодня у меня нескладный день, я удираю со всех операций.

— Да, да, ты иди, Анечка, запиши только препарат, а мы сами кончим.

Перчатку было никак не снять, и я ее рванула. Я приняла душ, переоделась и облетела бегом все свои палаты. Назначения я не меняла — завтра приду пораньше.

— Анна Васильевна...

Только не к хирургам, я видела, что они на срочную кого-то взяли.

— ...Вас хирурги вызывают.

Надо было сразу уходить. Ни на секунду не останавливаться. Мать, мать, мать, перемать. За что они меня сегодня здесь держат?! Все мы хирурги, но мы гинекологи-хирурги, а они чистые хирурги. И Ренате сегодня все-таки пришлось дать два стола. В Америке одного операционного больного обслуживают четыре анестезиолога, а у нас пол-Ренаты. Я уже в четвертый раз вернулась в операционную, но мыться не стала, я просто зашла за спины хирургов и взглянула из-за плеча. Они шли на сигму.

— Анна Васильевна, тетка-то — ваша!

— Зиночка, дай перчатку.

Я надеваю перчатку на нестерильный халат — это вольность, но я ничего не испачкаю. Я хочу осторожно посмотреть рукой опухоль, прежде чем они меня сюда подпишут. Да, наша. Сомнений нет — наша. Уже четверть третьего — день только начался.

Опять три минуты щетки и три в кислоте. Руки уже сами как щетки стали, хоть я их каждый день глицерином смазываю. Хирурги расселись в операционной на табуретках, операционная сестра им марлей накрыла руки. Ждут меня. А скоморох Спириин вышел объясняться — сигарета на зажиме.

— И есть в истории болезни запись гинекологов, что "придатки не увеличены"...

Есть так есть. Вы тоже ошибаетесь. Мягкая подвижная кисточка — пять минут работы. Могли бы и сами сделать. Спириин сбросил зажим с окурком в таз и вернулся со мной к столу.

— Ну, ведь ваша?

— Саня, почему ты такой зануда? Наша, успокойся.

-- Два любых зажима.

— Шить.

— Анна Васильевна, ты слышала анекдот: возвращается жена домой и говорит мужу, что ее в парадном изнасиловали.

— Зина, дай мне лучше лавсан.

— ...а муж ей отвечает: "Иди, съешь лимон..."

— Еще шить.

— "...чтобы у тебя не было такого сладкого выражения лица".

Болтунишка. На пальце крутит кохер, как револьвер. И в отделении он может появиться в халате с пятнами крови. Это он месяц назад в животе полотенце оставил. Конечно, не только его вина — на подаче была новенькая сестра, и что она там считала — непонятно. Больная была очень запущенная, ей пытались сделать двухстволку, для инкурабельной больной это мало что меняло. Но как можно было в такой худой больной полотенце забыть?! Тьфу-тьфу-тьфу. Типун мне на язык. Я его не укоряю, все у нас бывает, но если бы он сейчас хоть минуту помолчал. Я увидела, что Данила освободился, и помахала ему рукой.

— Данила Владимирович, вскройте мне препарат, вон он там в мисочке. Что там?

— Рак.

Рак — так рак, придется объем немного расширить. Не люблю я матку лишний раз по-буденновски отхватывать.

— Быстрее, быстрее, быстрее, доктор, подхватывайте ниточку.

Вы все великие хирурги, но про лимон мне неинтересно. Мне хватает про лимоны дома.

— Скальпель. Йод. Спирт. Четверочку. Еще шить. Перитонизируем.

Работай, работай, мальчик, я очень тороплюсь.

— Шелк, шелк, шелк, шелк. Две кетгутинки. Шелк. Шелк. Шелк.

— Моча светлая.

— Сколько я работала?

— Вся операция — час десять, Вы — двадцать шесть минут. Больная проснулась.

— Переводите ее к нам в отделение. Всем спасибо.

Герки дома не было.

(Окончание в следующем номере)

Соседи — в общей сложности на берегу пустынного озера Сэго жили шестеро белых — толковали между собой, что старуха Хэтти не сможет больше управляться одна. Хотя в доме у нее была топка с воздушным нагнетателем и газ ей доставляли из города на грузовике, все же жизнь в глуши стала ей не по силам. В округе были женщины и постарше Хэтти. В двадцати милях жила Эми Волтерс, вдова золотоискателя. Но та была покрепче. Каждый день, зимой и летом, она купалась в ледяной воде. И еще Эми была помешана на деньгах и умела обращаться с ними, чего Хэтти не умела. Хэтти была не то чтобы горькая пьяница, но закладывала основательно, и теперь она попала в беду. От соседей же, даже самых лучших, можно ожидать помощи только до известного предела.

Они, впрочем, относились к ней хорошо. К Хэтти трудно было плохо относиться. Она была большая и благодущная, пухлая, забавная, хвастливая, с широкой круглой спиной и несгибающимися, довольно длинными ногами. Еще в конце прошлого века она закончила школу для благородных девиц и училась в Париже игре на органе. От шелковистых светлых волос остались лишь седые кудерьки, мелко топорщившиеся

Сол Беллоу

КОМУ ОСТАВИТЬ ДОМ?

вокруг лба. Невзирая на тяжеловесные бедра, она ходила вразмажку, напористо выставив вперед плечи, округлив спину и мелькая резиновыми подошвами туфель без каблучков.

Раз в неделю она снимала свою короткую юбку и грязную авиационную куртку с вязаным воротником и надевала пояс с резинками, платье и туфли на каблуках. Она надевала широкополую коричневую рембрандтовскую шляпу с дешевой брошкой, похожей на глаз, тщательно приколотой ровно посередине. Затем проводила помадой прямую линию по губам, так что часть верхней губы оставалась ненакрашенной. В своем старом, танкоподобном автомобиле, который она вела с виду методично, но с опасным превышением скорости, Хэтти отправлялась в сорокамильный путь через гористую пустыню, покупать виски и замороженные мясные пироги. В городе она заходила в прачечную и в парикмахерскую, а затем в "Арлингтон", где выпивала два martini и обедала. После этого она частенько заглядывала в принадлежащую Мэриан Набот гостиницу "Сильвермайн" на Миллер-стрит, неподалеку от квартала дешевых ночлежек, и проводила остаток времени сплетничая и выпивая с приятельницами, такими же, как она, разведенными старухами, осевшими на Западе. В азартные игры Хэтти больше не играла, а кино она не любила. В пять она отправлялась домой, с тем же превышением скорости и с той же невозмутимостью, частично ослепленная дымом своей сигареты. От неизменно торчавшей во рту сигареты у нее слезился один глаз.

Ролфы и Пэйсы были ее единственные белые соседи на берегу озера Сэго. Был еще Сэм Джервис, старый поденщик, который делал всякую мелкую работу у нее в саду, но его она не считала. Не считала она за соседа и Дарли, работавшего у Пэйсов, и Шведа, телеграфиста. Пэйс держал ковбойское ранчо для туристов, а Ролф с женой были богатые и от дел отошли. Таким образом, у озера было три хороших дома: желтый дом, принадлежавший Хэтти, дом Пэйса и дом Ролфов. Все прочее население — Сэм, Швед, путейский мастер Вочта, а также мексиканцы, индейцы и негры — жило в лачугах и в старых товарных вагонах. Деревьев кругом было мало, несколько тополей и бузина. Все остальное пространство вплоть до самого озера заросло полынью и можжевельником. К северу находилось несколько вольфрамовых рудников, а к югу, в пятнадцати милях, индейский поселок — сколоченные из фанеры или железнодорожных шпал хижины.

В этом пустом и голом месте Хэтти прожила больше двадцати лет. Первое лето она провела не в доме, а в индейском шалаше на берегу озера. Она любила говорить, что крыши там почти не было и в шалаш заглядывали звезды. Разведясь с мужем, она сошлась с ковбоем по имени Викс. Денег у них не было — дело происходило в годы Депрессии, и они жили в степи, зарабатывая ловлей койотов. Раз в месяц они приезжали в город, снимали комнату и пускались в загул.

Потом Викс исчез. Не было мужика лучше его в постели; он вырос в борделе, и девочки обучили его всему, говорила Хэтти. Она не очень-то понимала, что говорит, но ей казалось, что это звучит в духе Запада. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы ее считали грубоватой, выдавшей вида женщиной с Запада. Однако она была также и леди. У нее были хорошее серебро, и хороший фарфор, и почтовая бумага с гравировкой, но на книжных полках в гостиной она держала консервированную фасоль и томатный соус. На ночном столике лежала Библия, но за дверцей комода стояла бутылка виски. Просыпаясь по ночам, она прикладывалась к бутылке, пока не засыпала снова. В бардачке автомобиля она держала маленькие пробные бутылочки на случай, если приспичит в дороге. Старый Дарли обнаружил их после несчастного случая.

Несчастный случай произошел с ней не где-нибудь далеко в пустыне, как она всегда опасалась, а совсем рядом с домом. Она выпила несколько коктейлей у Ролфов и по дороге домой, пересекая пути на железнодорожном переезде, потеряла управление. Машина скатилась прямо на рельсы. Она объясняла, что чихнула, а от этого на мгновение ослепла и крутанула руль куда не надо. Мотор заглох, и машина плотно села всеми четырьмя колесами прямо между рельсами. Хэтти выкарабкалась наружу, и ее охватил невероятный страх — страх за машину, страх перед будущим, который простерся и назад, в прошлое — и она погнала на своих негнущихся ногах через полынь, к ранчо Пэйса.

В тот день Пэйсы уехали на охоту и оставили хозяйство на Дарли; когда Хэтти ворвалась к нему, он стоял за стойкой. В баре было двое посетителей, парень с вольфрамового рудника и его девушка.

— Дарли, у меня беда. Я попала в аварию.

Какая перемена происходит с лицом мужчины, когда женщина

объявляет ему дурную новость! Дарли выпятил нижнюю челюсть и сказал:

— Ну, что там опять с тобой стряслось?

— Машина застряла на путях. Я чихнула. И потеряла управление. Вытащи меня, Дарли. Пикапом. Пока поезд не пришел.

Дарли швырнул полотенце.

— Пожалуйста, Дарли! Машина стоит прямо на рельсах.

— Тем хуже для тебя, — сказал он. — Как, говоришь, это случилось?

— Говорю тебе, я чихнула.

Все они, рассказывала потом Хэтти, были под мухой: и Дарли, и шахтер, и его девушка.

Прихрамывая, Дарли стал запирать бар. Год назад он грузил на прицеп одну из кобыл Пэйса, она лягнула его и сломала ребро. С тех пор он не мог оправиться. Он скрывал, что ему больно. Узкие сапоги на каблуках помогали ему держаться, а болезненная сгорбленность сходила за сутуловатую ковбойскую осанку. Но Дарли не был настоящим ковбоем, не то что Пэйс, который вырос в седле. Дарли до сорока лет ни разу не сидел верхом. В этом отношении они с Хэтти походили друг на друга. Они не были людьми Запада.

Хэтти ковыляла за ним через двор ранчо.

— Чтоб тебе пусто было, -- сказал он. — Я уже выкачал тридцатку из этого простофили, я бы из него всю получку вытянул, если бы ты не влезла. Пэйс будет злой как черт.

-- Ты должен мне помочь. Мы ведь соседи, — сказала Хэтти.

— Не годишься ты для здешней жизни. Тебе больше не потянуть. К тому же ты вечно под газом.

Хэтти не могла сейчас вступать с ним в перепалку. Мысль о машине, оставшейся на путях, приводила ее в невменяемое состояние. Если пройдет товарняк и раздавит машину, ее жизни на берегу озера Сэго конец. Куда ей тогда идти? Почему Дарли говорит ей такие обидные вещи? Ему самому шестьдесят восемь лет, и ему тоже некуда деваться, хотя у Пэйсов ему совсем не сладко, и он цеплялся за них только потому, что иначе ему оставалось только идти в армейский дом для престарелых. Да и бабы-лошадницы еще лезли к нему в постель. Им хотелось ковбоя, и они думали, что это он и есть. А он по утрам не мог даже выкарабкаться из нар. Где еще ему удалось бы заполнить бабу?

В тот момент, когда они подъезжали по неровному проселку

к поезду, где застрял на рельсах танкоподобный автомобиль Хэтти, взошла луна. Не сбавляя скорости, Дарли развернул пикап, обдав при этом грязью шахтера и его девушку, следовавших за ними в своей машине.

– Ты иди, садись за руль, -- приказал он Хэтти.

Хэтти забралась в машину: “Господи, только бы не оказалось, что я погнула ось или разбила картер”.

Когда Дарли подлез под бампер застрявшей машины, от внезапной боли в ребрах у него перехватило дыхание, и, вместо того чтобы сложить буксирную цепь вдвое, он прицепил ее во всю длину. Потом он поднялся и заковылял обратно к грузовику. Только движение успокаивало его боль; даже спиртное уже не помогало. Он включил мотор на малую скорость и потянул. Машина Хэтти грохнулась боком на полотно, рессоры застонали.

Парень с вольфрамового рудника крикнул:

– Цепь слишком длинная!

Хэтти торчала теперь высоко над землей на вздыбленном водителем сиденье. Чтобы вылезти из машины, ей пришлось опустить стекло, -- дверная ручка заклинилась изнутри много лет назад. Выкарабкавшись наружу, Хэтти закричала:

– Я лучше позову Шведа. Пусть он протелеграфирует. Поезд вот-вот подойдет!

-- Ну и ступай, -- сказал Дарли. -- Здесь от тебя толку мало.

– Дарли, будь осторожен с моей машиной. Будь осторожен.

Местность здесь была ровной и плоской, и зажженные фары ее автомобиля, пикапа и машины шахтера были отлично видны за двадцать миль. Но Хэтти была слишком перепугана, чтобы об этом подумать. Она думала только о том, как вечно откладывала все со дня на день, как вечно жила отсрочками. Собиралась бросить пить и все оттягивала этот момент, а вот теперь разбила машину -- ужасный конец, ужасное наказание свыше. Она сошла на землю и, приподняв юбку, хотела переступить через буксирную цепь. Но тут Дарли, стремясь поскорее отделаться, снова рванул пикап, цепь натянулась и ударила Хэтти по колену. Она упала ничком, подвернув под себя руку.

– Дарли, Дарли! -- закричала она. Я ушиблась! Я упала!

-- Старушка споткнулась о цепь, -- сказал шахтер. -- Поддай назад, я сложу цепь вдвое. Так ты далеко не уедешь.

Пьяный шахтер лег на спину в мягкий темно-красный шлак полотна. Дарли дал задний ход, чтобы ослабить цепь, потом по-

гнал свой пикап вперед, прежде чем шахтер закрепил цепь, и ободрал ему пальцы. Шахтер, не жалуясь, обернул руку полой рубашки и сказал:

— Теперь пойдет.

Цепь натянулась, и древняя колымага сползла с рельсов, оставившись на обочине.

— Получай свою проклятую машину, — сказал Дарли.

— Ничего не сломалось? — спросила Хэтти. Весь ее левый бок был в грязи, но она кое-как поднялась на свои негнущиеся ноги. — Я ушиблась, понимаешь...

— Ни черта ты не ушиблась, — сказал Дарли. Он был уверен, что она притворяется, чтобы уклониться от вины. Из-за боли в ребрах она раздражала его вдвойне. — Какого дьявола, если ты не в состоянии о себе позаботиться, тебе тут не место.

— Ты тоже старый, — сказала она. — Смотри, что ты со мной сделал. Нечего было пить, раз не умеешь.

Это его оскорбило.

— Отвезу-ка я тебя к Ролфам, — сказал он. — Они тебя напоили, они пусть и заботятся. Мне твои фокусы надоели, Хэтти.

Он погнал машину вверх. Цепи, лопата и лом гремели о борта пикапа. Перепуганная Хэтти держала больную руку здоровой и плакала. Когда она вошла в ворота Ролфов, собаки бросились к ней, пытаясь ее лизнуть.

Ролфы, сидя у камина, где горели просмоленные железнодорожные шпалы, допивали последний перед ужином коктейль, когда Хэтти открыла дверь. Кровь сочилась у нее на колене, лицо посерело от пыли.

— Я поранилась, — сказала она отчаянно. — Случилась авария. Я чихнула и потеряла управление. Джерри, сделай что-нибудь с машиной. Она стоит на дороге.

Они перевязали ей колено, отвезли ее домой и уложили в постель. Хелен Ролф положила электрическую грелку на ее больную руку.

— Нет, грелку нельзя, — пожаловалась Хэтти. — Она автоматическая, от нее генератор каждый раз включается и расходует горючее.

— Ах, Хэтти, брось, — сказал Ролф, — сейчас не время скаредничать. Утром мы свозим тебя в город и покажем врачу.

Хэтти хотелось сказать: "Скаредничать! Кто скареды, так это

вы. У меня просто ничего нету. Вы с Хелен подраться готовы за копеечный проигрыш в канасту". Но Ролфы были добры к ней; они были ее единственные настоящие друзья. Дарли бросил бы ее валяться во дворе до утра, а Пэйс, пожалуй, продал бы на костяную муку.

Поэтому она не стала возражать Ролфам, но, как только они вышли из дома и зашагали в ярком лунном свете сквозь гигантский тенистый балдахин под бузиновыми деревьями по направлению к своей новой, с большим багажником машине, Хэтти выключила грелку, и тяжелое громохание генератора прекратилось. Но скоро она почувствовала боль, настоящую, глубокую боль в руке и села, застыв на месте, грея больное место другой рукой. Ей казалось, что она нащупывает торчащую кость. Перед уходом Хелен Ролф накинула на нее стеганое одеяло, принадлежавшее покойной Цинтии, приятельнице Хэтти, от которой Хэтти получила в наследство этот домик и все, что в нем было. Не лежало ли это одеяло на кровати Цинтии в ту ночь, когда она умерла? Хэтти попыталась вспомнить, но мысли ее мешались. Она была почти уверена, что подушка Цинтии лежала на чердаке, а все прочее она, помнится, положила в сундук. Как же это одеяло оказалось тут?

Все чаще и чаще Хэтти казалось, будто всю ее жизнь, с рождения и по сей день, снимают на какую-то киноплёнку и, когда она умрет, этот фильм ей покажут. Тогда она узнает, как выглядит сзади, или когда поливает цветы, или в ванной, или во сне, за игрой на органе, в объятиях мужчины -- каждое мгновение, даже в эту ночь, мучаясь от боли, может быть, последней боли в жизни, ибо у нее почти не было больше сил терпеть. Пленки, должно быть, оставалось уже немного. Хуже всего -- лежать вот так без сна и предаваться подобным мыслям. Лучше уж смерть, чем бессонница.

Первая попытка вправить сломанную кость в больнице оказалась неудачной. После второй операции сознание Хэтти затуманилось. На ее кровати пришлось поставить барьеры, так как в полубреду она отправлялась бродить по палатам.

Несколько недель голова у нее была не в порядке.

-- Может, надо сообщить ее родным? -- спросила Хелен у доктора.

Тот спросил:

-- А у нее есть родные?

— Братья-старички. Двоюродные племянники, — ответила Хелен.

— Я так понимаю, что выручать ее придется нам, — сказал Ролф. — Разве что тот брат, который в Мексике, откликнется. Может, действительно позвонить одному из стариков?

Родных вызывать не пришлось. Хэтти начала выздоравливать. Она стала узнавать посетителей, хотя соображала по-прежнему туго.

Несмотря на слабость, она снова начала улыбаться и смеяться. Но к ее смеху примешивался теперь сильный шипящий звук.

— Сигареты и алкоголь исключаются, — сказал врач.

— Доктор, — спросила Хелен, — неужели вы думаете, что она переменится?

-- Мое дело сказать.

— Жизнь в трезвом виде вряд ли покажется ей такой уж соблазнительной...

Ролф расхохотался. От сильного хохота у него обычно закрывался один глаз.

— Хэтти вроде меня, -- сказал он. — Она не выйдет из игры, пока не спустит все до нитки. Если бы вода в озере Сэго превратилась в виски, она собрала бы последние силы, разломала бы свой желтый домик и построила из него плот. И уплыла бы вдаль по морю виски. Что уж тут толковать про трезвую жизнь.

Хэтти сознавала, что они похожи. Когда он пришел навестить ее, она сказала:

— Джерри, ты единственный, с кем я могу поговорить. Где мне взять денег? Может, продать что-нибудь из ценных вещей?

— Какие же у тебя ценные вещи? -- один глаз у него начал закрываться от смеха.

— Ну как же, — сказала она с вызовом, — у меня их полно. Во-первых, прекрасный, ценнейший персидский ковер, который мне оставила Цинтия.

— И на который годами сыпались горящие угли из камина!

-- Ковер в б е з у п р е ч н о м состоянии, — сказала она, гневно передернув плечами. — Такие прекрасные вещи никогда не теряют своей ценности. И дубовый стол из испанского монастыря, ему триста лет.

-- Тебе повезет, если получишь за него двадцатку. А выволочь его из дома обойдется в полсотни. Если уж что продавать, так это дом.

— Дом? — сказала она. Да, она об этом подумывала. — Что же, если мне дадут за него двадцать тысяч...

— Восемь было бы совсем неплохо.

— Пятнадцать! — она была оскорблена, и голос ее вновь обрел силу. — Не забудь, что озеро Сэго — одно из самых живописных в мире.

— Да, но где оно? В пятистах с лишним милях от Сан-Франциско и в двухстах милях от Солт Лэйк Сити. Кто захочет жить в такой глухомани, кроме чудаков, вроде тебя и Цинтии? И меня?

— Есть вещи, которых заденьги не купишь. Красота...

— А, поди ты, Хэтти. Какого черта ты смыслишь в красоте. Столько же, сколько и я. Я живу здесь, потому что это мне подходит, а ты — потому что Цинтия оставила тебе дом. И надо сказать, в самое время. Иначе у тебя площадки бы своей не было.

— Ох, Джерри, я совсем как выжатый лимон, — сказала Хэтти, сидя на постели и склоняясь в изнеможении вперед. Но на лице ее опять появилась бессмысленная счастливая ухмылка. Она не умела долго быть несчастной.

Про себя она думала: "Люди меня выручат, к чему волноваться. Всегда в последнюю минуту, когда я уж и не надеялась, непременно что-нибудь подворачивалось. Мэриан меня любит. Хелен и Джерри меня любят. Полпинты меня любит. Они не дадут мне пойти ко дну. И я их люблю. Если б они были в моем положении, я бы их никогда не бросила".

Порой над горизонтом, в том обширном, бесформенном пространстве, куда Хэтти время от времени заглядывала, возникали черты Цинтии, ее тень. Цинтия возмущалась и ругала ее. Не злобно. Не по-настоящему. Мало кто вообще относился к Хэтти по-настоящему злобно. Но Цинтия была ею недовольна. "Сад совсем погибает, Хэтти, — говорила она. — Сиреневые кусты все позасыхали".

— Но что я могу поделать? Шланг прогнил. И разорвался. Его не дотянуть до кустов.

— Тогда выкопай канаву, — отвечала тень Цинтии. — Вели Сэму выкопать канаву. Ты должна спасти эти кусты.

"Что я, по-прежнему твоя прислужница?" — говорила про себя Хэтти.

Но и сейчас она неспособна была бросить Цинтии открытый вызов, как неспособна была это сделать, когда они жили вместе. Думали, что Хэтти будет удерживать Цинтию от пьянства, но они

обе частенько начинали напиваться сразу после завтрака, забывали одеться и, пошатываясь, бродили по дому в нижних рубашках, натываясь друг на друга, в отчаянии от собственной слабости. Позже, под вечер, они усаживались в гостиной, ожидая захода солнца. Оно съезживалось, догорая на искрошенных верхушках гор. Когда солнце заходило, ярость дневного света утихала, и горные склоны синели, покрывались изломами, как угольные отвалы. В них переставали угадываться очертания лиц. Восток начинал выглядеть проще, и озеро становилось не таким надменным и бесчеловечным. Наконец Цинтия говорила: "Хэтти, пора зажигать свет". И Хэтти дергала цепочки выключателей, сразу несколько, чтобы как следует запустить генератор. Она включала две-три неустойчивые лампы в стиле восемнадцатого века, чьи абажуры вздымались над тонкими консолями, как стрекозиные крылья. Моторчик в сарае начинал шаркать, потом плеваться, потом проворачивался с грохотом, и лампы начинали неровно наливать первым слабым светом.

После смерти Цинтии Хэтти нашла несколько написанных ею стихотворений, в которых она, Хэтти, упоминалась с чувством, даже с нежностью. Прекрасная это вещь — Литература. Образованность. Воспитание. Цинтия ездила по всему свету. Цинтия привыкла к блестящему обществу. Цинтии хотелось рассуждать о Восточной религии, о Бергсоне и Прусте, а у Хэтти на это ума не хватало, и поэтому Цинтия возлагала на Хэтти вину за свое пристрастие к выпивке. "С тобой невозможно разговаривать, — говорила она. — Ты ничего не понимаешь в религии и в культуре. А мне приходится здесь жить. Я не могу больше жить в Нью-Йорке. Женщине в моем возрасте слишком опасно ходить в пьяном виде ночью по улице".

И Хэтти, говоря о Цинтии со своими местными приятельницами, говорила: "Она леди" (подразумевалось, что они друг другу пара); "Она творческий человек" (вот почему они так близки по духу). "Но беспомощна! Абсолютно. Да она пояс с чулками сама надеть не может".

"Хэтти! Иди сюда. Хэт-ти! Ты знаешь, что такое разгильдяйство?"

Цинтия сидела полуодетая на кровати, и сигарета в ее пьяной, морщинистой, покрытой кольцами руке прожигала дыры в одеяле. На чувстве собственного достоинства Хэтти она тоже оставила немало мелких шрамов. Она обращалась с ней, как с прислугой.

Позднее Цинтия, рыдая, умоляла Хэтти простить ее.

“Хэтти, пожалуйста, не осуждай меня в сердце своем. Прости меня, я знаю, что я скверная. Но мне от моей скверности еще больнее, чем тебе”.

Хэтти твердо выдерживала характер. Она говорила: “Я христианка. Я ни на кого не держу зла”.

И, повторяя эти слова, она в конце концов и в самом деле простила Цинтию.

Однако же у Хэтти не было ни мужа, ни детей, ни профессии, ни сбережений. И что бы она делала, если б Цинтия не умерла и не оставила ей желтый дом, трудно сказать.

Джерри Ролф сказал как-то Мэриан с глазу на глаз:

— Хэтти ничего не умеет. Если б в сорок четвертом я не был поблизости во время бурана, они с Цинтией померли бы с голоду. Она и всегда была легкомысленна и ленива, а теперь не в состоянии даже корову со двора согнать. Она слишком слаба. Самое лучшее для нее было бы уехать на Восток, к своему чертову братцу. Если б не Цинтия, не миновать Хэтти богадельни. Только Цинтия кроме этого чертова дома должна была бы оставить ей еще и денег. Черт знает, где была ее голова.

Вернувшись на озеро, Хэтти временно поселилась у Ролфов.

— Ну, старый бродяга, — сказал Джерри, — теперь в тебе опять появился живой дух.

И в самом деле, видя ее веселые глаза, сигарету во рту, свежесвитые кудерьки, свешивающиеся на лоб, можно было поверить, что она снова выплыла на поверхность. Она была бледна, но улыбалась, хихикала и держала в руке граненый стакан со сладким коктейлем с вишенкой и ломтиком апельсина. Она была на пайке: Ролфы позволяли ей не более двух рюмок в день.

— Ах, милые Хелен и Джерри, я так благодарна, так рада, что вернулась на озеро. Я смогу опять присматривать за домом и поспела как раз к весне. Она никогда еще не была так великолепна.

Пока Хэтти отсутствовала, прошли сильные дожди. Лилии Сэго, которые цвели только после дождливой зимы, взошли в размякшей пыли, особенно возле известковой ямы; они, казалось, росли даже на запекшемся граните. Зацвел дикий персик, а у Хэтти в саду распушились розовые кусты. Розы были желтые, обильные и испускали аромат, похожий на запах сырых чайных листьев.

Хэтти осмотрела свой автомобиль, стоявший под навесом. Попробовала мотор. Да, старая колымага еще на ходу. Гордая, счастливая, она вслушивалась в стук клапанов; старая засохшая выхлопная труба тряслась, выпуская дым. Хэтти пробовала перевести рычаг скоростей, повернуть руль. Пока еще она этого не могла. Но скоро и это придет, она была уверена.

Сил у нее было мало, но все немногое, что у нее было, доставляло ей наслаждение. И поэтому она простила даже Пэйса, который мечтал выжить ее из ее же дома, всегда эксплуатировал ее, ставил ее в неловкое положение, обжуливал в карты. Он был готов на все ради своих лошадей-квартиранов. Он был помешан на лошадях. Они его разоряли. Скаковые лошади — это развлечение для миллионеров.

Она смотрела на его коней, пасшихся в отдалении. Расседланные кобылы казались раздетыми; похожие на нагих женщин, они бродили, лоснясь боками, среди устилавших землю лилий. Цветы лилий были душисты и желтоваты, как зимнее руно; кобылы, нагие и кроткие, бродили среди цветов. Их неспешные шаги, их совершенная красота, стук их копыт по камню трогали Хэтти до глубины души.

Хэтти давно решила, что, когда придет время умирать, велит положить себя на кровать Цинтии. Зачем два смертных ложа? Глаза ее приняли угрожающее выражение, губы неумолимо сжались. "Я иду вслед, — сказала она, обращаясь к Цинтии, — так что нечего тебе". Со временем, и скоро, придет и ее очередь покинуть желтый дом. Входя в гостиную, она подумала о своем завещании и вздохнула. Скоро придется этим заняться. Адвокат Цинтии, Клэйборн, обещал ей постараться продать дом. Меньше, чем на пятнадцать тысяч, я не соглашусь, сказала она. Если не покупателя, то, может, он найдет ей съемщика. Она запросила двести долларов в месяц. Ролф расхохотался. Хэтти повернулась к нему с горделивым, рассеянным выражением, какое она всегда принимала, когда он ее сердил. Она сказала надменно:

— За то, чтобы провести лето на озере Сэго? Это недорого.

Про себя она думала, что делать, если Клэйборн не сумеет ни сдать, ни продать дом? "Вовсе не обязательно быть кому-то в тягость, — думала она. — Сколько уже раз казалось, что все плохо, а в критический момент я всегда как-то выкарабкивалась".

Она сидела на своем старинном диване, диване Цинтии — два с лишним метра в длину, изогнутой фасолевидной формы, пух-

лом и облысевшем. Розовая подкладка просвечивала сквозь зеленую обивку; мягкая, стеганая поверхность напоминала подушечки на собачьих лапах; между ними торчали пучки волос. Хэтти сидела на нем ссутулившись, широко расставив колени, с сигаретой во рту, полуприкрыв глаза и глядя вдаль. Горы, казалось, были не в пятнадцати милях, а в пятистах шагах, озеро походило на синий обруч; чайный аромат роз, еще не распустившихся, уже наполнял воздух, так как Сэм поливал их в самую жару. Хэтти благодарно крикнула:

— Сэм!

Сэм был очень стар. Его ступни казались огромными. Старый железнодорожный китель туго обтягивал сгорбленную спину. Прижатый к отверстию шланга кривой палец с большим широким ногтем разбивал струю на мелкие сверкающие брызги. Увидев Хэтти, он обрадовался, обратил к ней беззубую челюсть и продолговатые голубые глаза, которые словно отгибались назад и уходили в виски, и сказал:

— О, Хэтти, это вы? С возвращением, Хэтти.

— Хочешь пива, Сэм? Подойди к кухне, я дам тебе пива.

Она никогда не допускала Сэма в дом, по причине его кожной болезни. У него были расчесанные пятна на подбородке и за ушами. Хэтти боялась заразиться от его прикосновения. Она давала ему пиво прямо в банке, а не в стакане, и надевала перчатки, прежде чем бралась за садовые инструменты. Поскольку он не принимал от нее денег, она попросила Мэриан привозить для него из города старую одежду и оставляла ему еду у дверей пахнущего сырым деревом товарного вагона, в котором он жил.

— Как поживает подбитое крыло, Хэт?

— Гораздо лучше. Ты и оглянуться не успеешь, я снова буду водить машину, — сказала она. — К первому мая я снова буду за рулем. — Каждую неделю она отодвигала эту дату вперед. — Ко дню Поминования я надеюсь снова стать самостоятельным человеком.

Однако в середине июня она все еще не могла водить машину. Хелен Ролф сказала ей:

— Хэтти, мы с Джерри должны быть в Сиэттле в начале июля.

— Как это, ты мне ничего не говорила, — сказала Хэтти.

— Ты что, хочешь сказать, что впервые об этом слышишь? — сказала Хелен. — Ты знала это с самого начала, еще с Рождества.

Нелегко было Хэтти встретить ее взгляд. Наконец она опустила

голову. Лицо ее подернулось нестерпимой сухостью, особенно губы.

— Ну что ж, обо мне не беспокойтесь. Ничего со мной здесь не случится, — сказала она.

— Кто будет за тобой ухаживать? — спросил Джерри. Он сам никогда ни от чего не уклонялся и не терпел уклончивости в других.

Единственные люди, к которым она могла обратиться, были Ролфы. Хелен, стараясь сохранить твердость, смотрела на нее в упор и делала грустные, произвольные движения головой, то кивая, то как бы возражая кому-то. Им незачем было ехать в Сиэтл — никакого настоящего дела. И какого черта именно в Сиэтл? Просто от нечего делать, просто прогуляться. Единственной причиной была сама Хэтти; таким образом они давали ей понять, что она может ждать от них помощи только до известного предела. Голова Хелен нервно подрагивала, но в мыслях ее не было колебаний. Она знала, о чем думает Хэтти. Как и Хэтти, она была праздная женщина. Почему же у нее было больше прав на праздность? Потому, что у нее есть деньги? — подумала Хэтти. Потому, что она моложе? Потому, что у нее есть муж? Потому, что ее дочь училась в Сорсбургском колледже? Одутловатое лицо Хэтти пылало от гнева. Она сказала:

— Не беспокойтесь. Я перебыю. Но если мне придется покинуть озеро, вам будет здесь в десять раз более одиноко, чем прежде. А теперь я ухожу к себе домой.

Губы ее по-детски искривились. Она знала, что никогда не возьмет своих слов обратно.

Наутро после того, как она вернулась в свой дом, Ролф въехал к ней во двор и сказал:

— Я собираюсь в город. Если хочешь, могу привезти тебе еды.

Как Хэтти ни сердилась, она не могла себе позволить отказать от его предложения. Она сказала:

— Да, привези чего-нибудь из гастронома на Маркет-стрит. Возьми в кредит.

В холодильнике у нее были лишь мороженые креветки и несколько банок пива. Когда Ролф уехал, она вынула пакет с креветками, чтобы разморозились.

Погода стояла жаркая, с тяжелыми, неподвижными облаками на просторном небе. Горизонт был так огромен, что внутри него озеро могло показаться не более блюдечка с молоком. "Ничего

себе блюдечко!" — думала Хэтти. Две тысячи футов посередине, такая глубина, что тела утопленников никогда не находили. Рассказывали, что они так и плавали по всему озеру, носимые течениями. Там были острые, как клыки, скалы, и горячие источники, и бесцветные рыбы на самом дне, которых никто никогда не мог поймать. Сейчас там гнездились белые пеликаны и патрулировали скалы, оберегая их от змей и других похитителей яиц. Пеликаны были так огромны и летали так медленно, что их можно было принять за ангелов. Хэтти теперь не ходила к озеру; прогулка слишком утомляла ее. Она берегла силы, чтобы под вечер сходить в бар Пэйса.

Приказать Сэму, чтобы очистил печную трубу от вьющихся растений, или не приказывать? Там поселились воробьи, и это было приятно. Но за ними все лето охотились змеи, и Хэтти боялась ходить по саду. Воробьи смешно подпрыгивали, копаясь в земле в поисках семян; они скакали на несгибающихся ножках, обеими лапками отшвыривая назад клубочки пыли. Хэтти села за свой старинный стол из испанского монастыря и смотрела на купающихся в теплом море воробьев, сжимая одну руку другой, посмеиваясь и грустя. Кусты были осыпаны желтыми розами, наполовину уже засохшими. Ящерицы шныряли от тени к тени. Вода была гладкая, как воздух, блестящая, как шелк. Горы сдались под напором жары и погрузились в сон. Дремота охватила Хэтти, и она прилегла на диван. Его подушечки были, как собачьи лапы. Хэтти перестала бороться со сном, а когда она проснулась, была полночь. Она съела несколько оттаявших креветок и сходила в уборную при свете луны. Потом разделась, взобралась на кровать и легла, прислушиваясь к боли в руке. Теперь она почувствовала, как ей не хватает ее собаки. Вся эта история с собакой лежала камнем у нее на душе. Хэтти чуть не расплакалась, думая о ней, и так и заснула с тяжестью на сердце от своего секрета.

Нет, мне надо немного подтянуться, решила Хэтти наутро. Нельзя же так все спать и спать. Она знала, в чем ее беда. Ее сознание отступало перед любым серьезным вопросом. Оно рассеивалось или затуманивалось. Она сказала себе: "Видно, нет во мне прежней жизненной силы. Может, я немного тронулась, как мама в свое время".

Она выпила чашку растворимого кофе и еще больше укрепилась в своем решении заняться делами. Единственный человек

на свете, к которому она могла бы поехать, был ее брат Энгус. Другой брат, Вилл, прожил бурную жизнь; он был старый забияка и теперь всех гнал прочь. Он злился на нее за то, что она столько лет прожила с Виксом. Энгус простил бы ее. Но, с другой стороны, он и его жена совсем не ее сорта люди. У них она не смогла бы ни пить, ни курить, должна была бы держать язык на привязи, и ей пришлось бы каждый раз перед завтраком дожидаться, пока они прочтут главу из Библии. Хэтти терпеть не могла сидеть за столом в ожидании трапезы. И кроме того, у нее наконец-то был свой собственный дом. С какой стати она должна его бросать? У нее никогда раньше не было ничего своего. И вот теперь ей не дают порадоваться на ее собственный желтый домик. Нет, я его не брошу, сказала она возмущенно. Клянусь Богом, я его не брошу. Да я его только-только получила. У меня и времени-то совсем не было. Это все Дарли виноват. Он и сам старый и больной. Это е м у долго не потянуть. Он завидует ее дому, ее спокойной женской жизни. С тех пор как она вышла из больницы, он ни разу не навестил ее. Он только сказал: "Черт подери, мне ее жаль, но она сама виновата". Больше всего его уязвили слова Хэтти о том, что он не умеет пить.

Джерри Ролф по собственной инициативе написал Энгусу, в каком состоянии его сестра. А также съездил и поговорил с Эми Волтерс, вдовой золотоискателя, жившей в Форте Волтерс – как старуха это называла. Форт представлял собой старую конструкцию из толя, построенную поверх заброшенной шахты. Ствол шахты служил выгребной ямой. С тех пор как умер второй муж Эми, никто не занимался там добычей золота. На груди камней при дороге стояла ярко-красная табличка: ФОРТ ВОЛТЕРС. Позади торчал флагшток. На нем каждый день поднимался американский флаг.

Эми, в рубашке покойного Билла, работала в саду. Билл провел ей воду с гор в самодельном акведуке, чтобы она могла выращивать собственные персики и овощи.

– Эми, – сказал Ролф, – Хэтти вернулась из больницы и живет совсем одна. У тебя никого нет, и у нее тоже. Что тут долго толковать – почему бы вам не поселиться вместе?

Лицо Эми отличалось необычайной хрупкостью. Ее зимние купания в озере, ее овощные супы, вальсы, которые она играла для себя одной на рояле, стоявшем возле дровяной печки, детек-

тивные романы, которые она читала, пока темнота не вынуждала ее закрыть книжку, — вся жизнь, которую она вела, выработала в ней некую отрешенность. Она казалась хрупкой, но ничто не в состоянии было смутить ее спокойствия, она была неуязвима.

— У нас с Хэтти разные привычки, Джерри, — сказала Эми.

— Это правда, — сказал Ролф, припоминая, что Хэтти отзывалась об Эми, словно та была бесплотным духом. Он не мог заговорить с Эми об ожидавшей ее одинокой смерти. На пустынном небе не было сегодня ни облачка, и на лице Эми не было ни следа смертной тени. Она была невозмутимо спокойна, как будто обладала запасом некой беспримесной субстанции, которая будет медленно поддерживать ее жизнь еще много-много лет.

Он сказал:

— С женщиной вроде Хэтти всякое может случиться в ее желтом доме, и никто даже не узнает.

Эми не выразила сожаления. Она лишь помолчала, возможно, взамен соответствующих слов. Затем сказала:

— Я могла бы приезжать к ней на несколько часов в день, но ей придется мне платить.

— Слушай, Эми, ты ведь не хуже меня знаешь, что у Хэтти нет денег — почти ничего, кроме пенсии. Один только дом.

Эми отозвалась немедленно, не оставляя паузы между его и своими словами:

— Я возьмусь за ней ухаживать, если она согласится оставить мне дом.

— Но, Эми, что ты будешь делать с домом Хэтти? — спросил он.

— Это будет моя собственность, вот и все. Это будет мое.

— Может, ты оставишь ей Форт Волтерс по завещанию, — сказал он.

— О нет, — сказала она. — С какой стати? Я ведь не прошу у Хэтти помощи. Мне это не нужно. А Хэтти — женщина городская.

Ролф не мог передать Хэтти это предложение. У него хватало ума никогда не упоминать при ней о завещании.

Но Пэйс был менее склонен щадить ее чувства. К середине июня Хэтти стала посещать его бар регулярно. Ей нужно было обдумать так много всего, что она не могла усидеть дома. Однажды, войдя в бар со двора — он только что запаковал колеса своего прицепа для лошадей и вытирал испачканные смазкой пальцы, — Пэйс сказал со своей обычной прямолинейностью:

-- Что ты скажешь, Хэт, если я предложу платить тебе по полсотни в месяц до конца твоей жизни?

Хэтти держала в руке второй коктейль, положенный ей на сегодня. В баре она делала вид, что соблюдает норму; но она начинала пить еще дома. Одну рюмку до обеда, одну за обедом, одну после. Хэтти заулыбалась, ожидая от Пэйса одной из его обычных шуточек. Но его лопатообразная ковбойская шляпа сидела на нем чинно, как на квакере, и подбородок он пригнул к груди, давая понять, что не шутит. Она сказала:

— Это было бы славно. А в чем тут фокус?

— Никакого фокуса, — сказал он. — Мы можем сделать так. Я бы дал тебе пятьсот долларов наличными, и полсотни в месяц пожизненно, а ты пускала бы моих туристов к себе ночевать и оставила бы мне дом в наследство.

— Ты что же это мне предлагаешь? — сказала Хэтти, меняясь в лице. — Я думала, мы друзья.

-- Лучшего предложения тебе никто не сделает, -- сказал он.

Погода стояла знойная, но до этой минуты она была приятна Хэтти. Ее слегка клонило ко сну, но было покойно и уютно в предвкушении вечерней прохлады; теперь же она ощутила, что ее подстерегала такая жестокость и такая несправедливость, что лучшей ей было умереть в больнице, нежели испытать подобное разочарование.

Она крикнула:

— Ты мошенник, Пэйс! Надувай кого-нибудь другого. С чего ты вдруг надумал надуть меня?

--- Что ты, Хэтти, — сказал Пэйс. -- Это было просто деловое предложение.

Она решила немедленно вернуться домой и, не откладывая больше, взялась за дела. Сегодня же она напишет адвокату Клэйборну и позаботится о том, чтобы Пэйс никогда не смог завладеть ее собственностью. С него ведь станется пойти в суд и заявить под присягой, что Цинтия обещала ему желтый дом.

Гнев ее не утихал. Сердце колотилось в груди; сзади на ляжках бились глубокие пульсы, как после горячей ванны. Воздух снаружи был пронизан прозрачными точками. Горы раскалились до красноты, как кирпичи в горниле. Листья ирисов походили на веера — они торчали кверху, как негритянские патлы.

Дело всегда кончалось тем, что она начинала смотреть в окно на пустыню и озеро. "Они заставляют человека отдалиться от само-

го себя. А после того, как он отдалился, что они с ним делают? Тогда уже поздно спрашивать. Я этого никогда не узнаю. Мне это не положено. Не тот характер, — размышляла Хэтти. — Может, что-нибудь слишком страшное для женщины, старой ли, молодой ли”.

Человек стареет, его сердце, его легкие, его печень словно бы разрастаются в объеме, и стенки тела раздаются вширь, набухают, думала она, и человек приобретает форму старого кувшина, расширяющегося кверху. Человек набухает слезами и жиром. Даже в запахе собственного тела она не узнавала больше запаха женщины. Ее лицо, покрытое изношенной от частого сна кожей, было лишь отдаленно похоже на ее собственное — словно облако, изменившее очертания. Сперва это было лицо. Оно превращается в клубок ниток. Потом расплывается до дыр. Потом рассеивается.

“Да я никогда и не была чем-то единым, целым, — подумала она. -- Никогда не принадлежала самой себе. Мне лишь дали меня в долг”.

Но ничего еще не закончилось. И она, в сущности, не знала наверняка, закончится ли когда-нибудь. Это только люди так говорили, что-де смерть это то-то и то-то. А я почему знаю? -- спросила она сама себя с вызовом. Гнев отрезвил ее ненадолго. Теперь она снова была пьяна. “...Все это было странно. И сейчас странно. И может, и дальше будет странно...”. Еще она думала: “Раньше я больше желала смерти, чем теперь. Потому что у меня совсем ничего не было. Я изменилась с тех пор, как у меня появилась своя крыша над головой. И что же? Неужели придется уходить? Я думала, Мэриан меня любит, но у нее уже есть сестра. И я думала, что Хелен и Джерри никогда меня не бросят, но они сбежали. А теперь Пэйс меня оскорбил. Они все думают, что мне крышка”.

Она подошла к шкафу — там у нее была бутылка виски. С ощущением, что кто-то за ней наблюдает, она налила себе стаканчик и выпила.

Ощущение, будто посреди этого безлюдья кто-то смотрит на нее, было связано с ее идеей о том, что вся ее жизнь, от рождения и до смерти, запечатлевается на пленке. И что так делается с каждым. А после человек сможет просмотреть свою жизнь. Потустороннее кино.

Хэтти захотелось посмотреть куски из этого фильма сейчас, и она уселась на собачьи подушечки своего дивана, широко расставив колени, ссутулив спину; на лице у нее появилась просящая

и испуганная улыбка, сигарета дымилась в углу рта, и она увидела — церковь Сен-Сюльпис в Париже, куда ее водил учитель-органист. Церковь похожа на деревенскую каменную постройку, но наверху вздымаются и клонятся вперед высокие башни. Она очень молода. Она умеет играть на органе. Как это она была такая умная, просто непостижимо. Но она действительно умела. Она могла читать все эти ноты. Затем она увидела разные забавные вещи, о которых любила рассказывать знакомым. Она недавно вышла замуж. Они со свекровью приехали в Экс-ле-Бэн и, сидя в грязевой ванне, играют в бридж с английским генералом и его адъютантом. В плавательном бассейне ходят искусственные волны. С нее свалился купальник, потому что он был ей велик. Как же она вышла из положения? Ах, человек способен выйти из любого положения.

Она увидела своего мужа, Джеймса Джона Вэггонера Четвертого. "Джимми, Джимми, как же это ты взял и вышвырнул свою жену? — спросила она его. — Неужели ты забыл нашу любовь? Или я пила слишком много -- или тебе было скучно со мной?" Она ему надоела. Он женился снова, и у него было двое детей. Хотя он был тщеславный человек, не имевший никаких оснований для тщеславия — ни внешности, ни большого ума, ничего, кроме старой филадельфийской фамилии, — она любила его. Она тоже кичилась своими филадельфийскими родственными связями. Отказаться от имени Вэггонер? Как можно! По этой причине она так и не вышла замуж за Вика. "Как ты посмел, — сказала она Вeksu, — прийти ко мне небритый, в нестираной рубашке, грязный, прийти и просить меня выйти замуж! Если хочешь делать предложение, иди сперва помойся!" Но грязь тут была предложением.

Обменять "Вэггонер" на "Викс"? — спросила она себя сейчас и передернула плечами. Ни за что на свете. Викс был прекрасный человек. Но всего лишь ковбой. Без всякого общественного положения. Он даже читать не умел. Однако вот что она увидела в своем фильме. Викс и она в Атенс Каньоне, в похожем на коробку домике, и она читает ему вслух "Графа Монте-Кристо". Он не позволяет ей прервать чтение. Чтобы размять ноги, она читает на ходу, а он ходит вслед за ней, ловя каждое слово. В сущности, он был ей очень дорог. Какой мужчина! Теперь она увидела, как он спрыгивает с лошади. Они живут на пастбище, занимаются ловлей койотов. Небо посерело, первые туманные сумерки, солнце только что зашло. В капкане был койот, и Викс подошел, чтобы прикончить его. Он не тратил пуль на этих зверей,

а приканчивал их ударом сапога. И тут Хэтти увидела, что койот совершенно белый – оскаленные зубы, белый загривок. “Викс, он белый! Белый, как полярный медведь. Не убивай его, а, Викс?” Койот прижался к земле. Он скалился и рычал, не в силах вырваться из капкана. И Викс прикончил его. Что еще он мог сделать? Белый зверь валялся мертвый. Пыль от сапога Вика едва виднелась на его голове и челюстях. Из пасти текла кровь.

Теперь в фильме Хэтти последовал эпизод, который она попыталась отключить. Это она, сама, убила своего пса Ричи. Как ее и предупреждали Ролф и Пэйс, пес оказался злобный, порченный. Хэтти, всегда становившаяся на сторону бессловесных тварей, защищала его, когда он укусил нищенку, жившую с Джакамаресом. Может, если бы она взяла Ричи щенком, он бы никогда не бросился на хозяйку. Когда он попал к ней, ему было уже полтора года, и она не могла отучить его от скверных привычек. Но она верила, что она единственная понимает его. А Ролф предупреждал: “Вот увидишь, на тебя в суд подадут. Он искушает кого-нибудь посообразительней, чем баба Джакамареса, и ты погорела”.

Хэтти увидела, как она поводит плечами и говорит: “Вздор”.

Но какой ужас охватил ее, когда пес бросился на нее на веранде. Внезапно по его голове, по глазам она поняла, что он желает ей зла. Она закричала: “Ричи!” И что она ему такого сделала? Он целый день лежал под газовой плитой, рычал и не хотел вылезать. Она попыталась вытолкнуть его половой щеткой, и он вцепился в палку зубами. Она вытащила его наружу, и тогда он оставил щетку и бросился на нее. Теперь, наблюдая это в качестве зрителя, она всматривалась расширенными глазами сквозь вздувшуюся занавеску, сквозь марево известковой пыли, парившей над озером, словно летний снег. “О Боже! Ричи!” Он вцепился ей в бедро. Она почувствовала, что теряет равновесие. Неужели она упадет? Тогда пес рванется к ее горлу – и затем черная ночь, воющая пасть, кровь, бьющая из горла, из растерзанных вен. Зубы впились ей в бедро, сердце ее сжалось, и она не могла медлить ни секунды, она сорвала с гвоздя топорик для хвороста, ухватилась крепче за гладкую деревянную рукоятку и ударила пса. Она увидела, как он тут же сдох. Затем, мучимая страхом и стыдом, она спрятала тело. И ночью закопала его во дворе. На следующий день она обвинила Джакамареса. Приписала ему вину за исчезновение ее собаки.

Хэтти встала; по привычке, молча, заговорила сама с собой. “Боже, что мне делать? Я загубила живое существо. Я лгала. Я лжесвидетельствовала. Я увиливала. И что мне теперь делать? Никто мне не поможет”.

Внезапно она решила, что пойдет и сделает то, что откладывала неделями — испытает себя за рулем; она надела туфли и вышла во двор. Ящерицы разбежались перед ней в пересохшей пыли. Она открыла широкую, горячую дверь машины. Поместила свою больную руку на руль. Правую руку протянула как можно дальше влево и повернула руль сколько хватило сил. Затем включила мотор, собираясь выехать со двора. Но не смогла справиться с рукояткой ручного тормоза. Она запустила свою здоровую, правую руку под руль, прижалась к нему грудью и напрягла все силы. Нет, она не могла одновременно переводить скорости и править. Она не могла даже дотянуться до ручного тормоза. Кожа ее покрылась потом. Напряжение было слишком велико. Боль в руке пронзила ее до глубины души. Дверь машины отворилась сама, Хэтти повернулась боком к рулю и, свесив наружу свои негнущиеся ноги, зарыдала. Что же теперь делать? Она вылезла из старого автомобиля и вернулась в дом. Там она вынула виски из шкафа, взяла чернильницу и блокнот и села за стол писать завещание.

“Мое Завещание”, — написала она, горько плача.

С тех пор как Цинтия умерла, она множество раз задавалась вопросом: КОМУ? Кто получит его, когда я умру? Бессознательно она испытывала разных людей, пытаясь решить, кто из них достоин. Это сделало ее еще придирчивей, чем прежде.

Теперь она написала: “Я, Хэрриэт Симмонс Вэггонер, находясь в здравом уме и не зная, что меня ожидает в будущем, в возрасте семидесяти двух лет (рожд. 1885), проживающая одна у Пустынного Озера Сэго, отдаю распоряжение моему адвокату Хэролду Клэйборну, в здании Суда провинции Пэйюот, начертать мою предсмертную волю и завещание на следующих условиях”.

Она замерла в полной неподвижности, чтобы услышать изнутри, кто же этот счастливчик, кто унаследует желтый дом. Дом, которого она так дожидалась. Да, дожидалась смерти Цинтии, давась ее хлебом, ибо она была служанкой богатой женщины и ее козлом отпущения. Но кто сделал для нее, для Хэтти, то, что она делала для Цинтии? И кто, кроме Цинтии, за всю жизнь протянул ей руку? Доброжелательность, да. Время от времени люди были

доброжелательны. Но в голове у нее засело другое слово, не доброжелательность, а — выручка. И кто, кто сделал это для нее? П р и ш е л н а в ы р у ч к у? Только Цинтия. А уж если не выручил ее, то хотя бы взял, встряхнул и сказал: “Брось отвиливать. Не будь старой растяпой, не откладывай на завтра, не бей баклуши”. Опять же одна только Цинтия. Она пришла ей на выручку. “Хэт-ти! — проговорила пьяная маска. -- Ты знаешь, что такое разгильдяйство? Черт тебя побери! проклятая бездарная старуха!”

Да ведь я все выжидала, сообразила Хэтти. Я выжидала, думая: “Молодость — ужасная, пугающая вещь. Я ее пережду. А мужчины? Мужчины жестоки и сильны. Они хотят от меня того, чего у меня нет”. Детей у меня не получилось, думала Хэтти. Конечно, я любила бы их, но такова уж была моя природа. Разве можно винить меня за это? За то, что такова моя природа?

Она отпила из граненого стакана. В нем не было ни апельсина, ни вишенки, ни льда, ни сахара, а только прозрачный, жгучий виски.

“Так что же, -- размышляла она, глядя на запекшуюся от жара пыль и на последние веснушчатые цветы дикого красного персика, -- жить с Энгусом и его женой? И выслушивать главу из Библии перед завтраком?” Однако же надо решить, кому все-таки оставить дом.

В первую очередь она хотела поступить по справедливости со своими родными. Никому из них и не снилось, что у нее, Хэтти, будет когда-нибудь что оставить в наследство. Казалось, что она так и умрет нищей. А теперь она может держать голову так же высоко, как самые спесивые из них. При этой мысли она и в самом деле вздернула свое широконосое лицо с торжествующими глазами; пусть ее волосы посекелись, как луковые корешки, пусть затылок у нее стал круглый и гладкий, как полированный шар на лестничных перилах, ну и что? Сердце ее преисполнилось детской гордыни, ничуть не приевшейся ей за семьдесят два года. Она тоже кое-чего добилась. Даже моя смерть принесет пользу, подумала она. Так вот, человек, которому я его оставлю, это... это... Она снова вернулась к точке, на которой застревала так давно. Много уже раз она принимала решение и каждый раз передумывала. Она стала прикидывать: “Кто сумеет извлечь наибольшую пользу из моего дома?” Это было душераздирающее занятие. Если бы речь шла не о доме, а о какой-нибудь хрупкой вещице, которую можно взять в руку, ее предсмертным деянием было бы

швырнуть и разбить эту вещицу, так что обе они уничтожились бы одновременно. Но это были пустые мысли. Так кому же его оставить? Братьям? Ну, нет. Племянникам? Один из них был командиром подводной лодки. Второй, холостой, служил в государственном департаменте. Затем пошел пересмотр двоюродных братьев и сестер. Мертон? У него свое имение в Коннектикуте. Анна? У нее лицо, как грелка. Оставалась Джойс, дочь ее покойного двоюродного брата Вилфреда. Джойс больше всех подходила для роли наследницы. Хэтти уже писала ей однажды, и та приезжала к ней на озеро в день Благодарения. Но эта Джойс тоже была довольно странная: за тридцать, добрая, да, но вялая, склонная к полноте, и все учится — десять лет училась в Юджине, штат Орегон, зарабатывая ученую степень. По мнению Хэтти, это тоже была одна из форм разгильдяйства. Впрочем, Джойс все еще надеялась выйти замуж. За кого? Хэтти знала, как это бывает. Чтоб было хотя бы с кем ругаться.

Теперь она была пьяна, как никогда со времени несчастного случая. Она налила себе еще. Широко расставив колени, она сидела в сумерках и думала. Мэриан? Мэриан не нужен еще один дом. Полпинты? Она не будет знать, что с ним делать.

Теперь наконец очередь дошла до Вика. В последний раз он дал о себе знать из-под города Бишоп, Калифорния, где работал в пивной неподалеку от Долины Смерти. Весточку от него получила не она, а Пэйс. Сама она ни разу не видела Вика с тех пор — до чего же низко она скатилась тогда! — как держала ларек на 158-м маршруте, жаря и продавая рубленные шницели. Эта крошечная забегаловка кормила их обоих. Виск вечно торчал у конца стойки, крутя самодельные сигареты (она увидела это в своем фильме). Затем произошла ссора. Дела давно шли все хуже и хуже. Он начал выискивать, к чему бы придраться. Под конец стал жаловаться на еду. Она увидела и услышала, как он говорит: "Хэт, мне эти шницели осточертели". "Да? А я, по-твоему, что ем?" — ответила она с тем округлым, вызывающим передергиванием плеч, которое теперь сама узнала как свое характерное движение (типичная я, подумала она). Но он открыл кассу, взял тридцать центов, пошел в мясную лавку напротив и принес бифштекс. Он бросил его на сковородку. "Поджарь", — сказал он. Она поджарила бифштекс и смотрела, как он его ел.

А когда он кончил, она не в силах была больше сдерживать ярость. "Ну, — сказала она, — поел своего мяса? А теперь убирайся.

И назад не приходи". У нее под прилавком хранился пистолет. Она схватила его, взвела курок и прицелилась ему в сердце. "Если ты когда-нибудь снова войдешь в эту дверь, я тебя убью", — сказала она.

Все это она теперь увидела. Я не могла перенести такого унижения, подумала она, быть рабыней бездельника-ковбоя.

Викс сказал: "Не надо, Хэт. Я, наверно, переборщил. Ты права".
"Теперь поздно извиняться! — крикнула она. — Пошел вон!"

После этого возгласа он исчез, и больше она никогда его не видела.

"Викс, милый, — сказала она теперь, — послушай! Я виновата. Не осуждай меня в сердце своем. Прости меня. Моя скверна вредит мне самой. Такая я родилась тупоумная".

Она опять заплакала, на этот раз из-за Викса. Она была слишком чванлива. Они могли бы теперь жить в этом доме вместе, просто как старые друзья.

Она подумала: "Он действительно был мне близким другом".

Но зачем Виксу такой дом, одному, если, конечно, он жив и переживает ее? Он слишком жилистый для мягких постелей и покойных кресел.

И подумать только, что это она чопорно говорила Цинтии: "Я христианка. Я зла ни на кого не держу".

Ах, да, сказала она про себя. Сколько раз я ловила себя на таких вещах. Когда же это кончится? И она принялась думать, вернее, пыталась думать про Джойс, дочь своего двоюродного брата. Джойс была вроде нее, одинокая женщина, начинающая стареть, неуклюжая. Наверно, никогда не спала с мужчиной. Грустно. Она бы сейчас много дала, чтобы прийти на выручку Джойс.

Джойс приедет сюда, поселится в доме. У нее есть немного своих денег, и она перебьется. Она будет жить, как жила Хэтти, одна. Здесь она и будет прозябать, может, начнет пить, день за днем читать книги, день за днем спать. Видишь, какая здесь красота? Она выжигает человека дотла. Какая пустота! Она превращает человека в пепел.

Как же я могу обречь сравнительно молодую женщину на такую жизнь? — спросила Хэтти. Эта жизнь для таких, как я. Когда я была моложе, неправильно было бы, чтоб я так жила. А теперь правильно, в самый раз. Здесь мне место, и только мне. Оно будто создано для меня, для моей старости, чтоб мирно дожить последние годы. Если б только я не позволила Джерри напоить меня в тот

вечер — если б только я не чихнула! Из-за этой руки мне придется жить с Энгусом. Мое сердце разорвется вдали от моего единственного дома.

Она теперь очень сильно захмелела и сказала себе: “Бери, что Бог дает. Он не оказывает безвозмездных благодеяний. Он дает займы”.

Она снова принялась за письмо с распоряжениями адвоката Клэйборну. “На следующих условиях, — написала она еще раз. — Поскольку я много страдала. Поскольку я лишь недавно получила то, что может быть отдано другому, это свыше моих сил”. Хмельная кровь ударяла ей в голову. Но рука ее была достаточно тверда. Она написала: “Еще не пришло время. Не пришло время. Ибо нет в моей душе ни к кому такой любви, какой бы я желала. Зброшенная и одинокая, и никому не причиняя вреда на своем месте. Почему я должна его отдать? Это меня просто убивает. Почему, вдобавок ко всему прочему, я должна переживать из-за вещи, которую все равно придется бросить? С ума можно сойти от этой муки. Хоть я и очутилась в таком положении по собственной вине. Но я не готова от него отказаться. Нет, пока нет. И поэтому вот что я вам скажу: я оставляю эту собственность, землю, дом, сад и права на воду Хэтти Симмонс Вэггонер. Мне! Я знаю, что это скверно и неправильно. Что это невозможно. И однако, это — единственное, чего я истинно желаю, и да смилуется надо мной Господь”.

Как это получилось? Она внимательно прочла написанное и в конце концов признала, что она пьяна. “Я пьяная, — сказала она, — и сама не знаю, что делаю. Я умру, и тем дело кончится. Как Цинтия. Умру, как этот сиреневый куст”.

Затем она стала думать: вот было начало, и была середина. Третье слово она до себя не допустила. И принялась заново — начало. После этого ранняя середина, затем средняя середина, поздняя середина, еще более поздняя середина. В сущности, я только и знаю, что середину. Все остальное — людская молва.

А дом я сегодня отдать не могу. Я пьяная, и поэтому он мне нужен. А завтра, пообещала она себе, я буду снова думать. И что-нибудь обязательно придумую.

Сокращенный перевод с английского Юлии Винер

ОТКРЫТКА

Ю. Мамлеев у

Раб государственный — рабу своей судьбы —
зашел на Кировской тебе черкнуть открытку —
что-как и что-зачем... Вот если бы-кабы...
Я расстояние переносу, как пытку.

С тех пор, как отчинили нам калитку,
и с Южинского вдаль направил ты стопы,
на станции Дзержинского сменили плитку,
а на Колхозной перекрасили столбы.

Столица хорошеет и пустеет. Слова
бывает некому сказать. Неужто снова,
и значит никогда, по Чистым покружив,

спустившись к Трубной, у ларька пивного
не встречу я тебя? Ну как там Vita нова?
Здесь все по-старому, и я, как будто, жив.

МОСТ

Случилось что-то за окном —
стояла ель, а стала сном.
Значенье сна я понял вдруг.
Туман, сгустившийся вокруг,
размыл поселок, перелесок;
луч фонаря наискосок
прошел мир влажный и белесый
и в смутных листьях изнемог.
Я понял — сон сей неспроста,

он должен был ко мне явиться —
здесь не способности провидца,
а жажда связи и моста.

И предо мною он восстал.
Его железная верста
в ушедшем времени плыла
и временем самим была.
Моста в росе дымилась фермы,
как уходящие холмы,
и робко шаг я сделал первый
к ступеням, выплывшим из тьмы.
Увиделась вернее мне
постыдность стылого сиротства,
когда, как эхо первородства,
мост раскатился в тишине.

И город впереди синел.
В нем кто-то так по-русски пел,
что я прикинул перевод —
язык все тот же, да не тот.
В нем убегающая тайна,
в нем интонация вольна,
строка легка, как бы случайна,
а потому, как жизнь, верна.
И ворожба забытых слов,
романс цыганский и герани.
И ночь бела. Пустынно. Рано.
И вот я у Пяти углов.

Здесь до Коломенской — рукой,
но не нарушу я покой
уснувшей заполночь родни.
Какие сны глядят они?
А скоро грянут перемены,
и потому заменены
мне от рожденья эти стены
московским бытом и иным.
Но их присутствие всегда
мне ведомо и часто слышу,

как облака волной колышет
и дышит невская вода.

Недаром мост привел сюда.
Есть во вселенной города,
где голоса пыльцу хранит
гранит и просто общий вид.
И песня, лишь коснулся камня,
по улицам ведет меня
и будущим летит недавним
в рассвете канувшего дня.
В чем колдовство ее? Слова?
Черед открытых ветру гласных
В стихе с согласными согласных?
Неужто в сотах мастерства?

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗЛУКЕ

Когда душа со мной прощалась,
Беззвучно плакала она.
Мне принесли друзья вина,
Когда душа со мной прощалась.
А я смотрел в проем окна,
И в нем столица помещалась.
Когда душа со мной прощалась,
Беззвучно плакала она.

Ах, женский плач! Невыносимо.
Я по натуре мягкосерд.
По телу полон, мастью сед.
А вот мой друг похож на мима.
Но строг, в очках, велеречив:
— Пойми, необходим разрыв, —
Он говорил, — все объяснимо:

Есть быт — критичности порог.
С душой своей ты не критичен.
Ты нашим веком ограничен,
С душой в нем душно, видит Бог

А, впрочем, можешь с ней остаться,
Коль трудно с ней тебе расстаться.
Я говорил вам — друг мой строг.

Мой строгий друг открыл вино.
Второй смотрел на свет стаканы,
Насвистывая непрестанно.
Мой строгий друг открыл вино.
Он так серьезен, что смешно,
Но я вышучивать не стану.
Мой строгий друг открыл вино,
Второй смотрел на свет стаканы.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ТУРГЕНЕВСКОЙ ЧИТАЛЬНЕ

Средь уличного шума сентября
о чем ведется разговор
двух старых и убогих женщин?
И желтый тополиный лист,
от дерева бесшумно отделившись, —
я отторжения момент заметил —
с высокой ветки начинает падать.

Медлителен его последний путь
над бронзовой главою монумента,
стоящего в начале сквера.
Комедиограф строг или задумчив,
сжимая в кулаке перчатку,
ослабил ногу в стойке “вольно” —
прогресс в ваянии последних лет.

Две женщины переместились влево,
приблизившись к торцу киоска,
чьи стекла сплошь в журналах полумира,
но их никто не покупает, так как
язык вьетнамский не успел внедриться,
венгерский труден, впрочем, как вьетнамский,
тем более, что истина известна
читателям из собственных газет.

25 марта 1973 года в Ленинграде случилось необыкновенно странное происшествие. В этот день парикмахер Борис Яковлевич Либерман проснулся довольно рано. Голова у него болела нестерпимо, во рту был отвратительный запах, тело ломило. Борис Яковлевич приподнял голову с подушки и попытался вспомнить, где он вчера пил и сколько было выпито.

Надо сказать, что Борис Яковлевич в свободное время подрабатывал на стороне подпольными обрезаниями, а в последнее время в Ленинграде весьма увеличилось число желающих избавиться от крайней плоти. С одной стороны, это было хорошо, потому что Борис Яковлевич стал зарабатывать не меньше Народного артиста СССР. Однако, с другой стороны, слишком частые попойки на обрезаниях стали сказываться на здоровье парикмахера.

Вот и сейчас голова его бесильно упала на подушку, и он сиплым с перепоя голосом простонал: "Похмелиться бы мне, Маня..." Лежавшая рядом Маня неохотно приоткрыла один глаз, мигом оценила обстановку, не говоря ни слова, встала, нацедила в маленький стаканчик предусмотрительно заготовленную водку и, не доверяя супру-

Генрих Элинсон

ЧЛЕН

(ленинградская повесть)

гу, осторожно влила содержимое стаканчика прямо в его широко распахнутый рот. Глотнув, Борис Яковлевич произнес то, что до него в подобных случаях произносили десятки поколений: “Ух, гадость какая, в жизни больше пить не стану!” – хотя прекрасно при этом знал, что непременно станет и при первом же подвернувшемся случае снова напиться как сапожник.

После стаканчика Борис Яковлевич ощутил легкую тошноту и потому прохрипел: “Булочку бы мне, Маня...” Заботливая Маня сунула супругу вчерашнюю городскую булку, страдалец откусил, с трудом проглотил и почувствовал, что тошнота опустилась куда-то до уровня второго позвонка. Он попробовал откусить еще, но тут зубы его наткнулись на что-то плотное и определенно чужеродное. Трясущимися руками Борис Яковлевич разломал булку пополам, и оттуда вывалилась небольшая целлофановая коробочка, в которой что-то было. Борис Яковлевич открыл и коробочку.

В коробочке лежал мужской член.

“Бандит! – не своим голосом закричала Маня. -- Я так и знала, что этим кончится! Алкоголик несчастный! Кончик резать надо, а ты вон – все отхватил! Унеси сейчас же, иначе арестуют за членовредительство!”

Борис Яковлевич лежал ни жив ни мертв. Тошнота у него сразу прошла, и даже голова перестала кружиться. Он все вспомнил. Член принадлежал Самуилу Александровичу Ковалеву, которому он вчера вечером делал на дому обрезание.

Обрезать взрослых Борис Яковлевич не любил. Тут, однако, обещали триста рублей, к тому же – сертификатами с желтой полосой. “Жадность фраера сгубила”, – с тоской подумал Борис Яковлевич, припоминая вчерашний вечер во всех его нехороших деталях.

Сначала ему долго пришлось возиться, примеряясь. Потом Самуил Александрович как-то взвизгнул или даже зарычал, и все было кончено. Затем Борис Яковлевич с друзьями Ковалева пошли на кухню и там, под аккомпанемент ковалевских стонов, доносившихся из соседней комнаты, раздавили первую поллитру. Затем они сожрали все, что было в холодильнике, и принялись за вторую поллитру. Закуски не осталось, поэтому пили под одно маленькое антоновское яблочко. Потом приятель обрезанного, некий Коля, пошел в комнату и о чем-то долго говорил с хозяином. О чем они говорили, Борис Яковлевич не слышал, но некоторое время спустя Коля появился на кухне с довольной улыб-

кой на роже, хлопнул Бориса Яковлевича десяткой по носу и исчез минут на пятнадцать. Вернулся он с двумя поллитрами, хлебом и плиточным шоколадом. Потом они, не торопясь, раздавили принесенный литр, после чего Коля упал на пол и стал проклинать евреев за Христовы муки, другой же гость, фамилия и имя которого вылетели из головы Бориса Яковлевича, клубничным вареньем рисовал на стене кухни магендовиды. Еще один, с совершенно мерзким лицом, по фамилии Кондратов, начал на чем свет стоит поносить Пушкина, гипсовый бюст которого ни к селу ни к городу красовался на кухонной полке. По мере того как Кондратов входил в раж, лицо его становилось прямо-таки неприличным. Под конец он так разошелся, что стал топтать ногами и не в силах более сдерживаться вlepил Пушкину основательнейшую пощечину, от чего тот зашатался, упал с полки и разбился вдребезги, Кондратов же, как помнилось Борису Яковлевичу, долго танцевал какой-то дикий танец на гипсовых осколках врага.

Еще Борис Яковлевич помнил совершенно определенно, что после операции он в комнату Ковалева не входил и к его детородному органу не прикасался. При каких обстоятельствах член Ковалева мог покинуть свое законное место, он понять абсолютно не мог.

Маня меж тем продолжала восклицать, что непристойный предмет должен быть незамедлительно унесен из квартиры и возвращен законному владельцу.

Борис Яковлевич и сам безумно боялся милиции, КГБ, управления и дворников, поскольку за недозволенный промысел мог в любую минуту схлопотать пять лет лагерей. А уж за ампутацию вполне дееспособного органа можно было отхватить и всю десятку. От этой мысли все его тело жутко зачесалось, и он, проклиная водку, Ковалева и самого себя, стал натягивать на себя рубашку и брюки. Шнурки на ботинках не хотели завязываться, и Борис Яковлевич, нецензурно их обругав, не стал возиться, напялил пиджак, завернул коробочку с членом в носовой платок и пулей вылетел из комнаты.

Нужно заметить, что Борис Яковлевич проживал в доме номер 29 на канале Грибоедова, аккуратно напротив моста с грифонами, и потому всегда, даже будучи в сильном подпитии, хоть на минуту, а останавливался, чтобы полюбоваться мостом, решеткой и двумя старыми тополями. Вот и в этот раз он тоже распо-

ложился было постоять, но тотчас вспомнил о предмете в коробочке, воровато оглянулся и быстро зашагал в сторону Невского. По пути попался ему знакомый мясник, с которым пришлось остановиться, перекинуться парой слов, причем мясник почему-то настойчиво интересовался, что у Бориса Яковлевича в платке и не хочет ли он с утра побаловаться пивком. Побаловаться Борису Яковлевичу хотелось, но еще больше хотелось ему избавиться от предмета, и потому, отвязавшись от знакомого, он помчался еще быстрее, перебежал улицу на красный светофор и, завидев на противоположной стороне распахнутые двери Дома Книги, нырнул в них не раздумывая. В доме этом он прежде никогда не бывал, так как книг не любил и не читал, а сейчас ему тем более было не до них, и забежал он сюда исключительно ради своего дела. Перескакивая через две ступеньки крыду, он стремглав поднялся на второй этаж, отыскал взглядом урну в углу, занес над ней руку со свертком и уже разжал было пальцы, как вдруг кто-то сзади сильно хлопнул его по плечу.

– Культурным стал? – спросил незнакомый тип в засаленной спецовке. – Книги покупаешь? А у меня тут рупь и четыре бутылки от шампанского. Добавишь рупь – хватит на полбанки, а?

“Началось! – в отчаянии подумал Борис Яковлевич. – Выследили!” А вслух спросил:

– А ты откуда меня знаешь?

– Да ты же наш! – радостно воскликнул тип в спецовке. -- Скажешь, нет? По глазам видно -- алкаш!

Сказать “нет” Борис Яковлевич положил руку на сердце никак не мог, однако настроения пить у него сейчас совершенно не было.

– Не могу, браток, доверительно сообщил он спецовке. Зашит я, понимаешь? Капля в рот и на кладбище...

– Ну, коли так, хрен тебе в рот, а не каплю! -- в сердцах воскликнул тип.

Борис Яковлевич испуганно поглядел на свой сверток, повернулся и так же стремительно, как вбежал на второй этаж, сбежал с него, постоял какое-то время в дверях, словно бы ориентируясь, куда бежать дальше, и быстрым шагом пошел в сторону Зимнего. По дороге он считал встречных милиционеров, которых оказалось ровно тридцать. Проскочив Дворцовую площадь, он выбежал на мост, но тут вдруг ощутил сильную боль в сердце, остановился, оглянулся для верности, но ничего подозрительного не увидел и,

слегка перегнувшись через перила, с облегчением разжал руку. Сверток со всем содержимым полетел вниз, в темную воду.

— Загрязняем, гражданин? -- неожиданно раздался за его спиной суровый голос. — Ну-ка, предъявим документики...

— Да что вы, товарищ милиционер, — дрожащим голосом воскликнул Борис Яковлевич, -- просто носовой платок выпал...

— Выпал?! — укоризненно произнес милиционер. — Вон как реку загадили...

По воде действительно плыли вперемешку какие-то нефтяные пятна, использованные презервативы, носовой платок Бориса Яковлевича и еще какая-то гадость совсем уж неизвестного происхождения.

— Ну как, штраф будем платить или в отделение пройдем? — спросил милиционер.

Ни денег, ни документов у Бориса Яковлевича с собой не было, из дома он выскочил, как был, без бумажника, в кармане — одна мелочь да сертификаты с желтой полосой. Он понял, что похода в милицию не избежать и ничем хорошим этот поход кончиться для него не может. От этой мысли он опять ощутил сильную боль под левой лопаткой, все перед ним закружилось, и он почувствовал, что падает куда-то в темноту...

Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что произошло далее на Дворцовом мосту, решительно неизвестно.

2

Доцент педагогического института по кафедре русской литературы Самуил Александрович Ковалев тоже проснулся в этот день довольно рано. Едва открыв глаза, он произнес: "Доброе утро!" Подобно многим холостякам Ковалев имел странную привычку разговаривать с самим собой. Он желал себе спокойной ночи, поздравлял себя с праздниками и перед едой желал себе приятного аппетита.

Потянувшись, Ковалев вспомнил, что сегодня ему на работу не нужно и можно, стало быть, подольше поваляться в постели. Ковалев недавно получил новую квартиру в Лигово. Было это у черта на рогах, и в другое время он сильно огорчился бы этим обстоятельством, но поскольку к моменту вселения твердо уже решил эмигрировать на родину своих предков, в государство Израиль, то горевать не стал, а просто махнул рукой. Даже не озаботился, как прочие новоселы, купить для новой квартиры мебель, отчего она так и стояла полупустой, книги, нераспакованные, лежали в ящиках, дожидаясь отъезда, кровать же, в которой возлежал доцент, и кроватью-то назвать было нельзя. Это было, скорее, нечто среднее между диваном

и матрасом, причем пружины этого странного сооружения вели себя самым неподобающим образом, то совершенно проваливаясь вглубь, то, напротив, нахально вылезая из обивки, в результате чего Ковалеву приходилось постоянно маневрировать. Вот и сейчас, проснувшись, он поерзал по кровати в тщетной надежде найти золотую середину между выпуклостями и вогнутостями стропитивого устройства, затем протянул руку к прикроватной тумбочке, пошарил, но, к своему удивлению, ни сигарет, ни спичек не обнаружил. "Странно, — подумал он, — точно же помню, что вчера с вечера все приготовил..." Тут он вспомнил, что вчерашний вечер был особенный. В груди его неприятно екнуло, он мигом забыл о сигарете, и все его внимание сосредоточилось на том участке тела, которым вчера занимался парикмахер.

Хотя Борис Яковлевич предупреждал, что обрезанное место еще неделю-другую будет чувствительным, Ковалев почему-то никакой боли в области паха не ощущал, и это побудило его протянуть руку, дабы обследовать свой детородный орган. Рука, однако, нащупала какую-то подозрительную гладкость. Ковалев потрогал ляжки, колени — все было на месте, но вот между ними, там, где ноги соединялись друг с другом, решительно ничего не было. Ковалев в ужасе вскочил с постели, схватил с тумбочки маленькое зеркальце и, широко раздвинув ноги, всмотрелся. Зеркальце отражало полнейшую пустоту...

Обнаружив пропажу, Ковалев впал в некое странное оцепенение и почему-то ни к селу ни к городу процитировал, перевирая от волнения, из Мандельштама: "Там, где эллину сияла красота, мне из черных дыр зияла пустота..." Затем он в отчаянии завыл. Выл он громко и долго, включая в вой какие-то слова, разобрать которые было уже совершенно невозможно. Кончив выть, он швырнул зеркальце на пол, выскочил на кухню, закурил чинарик, увидел разбросанные бутылки и начал сливать из них остатки. Остатков набралось на четверть стакана. Сморщившись так, будто он принимал цикуту, Ковалев выпил, крикнул, но странно — на сей раз водка не принесла ни радости, ни забытья. Ковалев встал, пошел в ванную, сорвал со стены зеркало, поставил его между колен и принялся внимательно изучать место, где еще накануне у него красовались положенные гениталии.

Увиденное почему-то напомнило Ковалеву, человеку литературному, чье-то давнее пророчество: "Быть Петербургу пусты." Единственное, что осталось от его мужских достоинств, была едва заметная дырочка в межножном пространстве. "Хорошо хогь, через что писать оставили, — подумал он, несколько даже как бы успокаиваясь. — И на том спасибо."

Возможность эта, хоть и не утешила его полностью, но, по крайней мере, отвлекла от мыслей о неизбежной смерти ввиду задержки мочи. Не сходя с унитаза, он с удовольствием осуществил эту возможность, с грустью подумав при этом, что от других, связанных с тем же местом удовольствия теперь придется, видимо, отказаться.

Надо сказать, что упомянутые удовольствия занимали в его жизни небольшое место. Проще говоря, Самуил Александрович был большим бабником. Другие главные удовольствия его жизни были — выпить в хорошей компании и там же поругать советскую власть. Не чужд он был также и чувств более возвышенных, как-то любви к литературе, а также живописи.

ваянию и зодчеству. Однако любовь к литературе постепенно исчезала, по мере того как он ее преподавал, что же касаясь ваяния и прочего, то, по совести, они интересовали его как прошлогодний снег, а любил он эти слова за их звучность и внушительность.

Так бы и катилась его жизнь по ухабам случайных встреч и попок, если бы в последний год не обрела иную, более возвышенную и ясную цель — выехать на историческую родину и написать там эпохальный роман. О чем будет роман, он твердо не знал, но был уверен, что это будет роман, от которого изумленные народы долго не смогут прийти в себя.

Время было такое, что уезжали все: писатели, художники, инженеры, парикмахеры, евреи и даже неевреи. Между тем Самуил Александрович имел к еврейству несомненное, хотя и весьма запутанное отношение — настолько запутанное, что и сам его до конца не понимал.

Дедушка его, Лазарь Мордкович Ковалевич, кончивший в 1911 году Санкт-Петербургскую консерваторию по классу профессора Преображенского, имел глупость влюбиться в дочку профессора и просить ее руки. На это старик Преображенский ответил, что лучше он выдаст свою дочь за самоеда, нежели за жида. Напрасно дочь рыдала и топала ножками — старый антисемит оставался непреклонен. Пришлось Лазарю забежать однажды в церковь, откуда он вышел уже Ковалевым, Сергеем Сергеевичем, православным, что позволило ему заполучить мадемуазель Преображенскую. Профессора этот мезальянс тем не менее свел в могилу, куда, впрочем, ему давно уже было пора — к тому времени за ним числилось больше сочиненных симфоний, чем за Гайдном, и он уже впал в глубокий кризис.

После революции Сергей Сергеевич стал заведующим кафедрой музыковедения и крупнейшим специалистом по творчеству великого русского композитора Преображенского, старший же его сын, Александр, женился на славной русской девушке Вере, родил сына Самуила, кончил летное училище и в 1941 году погиб в боях под Ленинградом. Когда пришло время получать паспорт, Самуил, естественно, записался русским, о чем до 1973 года не имел случая пожалеть.

Теперь, однако, задумав эмигрировать, Самуил Александрович составил четкий план избавления от ненужной уже русскости, в котором вчерашнее обрезание было первым этапом. И вот...

“Боже мой, я же просил обрезать, а не срезать! — в тоске думал Ковалев. — У, гнусный парикмахер! У, жидовская морда! Я ему сертификаты, а он мне — дырочку?”

Вспомнив о дырочке, Ковалев снова впал в бешенство и сгоряча даже разбил бутылку, чего запасливый человек никогда не делает. Сообразив это, он перешел на тарелки и стаканы, но занятие это не принесло ему никакого удовлетворения, и посему он сел на табурет и начал думать.

Мысли в голову приходили какие-то странные — то ли пожаловаться на случившееся в комиссию ООН по правам человека, то ли известить иностранных корреспондентов о новой преступной акции КГБ, то ли просто пойти и убить гнусного парикмахера. Но он понимал, что члена это ему не вернет, а делать что-то было необходимо.

Наконец он нехотя натянул рубаху и брюки. В брюках ощущалась непривычная пустота в районе ширинки. Он надел пальто и шляпу, глянул

на себя в зеркало в передней и с огорчением подумал, что вся его излюбленная прежде элегантность отныне ему не нужна. К чему теперь с таким трудом добытые японские перчатки и финский зонт, если нет главного?! Он медленно запер дверь и стал спускаться по лестнице со своего девятого этажа, на каждой площадке останавливаясь и хватаясь дрожащей рукой сначала за то, чего уже не было, а затем за сердце.

“Что делать, как жить? — в отчаянии думал он. — Говорят, на Западе сейчас многие сами себе добровольно отрезают, чтобы переделаться в женщину. Может, и мне...” Но тут он представил себя в мехах, с большой грудью и искусственным влагалищем, и ему вообразилось, как два здоровенных негра пытаются его изнасиловать. Он кричит, но все проходят мимо. Потом он почти физически почувствовал, как что-то входит в него спереди и сзади одновременно, и у него началось безудержная рвота.

— Уже и евреи пить начали, — сказала какая-то проходившая мимо тетка. — Ты чего ж это с утра набрался, милый?

Но Ковалев ее и не слышал. “Надо бы кофе выпить, — думал он, — совсем я ослаб...”. Ноги сами свернули к знакомому кафе, омерзительно отделанному снаружи в красный пластик и крикливо лакированное дерево. Внутри тоже было удивительно безобразно. Колченогие стулья-модерн едва держались, готовые упасть от любого нечаянного прикосновения, а столы были залиты, загажены и завалены грудами грязной посуды.

Ковалев получил от буфетчицы свою порцию коричневатой бурды, взял дрожащей рукой ромовую бабу и пошел к пустому столику. Но тут взгляд его упал на сидевшую в стороне славную попку с курносим носом и рыжими волосами, и он по давней укоренившейся привычке свернул к ней и так же автоматически осведомился:

— У вас свободно?

— Садитесь, — ответила попка, не выражая интереса.

Забыв о своей утрате, Ковалев машинально проделывал все действия, положенные при осаде объекта. У него была своя, довольно простая, но безукоризненно действовавшая метода. Отпив глоток, он достал из кармана паркеровскую ручку, блокнотик и начал что-то писать. Не прошло и минуты, как попка спросила:

— Вы писатель?

-- Литературный критик, — скромно ответил доцент.

На лице рыженькой обозначилось легкое разочарование. Ковалев знал, что попки предпочитают писателей и поэтов, но врал всегда с определенным приближением к правде.

— Но я член Союза писателей (это работало наверняка) и профессор института (доцент, профессор — велика ли разница?!).

Теперь рыбка сидела на крючке, и Ковалев уже было приподнялся, чтобы со старомодной, как ему казалось, учтивостью. “Не хотите ли еще кофе?” — сходить за двухгрошовой бурдой, как вдруг нечаянно коснулся рукой ширинки и, ни слова не говоря, пошел прочь. Девушка ошалело сказала ему вслед: “Ну и развелось же психов!” — но он уже не слышал, быстрым шагом направляясь в сторону общественного телефона. Услышав “але?”, произнесенное вкрадчивым мужским голосом, он попросил позвать к телефону парикмахера Бориса Яковлевича

— Его нет, — ответил голос. — Скоро ли будет? Не думаю. А вы, собственно, по какому делу?

— Да так, чепуха... А можно ли попросить его супругу?

— Нет, и супругу нельзя...

— Простите, с кем имею честь? — поинтересовался доцент.

— "Честь"? — повторили на другом конце провода. — Ишь, культурный какой...

"Мусор!" — сообразил Ковалев.

— Вы оставьте телефончик, вам позвонят, — предложил голос.

"Уж конечно, позвонят!"

— Передайте, что звонил Платонов, Андрей Трофимович. Я тут подарочек получил от дяди из Лондона, хотел показать...

Заведующий кафедрой литературы Платонов был большой негодяй и действительно имел в Лондоне дядю. От проделанной подлости настроение Ковалева слегка даже как бы улучшилось, и он от удовольствия потер руки: "Замели парикмахера, шмон у него..." Затем, однако, грусть и тоска снова взяли свое. Ковалев бессмысленно побродил около телефона, но звонить было решительно некуда, и он вышел из кафе. На стоянке такси стояли человек пять с хмурыми, озлобленными мордами — видно, давно ждали. Ковалев плюнул и побрел к электричке. Народу, как всегда в эти часы, было не протолкнуться, он с трудом влез в вагон, по обычаю огляделся и, приметив полненькую девицу, стал разворачиваться, чтобы прижаться к ней всем прикладом, что раньше всегда его развлекало. Сейчас, однако, едва начав пристраиваться, он снова вспомнил, что прижиматься ему, собственно, нечем и незачем, и на него опять нахлынула тоска. "Что делать, что делать?" — думал он, трясясь в такт вагону.

Ответа не было. Электричка вяло тащилась в канаве между отвратительного вида сборным домом и бессмысленным загаженным пустырем.

3

В прежние времена Самуил Александрович обожал в свободное время фланировать по Невскому, неизменно заходя по дороге во все магазины, особенно же в Гостиный двор, по периметру которого можно было не торопясь гулять целый час, да еще при случае купить что-нибудь дефицитное. Вот и сейчас он по привычке вошел в Гостиный, подошел к отделу галстуков, но обычного возбуждения не ощутил, а только тупо, без всякого интереса уставился на прилавок.

— Глянь, Вась, во как хуй вырядился! — вдруг услышал он у себя за спиной.

Ковалев живо обернулся, и в глаза ему бросился быстро шагавший к обувному отделу некто в розовом замшевом пальто и желтой ковбойской шляпе. Сердце у него заколотилось.

В шагавшем Ковалев безошибочно признал свой сбежавший член.

Расталкивая стоявших у прилавка, он стал пробираться к обувному. Его неведомо каким образом сбежавший член уже стоял там, окруженный

продавщицами, которые тотчас бросили своих покупателей и все как один сбежались к нему. Член что-то спрашивал у них по-английски.

“Английский он знает!” — удивился Ковалев, который сам английский знал туговато. Выждав, когда член отошел от прилавка, он бросился к нему и произнес с трудом заготовленную английскую фразу:

— Эксскюз ми, бат ай синк, зет ю ар май оун кок!

— Ар ю крейзи? — возмутился член.

Ковалев израсходовал почти весь свой английский запаси потому вынужден был перейти на отечественный:

— Но я рекогнайзд ю с первого взгляда, ю ар май кок, плиз, вернитесь на свое место, имидетли, я требую!

Член начал оглядываться по сторонам, на лице его изобразился испуг:

— Ю ар крейзи! — крикнул он. — Ол оф ю ар крейзи, факен Раша, гоу аут оф хир, ю дерти бастард!!

И с этими словами он с такой силой толкнул бедного доцента, что тот упал и метра три проскользил по камням на заднице. Член тем временем смешался с толпой. Ковалев метнулся налево, направо — нигде, что называется, ни хуя. Выскочив на Перинную, он схватил проезжавшее такси:

— Гони, прямо, как увидишь хуя такого, в розовом пальто — остано-
вись!

Шоферюга вылетел на Невский, но розового пальто и след простыл.

— Давай к “Астории”! — крикнул Ковалев. Ему почему-то вдруг показалось, что такой шикарно наряженный член должен непременно обитать именно в “Астории”.

— Жди тут! — сказал он, когда такси остановилось, кинул шоферу десятку и вбежал в вестибюль.

— Хуя моего не видели? — задыхаясь, спросил он у администратора. — В розовом пальто, в желтой шляпе? Не у вас живет?

— А ну, вали отсюда! — рявкнул администратор. — Набрался с утра, 15 суток хочешь схлопотать? Ишь, выдумал — розовый хуй в шляпе. Сам ты хуй в шляпе!

Ковалев выбежал на площадь и опять кинулся в такси:

— На Литейный, к Большому дому!

— Даты с органами заодно, что ли? — угрюмо осведомился шофер.

— С какими там органами! — махнул рукой доцент. — Без органа я, понял? Ни хуя нету...

И он заплакал, размазывая слезы по небритому лицу.

Пять минут спустя доцент уже входил в бюро пропусков Управления внутренних дел Ленинграда и Ленинградской области.

— Вам к кому? — спросила девица в милицейской форме.

— Все равно, — ответил Ковалев. — Лишь бы скорей. У меня дело чрезвычайной важности.

— Присядьте, вас вызовут, — сказала девица, беря у него паспорт.

Ковалев сел в неудобное, согнутое из стальных труб кресло и задумался. Мысли его были какие-то путаные и невнятные.

“Суета сует, — думал он, — все суета сует... Ну, не буду заниматься этим делом, подумаешь! Все равно помирать. Но как же, интересно, он сбежал, да еще английский так быстро выучил... И одет так странно. А может, это

белобрысая из Ленпроекта все на меня наслала? Я ведь ей жениться обещал... А как жениться, если она морду бреет? То-то она перед Новым годом звонила, мол, я ее еще припомню. Не иначе как она! Может, позвонить ей, спросить по-хорошему? Если отдаст, так можно и жениться... Подумаешь, бреется — я и сам бреюсь...”.

— Вас ждет подполковник Урин, — сказала девица в форме. — Второй этаж, комната 16.

Лицо подполковника сильно напоминало истуканов с острова Пасхи. Но Ковалев он встретил приветливо:

— Садитесь, товарищ Ковалев, садитесь. Мы вас уже давно ожидаем. Рассказывайте?

— Что рассказывать-то? — тупо спросил доцент.

— Все! — сказал подполковник. — Органам все известно. И как вы за иностранцем по Гостиному двору гонялись, и как на такси по всему городу ездили, и как в “Астории” с администратором разговаривали. А вчера, если помните, парикмахер-еврей вам обрезаныице делал, не так ли? Спрашивается, зачем русскому человеку, члену партии, доценту ведущего вуза — обрезание? Кстати, покажите-ка мне ваш партбилет?

— Это еще зачем? — спросил Ковалев. — Впрочем, пожалуйста. Только дело не в этом. Член у меня сбежал, товарищ подполковник, да не просто сбежал, а раздобыл где-то дефицитную замшу, научился тренькать по-английски и под видом иностранца имел наглость разгуливать по Гостиному двору! Я его пытался на место поставить, так он меня же и оскорбил действием, хуй этакий, причем, не важно, а только, может, вы бы могли объявить всесоюзный розыск, товарищ подполковник?

Подполковник протянул Ковалеву его партбилет:

— Поздравляю, товарищ Ковалев: в трудный для себя момент вы сумели сберечь самое главное...

— Да вот именно что главное-то я и не сберег! Уже было поймал, так хуй этот опять у меня из рук вырвался. Так как насчет всесоюзного розыска, а, товарищ подполковник? Для чего вы, собственно, существуете?

— Гражданин Ковалев! — Урин оскорбленно поднялся. — Не вам объяснять мне, для чего существуют наши доблестные органы! Уж во всяком случае не для того, чтобы искать ваши сбежавшие члены, а затем, чтобы, являясь членом нашей партии, которая партия есть наша путеводная звезда, во всех своих действиях соотноситься с ее руководящими указаниями, в каких-то указаниях никаких указаний на ваш случай не имеется, чтобы за всяким хуем гоняться, да еще, понимаешь, с пятым пунктом. Пусть вашим членом, гражданин Ковалев, Шинбет занимается, если хочет, но должен вас предупредить, что, если ваш сбежавший орган будет проявлять себя антисоциально — хулиганить, скажем, или еврейский язык изучать помимо разрешения облоно, можете не сомневаться — мы этого хуя выведем на чистую воду! А теперь отвечайте: зачем вы ему сделали обрезание?!

— Обрезание делал не я, а парикмахер Либерман Борис Яковлевич. А делал он его, чтобы удалить крайнюю плоть согласно Моисеевым законам.

— Вы что — жидовствующий?

— Нет, я просто еврей и хочу уехать на историческую родину.

— Но, позвольте, по паспорту вы — русский!

— Ну и что? Ленин по паспорту тоже был русский, а дедушка у него был Бланк...

— Вы Ленина не трогайте, гражданин! — прикрикнул Урин.

Ковалеву вдруг стало бесконечно скучно.

— Я хочу сделать заявление, — сказал он, — и прошу его протоколировать...

— Делайте ваше заявление, — сурово сказал Урин, — а что протоколировать, это уж мне решать...

— Я, Ковалев, Самуил Александрович, — начал доцент, — в январе прошлого года познакомился с гражданкой Евсеевой А. П., работающей в институте Ленпроект на должности старшего архитектора. Через 24 часа после знакомства я пригласил вышеупомянутую гражданку в молочное кафе "Ленинград", где мы съели два фруктовых супа, два омлета и взбитые сливки на двоих, после чего я взял такси, и мы поехали ко мне на квартиру по адресу: проспект Ветеранов, дом 14, квартира 15. Войдя в квартиру, я расстелил кровать, после чего я и гражданка Евсеева сняли одежду и вступили в половую связь. Не желая углубляться в физиологические подробности, скажу, что поведение упомянутой гражданки в постели произвело на меня такое впечатление, что я немедленно предложил ей вступить в законный брак, на что она без долгих раздумий согласилась. После чего мы заснули, а когда, проснувшись, я пошел в совмещенный санузел, то увидел, что гражданка Евсеева стоит перед зеркалом и моей электробритвой "Филлипс" бреет себе усы. Я тут же сообщил гражданке Евсеевой, что по понятным причинам вынужден отказаться от брака, на что упомянутая Евсеева мне ничего не ответила, но впоследствии звонила мне на работу и угрожала отомстить...

— Какого черта вы несете? — перебил Урин. — Ну, угрожала вам эта дура, из этого?

— А то, — вскипел Ковалев, — что в результате я потерял свой детородный орган!

— Слушайте, идите вы со своим органом знаете куда?!

— Никуда я со своим органом идти не могу именно по причине отсутствия такового, — впадая в протрацию, ответил Ковалев.

— Да не морочьте вы мне голову со своим хуем! — взорвался подполковник. — Вы, гражданин Ковалев, ведете опасную игру с органами! Извещаю вас, что парикмахер Либерман уже арестован и находится под следствием по обвинению в незаконном промысле, нарушении закона об отделении церкви от государства, спекуляции и связях с агентурой мирового сионизма! А вы, гражданин Ковалев, будете не только свидетелем по этому делу, но не исключено, что и сами попадете на скамью подсудимых за умышленное членовредительство!

Голос Урина доносился до Ковалева как бы издали, и смысл его слов становился все более и более непонятным. "За что? — в отчаянии думал доцент. — Почему я? Что я такого сделал? Ну, женщин менял, ну, врал, так кто же без греха, почему именно меня, в расцвете сексуальной и прочей жизни?! Если это Бог, почему он Сталина и Гитлера не наказал? И потом

я же неверующий, меня Бог не может наказывать, это вне его юрисдикции. Ну, пусть Бог, тогда как же он может отнимать то, чем размножаться, ведь он же сам велел плодиться и размножаться, а как без этого плодиться будешь? Нет, это не Бог, это сатана, как у Булгакова, сатана с помощницей, потому и брилась она, как было сразу не понять, надо было плюнуть три раза через левое плечо, сгнула бы, как призрак... призрак бродит по Европе... я бы тоже по Европе побродил... теперь хуй поброжу... да нет, хуй-то как раз и будет бродить... он теперь не просто хуй, а иностранный турист... интересно, как его теперь зовут... мистер Кок, наверно... или мистер Прик?.."

Ковалев уже не видел, как в комнату вошли двое долдонов в белых халатах, как подполковник тыкал в него, Ковалева, пальцем, как долдоны взяли его под мышки и повлекли к санитарной машине вниз. Очнулся он только на углу Лиговки и Обводного канала, когда его извлекали из машины.

"В психушку привезли, — равнодушно подумал он. — Жаль, что не на Пряжку. Там все-таки Гаршин лежал, и Блок жил поблизости". Самуил Александрович любил литературные реминесценции.

Санитары, как две шлюхи, вцепились в него и потащили к двери. Ковалев шел не сопротивляясь. Он смутно помнил, что у него пропало что-то важное, но что именно — никак не мог припомнить...

4

В больнице его сперва отвели под душ, а затем в палату, где сестра сделала ему укол. После укола на него снизошло почти божественное спокойствие, и он заснул, а во сне увидел себя в тунике и с посохом в руке, стоящим на высоком холме, у подножия которого белел маленький храм с колоннами. "Я в Греции, — подумал он. — Интересно, что я делаю в Греции?"

Утром сестра разбудила Ковалева и сказала, что его ждет доктор Постников. Ковалев встал, направился в уборную, в странном раздумье постоял там над писсуаром, но так ничего и не решив, зашел в кабинку и там пописал на дамский манер. Он опять вспомнил, что накануне жаловался на какую-то пропажу, но что потерял — не помнил и вспоминать было некогда — его ждал врач.

Войдя в кабинет, Ковалев приятно удивился — оказалось, что доктор Постников это его давний знакомый и собутыльник Володька Постников. Володька, увидев его, намекаяще приложил палец к губам и нервно потер руки. Привычка потирать руки появилась у него после того, как жена застучала его на даче с медсестрой и сгоряча врезала кочергой по черепу.

— Больной, то, что мы с вами встречались, никоим образом не может отразиться на наших профессиональных отношениях, — строго сказал Постников и пальцем указал на каждый из четырех углов кабинета, намекая на подслушку. Затем он быстро вытащил из стола бутылочку спирта и две мензурки, ловко разлил, протянул одну мензурку Ковалеву и произнес популярный тост: "Чтоб они сдохли в страшных мучениях!" Выпив, он открыл новенькую, с иголки, историю болезни и скучным голосом спросил:

— Ну-с, на что жалуетесь?

Ковалев тоже выпил и вдруг все вспомнил:

— Володя, у меня вчера пропал член!

— Кастрационный комплекс, Фрейд в чистом виде, — пробормотал Постников. — Надо будет пригласить Мяснищева. Что еще?

— Тебе этого мало?! — возмутился Ковалев.

— Ну, это как у кого, — ответил Постников. — А почему ты решил, что он пропал?

— Так я же его своими глазами видел в Гостином! И другие видели! Глянь, говорят, на этого хуя в розовом пальто!!

— Вот что, Сема, давай уточним терминологию, — сказал Постников. — Глянь в окно. Видишь, там вон — хуй в ватнике околачивается? Это наш водопроводчик, пьян с утра в стельку. Ты такого хуя имеешь в виду?

— Володя, дорогой, это же хуй, так сказать, фигуральный, а я о своем собственном говорю. Тот хуй в розовом был настоящий, понимаешь!!

— Знаешь что? — предложил Постников. — Ты тут приляг, а я нашего уролога позову, он тебя посмотрит...

Вскоре он вернулся с низеньким человечком в белом халате.

— Гурвич, Юлий Абрамович, — представил он низенького.

Гурвич подошел к раковине, долго мыл руки. Постников подмигнул Ковалеву:

— Комплекс Пилата!

Затем Володька снова достал спирт и мензурки — на этот раз три, разлил, и все выпили еще по одной, хором крякнули, а Гурвич к тому же утерся рукавом халата.

— Закуски нет? — спросил он.

— Только седуксен, — сказал Постников.

— Ну, седуксен разве закуска! — сказал Гурвич и еще раз вытер губы рукавом. — А вы бы, больной, пока сняли бы кальсоны, что ли...

Ковалев поспешно стянул казенные кальсоны.

— А как у вас с простатой? — спросил Гурвич.

— Ах, доктор, не до простаты сейчас!

— Не скажите, любезнейший, не скажите! С простатой вы кто? Мужчина.

А без простаты? Импотент.

— Потерявши член, о простате не плачут... — попытался сострить Ковалев.

— Это еще как сказать! — не успокаивался Гурвич. — Ну-ка, посмотрим, что там у вас...

И Юлий Абрамович заглянул туда, где по всем анатомическим правилам должен был находиться пенис.

— Гм, Володя, подойди-ка на минутку! Ты что-нибудь видишь?

Постников тоже присел, заглядывая:

— Ни хуя, извиняюсь... Странно!

— Да вы не беспокойтесь, — сказал Гурвич. — Простата у вас, я смотрю, нормальная, а член — пустяки, на Западе сейчас можно купить искусственный, не хуже настоящего, говорят...

— А новый пересадить нельзя? — с надеждой спросил Ковалев.

— Где ж его взять, новый? У себя, что ли, отрезать? И вообще, это вам не пуговица, ниткой не пришьешь. Я тут бессилён, Володя, я умоваю руки...

— Да вы ж их уже мыли, доктор! — вскричал Ковалев. — Может, лекарство какое?

— Вы мне надоели! Член регенерировать никакое лекарство не может, человек — не ящерица...

— Но как, как это могло случиться?!

— А это уж вам знать! Я не сторож вашему члену. Следить нужно было. Страна-то какая — каждый норовит что-нибудь стащить... Да вы не унывайте. Героев почаще вспоминайте: Гастелло там, двадцать шесть бакинских комиссаров...

Гурвич вышел. Ковалев с тоской посмотрел на Постникова:

— Володя, скажи что-нибудь...

— Да что тут скажешь? На нет — и суда нет...

— А я еще в Израиль собирался...

Постников опять приложил палец к губам и увлек Ковалева за собой в служебный сортир.

— Тут не подслушивают... Я тебе вот что хотел сказать: ты действительно поезжай-ка побыстрее в Израиль, а то они тебя тут по кусочкам всего разберут!

— Кто "они"?

— Да ты разве не понимаешь? Это все КГБ, это их почерк. Сегодня они у тебя хуй, завтра у меня печень. Отваливай, брат, пока не поздно. Будешь в Париже — положи от меня букет на могилу Врангеля, ладно? Я бы и сам, да не могу, со всех сторон новгородский, брат на секретной работе, папаша на подлодке, мамаша — парторг, жена в исполкоме, повязали, суки, со всех сторон, а тут скоро такое начнется, помяни мое слово, в восемьдесят четвертом, как Орвелл писал. Ты еще легко отделался, и забот меньше, о бабах думать не надо, есть хуй, нету — все один хуй. А там тебе, может, и вставят какой-нибудь робот заместо члена, у них инженерная эта генетика на высоте...

Постников пожал Ковалеву руку, отвел в регистратуру и велел выписать.

5

Ковалев вышел на Лиговку как бы окрыленный новыми надеждами. Свернул налево в сторону Лавры, прошелся под Американскими мостиками, вышел к Монастырке, зашел в Собор, прочитал свою любимую могильную надпись "Здесь лежит Суворов", вспомнил, что русские прусских всегда бивали, сел в троллейбус и поехал на улицу Желябова, в ОВИР.

В ОВИРе он потолкался среди евреев, которые говорили о каких-то ульпанах и еще о городе, в котором Ковалеву всегда хотелось жить и умереть. "Это хорошо, — подумал Ковалев, — Гоголь вот тоже жил в Риме". Ковалев решил, что завтра же начнет соби-

рать документы для отъезда. Тут же на Желябова он зашел в столовку, с аппетитом съел омерзительный шашлык из печенки, вернулся домой, нашел в одном из ящиков книгу Муратова об Италии и начал ее изучать. Горечь утраты почти покинула его. В мечтах он уже ходил по вечному городу. Из этих мечтаний его вырвал звонок в дверь. Ковалев глянул на часы — было без четверти одиннадцать. Он нехотя встал, спросил через дверь:

— Кто там?

-- Милиция...

Доцент открыл дверь. На пороге стоял человек внешности самой маловыразительной, но в милицейской форме.

- Вы изволили затерять свой член? — спросил человек.

— Так точно!

- Он найден, -- и милиционер протянул Ковалеву нечто, завернутое в платок. — Перехватили у самолета, отлетавшего в Нью-Йорк, с подложными документами на имя Коэн. Таможенники приняли его было за иностранца, но, взглядевшись, распознали в нем хуя и даже, простите за выражение, не иностранного, а нашего в доску хуя. Подполковник Урин лично завернули в платок и велели немедля везти к вам...

Ковалев рассыпался в благодарностях и спросил милиционера, не хочет ли он по такому случаю выпить. Милиционер отговорился служебными обязанностями, однако полсотни от Ковалева принял. Закрыв за ним дверь, Самуил Александрович, дрожа от нетерпения, развернул платок, достал член и попытался тотчас водворить его на положенное место. Член, однако, ни в какую не хотел держаться. Провозившись минут сорок, Ковалев в сердцах швырнул член на пол и побежал вниз звонить по телефону.

Он дозвонился до Постникова, который, обругав его за поздний звонок, все же сообщил телефон уролога Гурвича. Заспанный Гурвич отозвался не сразу, долго ругался, но потом согласился приехать за три сотни и ни копейкой меньше.

Появился он через час.

— Вот, доктор, нашелся! — показал ему Ковалев новообретенный член.

- Так вы меня за этим позвали?! — Гурвич наливался кровью. -- На нитках я вам его пришью, что ли? Или, может, на клею поставить? В общем, гоните три сотни, а член свой можете засушить и внукам показывать... Впрочем, внуков у вас, как я понимаю,

не будет! Нате вам три таблетки седуксена и ложитесь лучше в постель, меня провожать не нужно, я не девушка...

Убитый Ковалев едва добрался до постели, проглотил седуксен и через секунду уже спал. Ночью ему ничего не снилось. Проснулся он со страшной головной болью. Он встал, пошел в уборную, спустил трусы и увидел, что за ночь его член сам собой вернулся на прежнее место.

— Чудеса... — сказал Ковалев. Но почему-то ни удивления, ни радости он не испытал.

Лондонское издательство OPI

Михаил Восленский

Номенклатура

Предисловие МИЛОВАНАДЖИЛАСА

Автор — в прошлом номенклатурный работник — исследует историю создания господствующего класса Советского Союза, то есть номенклатуры, обнаруживает ее структуру, рассказывает о несравнимых привилегиях и благополучии «власть имущих». Большой интерес представляет анализ связей между политбюро, ЦК КПСС; армией и КГБ. «**Номенклатура**» была издана на многих языках мира, но только настоящее первое русское издание доведено до «эпохи Черненко».

580 стр., 12 ф. ст.

Сергей Мельгунов

Как большевики захватили власть

Вступительная статья МИХАИЛА ГЕЛЛЕРА

Очевидец и историк в одном лице, Мельгунов излагает события с августа по октябрь 1917 года. Содержание книги очень точно выражено в ее заглавии. Книга написана легко, просто и, одновременно, на высоком профессиональном уровне, с использованием всех доступных автору документов. Интересна даже библиография, в которой огромное количество книг и статей, не упоминаемых советскими историками. Совершенно незаменимый труд известного историка (репринт).

390 стр., 8 ф. ст.

ВО ВСЕХ РУССКИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

**OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE Ltd.
8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, ENGLAND.**

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Когда речь идет о движении протеста в израильской культуре, связанном с особым местом выходцев из стран Востока в обществе, необходимо сделать оговорку. Восточное еврейство, как и любая человеческая масса, очень неоднородно. Его творческая прослойка неоднородна еще более. Есть интеллигенция традиционного толка, связанная с религиозными кругами, есть арабизированная среда, выросшая на почве культурного обновления в Ираке, Ливане, Египте и Сирии тридцатых-сороковых годов, есть технократы и лица свободных профессий.

Шломо Бар, композитор, и Нафтали (Нафи) Салах, режиссер, которых мы представляем читателю, не принадлежат ни к тем, ни к другим. Они появились на специфически израильской почве, в гуще конфликтов и противоречий, разочарований и человеческих трагедий. Оба приближаются к сорока годам, но выражение "дор-а-медина" (поколение, выросшее при Государстве"), относящееся к их сверстникам из ашкеназийской среды, к ним не применимо. Оба должны были решить дилемму "своя страна, чужое государство", и каждый выбрал свой путь. Для Бара — это ценности религии и мелос синагогального пения в соотношении с общей музыкальной культурой Востока. Для Салаха — это полемически заостренные общечеловеческие ценности и театр кварталов бедноты. И тот, и другой — авангард восточного еврейства, только начинающего пробуждаться к самостоятельному культурному и социальному творчеству. Оба стоят в оппозиции к "истеблишменту" как в вопросах культуры, так и в отношении того, каким должно быть еврейское государство. Оба зна-

Кирилл Тынтарев

ДВЕ БЕСЕДЫ

ют цену слепой межэтнической розни и, может быть, поэтому вызывают подозрение и в глазах сторонников мести за "трагические пятидесятые", и в глазах прекраснодушных из израильской "сытой левой". Но самое главное — нельзя себе представить израильскую культуру без них обоих.

П.С. Готовя эту подборку, я обнаружил у себя сделанный давно перевод стихотворения популярного сефардского поэта ("сефардского Асадова", по меткому определению одного из знакомых), которое, на мой взгляд, может служить эпиграфом к словам Ш. Бара и Н. Салаха.

Эрез Битон

ЗАМЕТКИ К БЕСЕДЕ

Что значит быть аутентичным?
Бежать по Дизенгоф,
на марокканском диалекте крича
"Ана мин эт-Магрэб"?*

Что значит быть аутентичным?
Сидеть в 'агале или зарбийе**
И заявлять, что звать тебя Зайш,
а Зогар — это так..?

И все же до трещин в деснах
живет в тебе речь иная
И все же запахи детства
могут лишить рассудка
И на каком диалекте
В месиве голосов выжить?

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

"Много истин, непреложных десять лет назад, сегодня устарели. Сегодня мы на пороге духовного кризиса, одного из самых серьезных в еврейской истории. Он не замедлит прийти, если мы не найдем ту золотую середину, которая объединит нас всех. И только тогда наше искусство будет действительно нашим. Иудаизм — это Восток. Мы получили Тору на горе Синай, а не в Восточной Европе, ничего не поделаешь. Здесь, в Израиле, иные свет и тень, не-

* *Я маггрибинец*

** *Род одежды.*

жели в других местах. Я хочу, чтобы наше искусство отразило движение, свет и тень этой земли”.

Это говорит Шломо Бар, композитор, певец и страстный проповедник культурной революции, направленной на ориентализацию Израиля, на сближение культурного облика страны с облегающим ее со всех сторон Востоком. Многие слушатели Шломо Бара говорили мне, что его музыка — это след и тоска по музыке левитов в Соломоновом Храме, свидетельство о Мессии. Как бы то ни было, Шломо чувствует себя воином против “ситра ахара”*, пытаюсь соединить и воссоединить вещи в нашем разобленном мире, увидеть то, что открывается за пределами зрения. Мы пьем хороший кофе и по-израильски жидковатый чай на веранде у Шломо, немного общники, немного враги, как все в этом районе, от Касабланки до Бухары, и я слушаю его сентенции, иногда мудрые, иногда высокомерные, иногда наивные, которые он уже не раз пытался преподнести журналистам с переменным успехом.

“Когда сталкиваются две очень непохожие культуры, и одна группа говорит другой: “Хочешь со мной соревноваться? Соревнуйся же в том, в чем я сильна!” — я отвечаю: “А почему ты не хочешь соперничать в том, что знаю я?” Ведь это то, что произошло. Когда приехали евреи Востока, их не спрашивали, хотят ли они эти правила игры. А ведь демократия — только игра. Она не на стороне правды, она на стороне силы. Если у тебя деньги и сила — правда твоя. Ничего не поделаешь.

Я не изучал сионизма. Сионисты создали государство, и сионизму мы обязаны своим физическим существованием. Но сегодня мы должны одухотворить его содержание и не отступаться от духовности. Евреи Европы пережили ассимиляцию. Они пытались уподобиться христианам, и у них ничего из этого не вышло. Мы, на Востоке, никогда не переживали подобной травмы. Мы всегда могли оставаться евреями, и отношение наше с арабами было нормальным. Нам не надо было изменять отцам и дедам, чтобы прийти в страну Израиля. Напротив, это наши отцы привели нас сюда.

Я думаю, что еврейство Востока, его мистическая верность стране, дали Израилю больше, чем любая идеология, любые “измы” и сионизм в том числе. Я говорю о естественной верности еврея, идущего в свою страну навстречу судьбе, навстречу Мессии. Чего же мы хотим? Быть не хуже американцев? Мы не хуже и не лучше, мы другие”.

* *Ситра ахара* (арам. — другая сторона) — кабалистический термин, обозначающий сгущение областей Вселенной, куда не проник божественный свет.

Иврит, воссозданный за считанные поколения, исподволь принял некоторые свойства орвелловского "нюспика": есть немало слов, выражающих готовые концепции, готовые идеологические клише, да так крепко усевшиеся на свои места, что по-иному и не скажешь. Приходится ухищряться. Так, слово "израильский" существует в двух ипостасях: "исраэ́ли" и "исраэ́ли". Первое относится к официальному облику государства: израильская армия, израильские поселения, израильский филармонический оркестр. Второе относится к "ма'аборот" (временные лагеря для репатриантов, покрывшие в конце сороковых — начале пятидесятых годов всю страну; ед. ч. — ма'абара), им обозначают арабскую мелодию с доморощенным текстом на иврите и арак местного производства. Для Шломо "исраэ́ли" — единственная законная форма этого слова.

Уроженец Марокко, проведший детство в ма'абаре, Шломо Бар не раз совершал резкие переходы из одной крайности в другую. Его можно было видеть на демонстрациях "Шалом Ахшав" и на партийных митингах Тами (Движение за традиции Израиля, объединившее вокруг себя выходцев из Северной Африки и "прорвавшееся" в Кнессет с тремя мандатами), в салонах Северного Тель-Авива и в кварталах бедноты. Сейчас на седьмом году жизни своего ансамбля "Естественный отбор", Шломо говорит о возврате к ценностям Торы, — говорит, перебивая себя, как бы пытаясь убедить и себя тоже, что именно теперь он нашел ключ ко всему.

"Я начал учить иудаизм. Встреча с буквой, с символом, — это одно из сильнейших моих переживаний. Просвещение в наше время — это вид обскурантизма. Мы знаем из истории, что там, где нет Бога, поселяется Сатана. Как в Германии. Просвещение вывело породу людей-функций, винтиков в социальной машине. А мы должны вернуть человеку его полноту, его смысл. Та же молитва — это ведь действие! Ты берешь четыре конца цицит и производишь: "И сказал Г-сподь Моисею... ..и будет у тебя цицит и увидишь его". И увидишь его! И тут ты действительно видишь его перед собой.

Я противник экстремизма. Нельзя стоять на месте. Иудаизм — это поток, который постоянно выбирает себе путь. Царский путь, золотую середину. Мой идеал — Маймонид. Его следует преподавать в школах, а не французскую революцию. Что мне французская революция или филармонический оркестр? Культура современного Израиля — это недостойный нас импорт, это шаатнез*.

В высказываниях Шломо об иудаизме причудливо переплетаются его собственный религиозный опыт с фразеологией израильского "внутреннего миссионерства": "делай и поймешь", угроза новой эплинизации, фантасти-

* *Шаатнез — противозестественное соединение, запрещенное иудаизмом, например, одежда из льна и шерсти или мул как гибрид лошади и осла.*

ческие рассказы про обычаи иноверцев. Но Шломо Бар и здесь остался самим собой. Последнее его произведение — это, так сказать, “еврейская оратория” (для ансамбля восточных инструментов и хора мальчиков) “Освящение луны”, минувшей зимой транслировавшееся по телевидению.

“Я хочу, чтобы наши дети воспитывались на еврейских ценностях, не на религиозно-партийных, а на еврейских. Здесь еврейству грозит сужение до религии, хуже того — до религиозной партии. А я хочу передать своему сыну немного из мистики, из тайны еврейства. Почему нет? Мы существуем тысячи лет, и у нас есть достаточно сил следовать правде Торы. Тора — это не рассказ об Иисусе, ходившем по воде аки по суку и вылавливавшим рыбку. Тора — это рассказ, как мерз в конце жизни царь Давид и как привели ему Авишаг Шуннамитянку, чтобы согреть его. И поскольку мы — росток народа Торы, мы должны творить вещи, достойные нашего чина. Иначе нам нечего делать на этой земле.

Гершом Шодем* писал, что история наша ведет нас окольными путями, что нельзя быть евреем, не побывав атеистом. Я тоже был атеистом, “мапамником”, верил в равенство. Но равенство оказалось только для весьма определенной группы”.

Признаюсь, ни один еще мой разговор в Израиле, кроме бесед с ближайшими друзьями, не проходил без рассуждений о политике, религии и судьбах нации. Не случайно и тут, вместо разговора о музыке получается разговор о стране: художник в Израиле, не найдя свою “золотую середину” (точнее “золотой путь”, как выражаются на иврите), никому еще не открывшуюся, динамичную, непрочную и невидимую грубому и упрощающему взору, обречен на бесплодие, или на конъюнктурные поделки, или на отторжение от еврейства. И поэтому так труден диалог собственно об искусстве, поскольку нет и не может быть того общего контекста, в котором он может происходить, общеобязывающих вех, авторитетов, школ.

“С трех лет я помню музыку вокруг себя, в Марокко. А в двадцать восемь я написал свою первую песню. Я всю жизнь искал то, что мне по нраву. Что не мое — я знал, что мое — найти было труднее. Я пытался жить, как все, но естество жизни заставило меня восстать. В двадцать восемь лет я понял, что музыка — мой язык и мое оружие. А до того я работал на стройке и предавался мечтам.

Я проникся атмосферой ма’абары. Вокруг меня звучала музыка арабских стран, и это соединялось с общей атмосферой вокруг, с фольклором, с игрой в шеш-беш. Позднее я научился стыдиться

* Иерусалимский профессор, известный исследователь Кабалы.

всего этого. А затем я понял, что если не буду считать свое своим, то мне не свести счет.

Восточную музыку до сих пор стараются засунуть в рамки фольклора. Поместить в музей и накрыть стеклом. Но на Востоке нет музеев. Нет, по сути, и живописи: нет нужды рисовать что-то, чтобы унести в дом. Искусство живет вокруг”.

Спор о будущем культуры имеет один оттенок, на котором Шломо Бар не особенно останавливается. Речь идет не о двух культурах, равноправных во всем и во всем разных, а о конфликте талантливых одиночек, подчас самоучек, с целой системой преподавания, оценок и поощрений, которая им не оставляет никакого места. Хочет того Шломо Бар или не хочет, право на вызов, которое ему вручили полтора миллиона выходцев Востока, обязывает его противостоять Талю и Бен-Хаиму, Ури Сегалию и Гари Бертини. Кроме того, и право на вызов не очень-то в его руках. Конечно, тот, кто видел, как публика срывалась с мест на его выступлении в караван-сараях на театральном фестивале в Акко и весь зал превращался в один гигантский порыв, в космический танец, мог бы решить, что “мандат” — у Шломо в руках. Но нет. Для многих выходцев из Марокко Шломо Бар — блудный сын, которого нельзя даже назвать словом “исраэли” и которого, по словам самого автора, знают только по песне “Дети — это радость”. Индустрия “белых кассет”, расходящихся сотнями тысяч среди восточных евреев и арабов на контролируемых территориях (и, говорят, вплоть до Кувейта), воспроизводит Хаима Моше и Зогара Аргова, которые, по словам Шломо, “хорошо б, если знали десятую долю того, что знали их отцы” (по крайней мере у Хаима Моше вокал — это семейная профессия). Шломо Бар обрывается на “белые кассеты”, на “поп”, на “национальную” эстраду.

“Я не вижу особой разницы между тем, что делают Хаим Моше и Шимми Тавори, и тем, что делают Шалом Ханох или Шломо Гроних (разделение по этническому признаку — К.Т.). По существу, ни те, ни эти не составляют израильской культуры. Однако я за представительство и тех, и других. Это обостряет нужду в интеграции. Десять лет назад мне казалось, что европейские вкусы завоевали все и вся. Когда я говорил о двух культурах, меня называли врагом Израиля. Сегодня — уже не называют.

Сегодня уже появились не только музыканты, но и писатели, чувствующие голос улицы, и у них есть немало приверженцев. Основу новой литературы закладывают в поэзии — Эрез Битон, Каян, Бен-Симхон, а в прозе в первую очередь — Сами Михаэли, писатель, признанный самыми широкими кругами. Конечно, я за плюрализм — “ашкеназим” тоже заслужили право на достойное место. Однако они дальше отошли от своих корней, тогда как мы продолжаем хранить наследие. Не случайно память (“зикарон”) и

мужской пол ("захар") — от одного корня. Лишенный памяти лишен мужского начала, он не способен творить".

И я опять проглатываю еще один обидный для него аргумент и не говорю, что сам голос Сами Михаэли еще не означает изощренного мастерства Амоса Оза. О поэзии же, по-моему, говорить не стоит. Я перехожу к политике.

"Я не верю ни в какую политическую группировку. На мой взгляд, политиканы совершенно отрезаны от народа. Я сотрудничал с Тами, верил, что они что-то сделают. Тами была меньшим из зол. Другие партии? Одна начертала на своем знамени социализм, другая — экстремистская партия фанатиков, мыслящая в понятиях силы и собственности. Куда важнее сейчас, что думают люди.

Я верю в мир с арабами, потому что у нас есть много общих ценностей, сложившихся за долгую историю общей жизни. Я не сомневаюсь, что когда мы создадим подлинную культуру, арабы нас начнут понимать. Мира на бумаге не достаточно. Как-то пришли ко мне из "Шалом Ахшав" с каким-то воззванием на подпись. Мы, мол, возвращаем сектор Газы, мы возвращаем Иудею и Самарию. Я сказал — не подпишу. Знаешь, что мне это напоминает? Как я ходил со своим отцом в бюро социальной помощи и один такой выдавал нам ордер и заявлял: "Смотрите, я даю вам..." Что ты даешь? Это что, твое? Что ты корчишь из себя хозяина? Восточные евреи сыты этим еще с пятидесятых годов. Сегодня другие времена. Сегодня мы говорим: "Перестань давать. Это я теперь хочу давать. Отстань со своими воззваниями, справками, ордерами. Если ты хочешь помириться с соседями, мало подписей на бумаге, надо знать их культуру, знать, какую пищу они едят, уметь вести себя у них в доме. А если хочешь оставаться европейцем, каким был, — мира тебе не будет".

Он хочет давать и он действительно дает — музыку, сочетающую хасидские песни с ритмами дервишей, захватывающую сердца многих и многих в Израиле, независимо от подданства и места рождения. Но лозунги культурной революции — не двусмысленны ли они, не имеют ли они второго лица, лица мести за действительные и мнимые обиды? Кстати или не кстати я вспомнил, что один мой знакомый, высокопоставленный офицер, в последнее время сменил ударение с "исраэли" на "исраэли". Что это? Символ? Пароль?

ОСТАНОВИТЕ ПОЕЗД!

Если вы спросите, чем отличается жилище художника-бунтаря в Иерусалиме от жилища его собрата в Москве, то, право же, я затруднюсь ответить. Во всяком случае, холостяцкая квартира Нафи Салаха на окраине

столицы, в печально известном квартале Катамон-6, особенно на такое жилье похожа. Низкие потолки, случайная мебель по углам, картины на стенах и большой письменный стол с древней пишущей машинкой. При этом — чувство незнакомой россиянам железной дисциплины, работы с рассвета до полуночи: не для денег и не для признания — для д е л а.

Нафи, актер и режиссер (и добавим, драматург и художник), — один из основателей “другого” театра, противостоящего академической унылости “Габимы” и псевдо-эпатажным постановкам тель-авивского “Камерного”. Его ансамбль, неоднократно сменивший вывеску и покровителя, в той или иной форме существует уже четырнадцать лет. В 1974 году он представлял Израиль на театральном фестивале в Западном Берлине. В 1983-м Иерусалимский самодеятельный театр, выступивший со спектаклем “Лихорадка времени” на фестивале в Акко, занял первое место. К счастью или к сожалению, но слово “самодеятельный” в Израиле давно не означает “любительский”, объясняет Нафи, изучавший актерское искусство в Торонто, Канада.

“Я был свидетелем долгого спора в Акко, не о нас, обо всех, — профессиональный ли это театр. Но такой подход недобросовестен: большинство актеров “самодеятельности” имеют профессиональную подготовку, и вся разница состоит лишь в том, есть ли у тебя постоянный зал и бюджет”.

С самодеятельностью сближается “другой театр” той непосредственной средой, из которой он возникает и которой служит. В театре Салаха актеры и первые зрители — выходцы из стран Востока, жители кварталов бедноты: Катамонов, Нахлаот, улицы Штерна в Иерусалиме.

“Наши темы берутся из жизни этих кварталов: жилищная проблема, наркотики, проблемы молодежи, разрыв между поколениями, когда отцы принадлежат Востоку, а дети пытаются внедриться в западную культуру и как бы теряются меж двух миров, — и более универсальные темы: любовь, дружба, верность. Община создает свою драму и обращается с ней — к себе и к обществу.

Наши средства — средства театра, как он есть, — более или менее те же, что всюду. Разве что выглядит это не как “настоящий” застегнутый на все пуговицы театр с классическим репертуаром. Это выглядит более проблемно, протестующе, агрессивно, потому наверно, что актером движет то, что давно накопилось у него на душе.

Когда-то мы построили даже “теорию трех этапов” для нашего театра. Первый этап — протест, второй — пробуждение, третий — созидание. Насколько возможно, насколько удастся, три эти элемента действуют вместе. Но даже если муза не всегда с тобой, и творческий уровень ускользнул от тебя на минуту, даже тогда ты не почувствуешь себя бесполезным — так много еще нужно сказать”.

Начало театра было, как ни странно, легче, чем его дальнейшая судьба. Это было ново, это подстрекало любопытство. Пять лет директор районного дома культуры в Кирьят-Йовеле способствовал коллективу как мог. Директор сменился и пришлось искать новое место, новый зал, и так год за годом. Нафи признается, что он начал сдавать в последние годы, борясь с безымянной невидимой стенкой, имя которой "истеблишмент". Опыт моих контактов с учреждениями и фондами, говорит Нафи, говорит о том, что меня заранее, не зная вообще о чем идет речь, классифицируют, как гражданина второго сорта, который почему-то не хочет знать "своего" места. У нас слаженная труппа, и за год мы беремся сделать полноценно функционирующий театр. Вместо этого бюджеты поглощаются, как прорвой, "Ханом" (Иерусалимский муниципальный театр — К.Т.), который уже который год сватит провал на провале и не имеет постоянного коллектива.

Нафи, несомненно, ожидал, что первое место на фестивале сдвинет дело с мертвой точки. Увы, мнение публики и критики, бессильно перед... Перед кем?

Для этого нужно еще раз вернуться к истории государства и истории отдельных этнических групп в этом государстве.

Когда сотни тысяч евреев стали прибывать из арабских стран, Бен-Гурион произнес историческую фразу: "Нам нужны и х дети". Этот принцип разделения на "нас" и "их", на поколение-балласт и молодежь, перекованную в горниле сионистского воспитания, заложил основу той обстановке враждебности и подозрительности, в которой живут многие и многие из наших сограждан. Старшему поколению, говорит Нафи, важнее было поцеловать святую землю. За это их заставили платить. По тем осколкам, которые сохранились сегодня, я могу вообразить, какую богатую культуру мы утратили. Мы старались быть такими, как "они", основавшие это государство, но обнаружили себя в заранее приготовленном гетто: на определенных профессиях, в определенных кварталах и поселениях.

"За тридцать с лишним лет израильяне стали народом-расистом. Прежде чем предъявлять счет другим и поучать их, мы должны посмотреть на себя. Никто так, как евреи, не наклеивает ярлыки на ближних, не относится к другому, исходя из этих ярлыков. Мы забыли, что человек — прежде всего человек, а потом уже араб, грек или турок. Мы построили государство-временку, где все дозволено, хватай, что можешь, и затыкай уши. Мы все больше и больше похожи на Ливан, где каждая группа чувствует себя загнанной в угол, недовольна своим положением и готова взяться за оружие в войне против всех и вся. Слишком рано в этой стране стали строить виллы и огораживаться заборами. Пусть они не надеются, владельцы особняков, что смогли отдалиться от тех, кто обделен в их естественных правах. Для пули нет больших расстояний. Когда надо, она настигнет всякого. Если в Израиле не произойдет кардинальных перемен, то он превратится во второй Ли-

ван. Я не знаю, когда это будет, через четыре ли года или через пятнадцать, но это случится еще на наших глазах.

Я не коммунист. Наши отцы в арабских странах привыкли считать коммунизм бранным словом. Мама, когда я развивал перед ней свои взгляды, испуганно восклицала, что я коммунист. Нет. Я не верю в “управляемое” общество с государственной экономикой и без принуждения. Этого просто не бывает. А Ливан, гражданскую войну между “черными” и “белыми” — это то, что я хочу предотвратить. Мы просто должны радоваться друг другу, живя рядом, интересоваться друг другом, соучаствовать и соперничать. А мы — как пауки в банке, и даже в армии мы не чувствуем себя вместе — дискриминация и протекционизм там едва ли не сильнее, чем в других сферах.

Из-за всего этого Израиль выглядит как уродливая колючка в пустыне. Наши проблемы с соседями мы умеем решать только с помощью пушек. А захватив очередной клочок земли, тут же напускаем туда репатриантов из Америки с их миксерами и стиральными машинами, и они бродят с автоматами по холмам древней Иудеи с криками “это наше!” Это не наше! Это принадлежало сынам Израиля тысячелетия назад, а нам следует учиться заново быть единым народом, красивым народом и — восточным народом. Не умея этого, мы не сможем ничего сделать с военными победами. Что с того, что наша армия за две недели дошла до Бейрута? Что нам это дало?”

Сейчас Нафи Салах пишет пьесу о войне в Ливане. В ней всего два героя — раненый солдат из христианских милиций и беженка-палестинка, давшая ему убежище в своей палатке. Простая притча о войне, любви и ненависти. Только так, через встречу двух людей, можно прояснить происходящее на Ближнем Востоке, убежден автор, не в эпических полотнах, не в понятиях религий и идеологий, не в сводках боев.

Но, в конце концов, быть гласом, вопиющим в пустыне, очень утомительно. В Торонто, в кварталах иммигрантов, Нафи было гораздо легче находить общий язык с людьми, чем в Иерусалиме. В трех минутах ходьбы от его дома лежит арабская деревня Бейт-Цафафа, и это уже иной мир, где с трудом найдешь человека, мыслящего иначе, чем по формуле еврей-враг. Впрочем, как и по эту сторону невидимой черты, разделяющей Катамон и Бейт-Цафафу.

“Как человек, я просто хочу жить, у меня есть тело и душа, я никому не причиняю вреда и не намерен вредить. Когда мне начинают объяснять: он, мол, араб, а ты — еврей, я смеюсь. Что значит, я — еврей? Это ошибка. Прежде всего, я — человек. И отношусь

к другому человеку так, как человек должен относиться к человеку. То, что он принадлежит к какой-то общине или вере, — имеет значение, но в третью, в четвертую только очередь. Среди моих знакомых — люди всех вероисповеданий и всех цветов кожи, и это-то прекрасно, к ебене матери! Почему люди отвергают однополую любовь? Не потому ли, что в ней не хватает элемента контраста, полярности, не потому ли, что в ней твой партнер — это слишком ты сам? Почему же здесь, в Израиле, люди так замыкаются в касты, не желая учиться у тех, кто на тебя не похож?

Если бы я мог выбрать время и место рождения, я бы предпочел, чтобы вокруг меня не было каст, гетто, принуждения, нравственной нечистоты. Я не раз должен был расплачиваться за простую порядочность, в то время как мельчайшая фальшь и подделка для корыстной цели не только сходят с рук, но сразу вызывают одобрительный отклик”.

В пьесе “Лихорадка времени” по рассказу А. Б. Иошуа, с которой коллектив выступил на фестивале в Акко, рассказывается о строителях железной дороги, решивших поселиться вокруг одной из новых станций, в поселке Кфар-Ятир. Их покорила природа “маленькой Швейцарии” с горными ручьями и тенистым лесом. Они рассчитывали, что Кфар-Ятир станет местом туризма и торговым центром. Но у железной дороги свои законы поезда почти не делали остановок в Кфар-Ятире, и жители оказались в экономической изоляции. Время шло, надежды угасали и возмущение росло. Наконец они решились на крайнюю меру — остановить поезд любой ценой — разобрав пути. И им это удается. Поезд рушится в пропасть.

Нафи Салах и его друзья хотят остановить поезд. Тот разношерстный состав, который присвоил себе, по их убеждению, имя великого и древнего народа и управляется близоруким и неразумным машинистом. Но остановить его стоит, не сбрасывая в пропасть, — хотя и такое зловещее будущее кажется весьма возможным.

“Я чувствую в себе особую силу, когда зал в темноте, а ты сам в свете прожекторов. Театр позволяет собрать годы человеческой жизни и сконцентрировать в одну минуту сценического времени, направить эту минуту в ожидающий зал.

В жизни — иначе. Приходится беречь дыхание, чтобы тебя хватило на сколько-то лет работы”.

Наша беседа продолжается, выйдя из рамок интервью Пепельницы завалены окурками, кофейная гуща в стаканах высыхает. Девять вечера. У Нафи Салаха — это середина рабочего дня.

Уже после беседы с Нафи я побывал на его новом спектакле. Пьеса "Шем" (Сим в русской Библии), написанная и поставленная Н. Салахом, опять не удостоилась большой сцены. Вместо этого доброй сотне зрителей пришлось тесниться в крошечном иерусалимском театральном кафе "Паргод", рассчитанном на тридцать человек. Но такого единства сцены и зала мне не приходилось видеть даже на представлениях "Еврейской души" И. Соболя, получившей мировое признание. Сдержанная обычно публика не могла сдержать ни реплик по ходу спектакля, ни даже слез. Еще раз стало ясно, как нужен нам остросоциальный театр. Актеры находили интонации улицы, и они выплескивались за пределы мастерства и ремесла, сцена исчезла, уступая место жизни.

Символические имена героев, Сим, Хам и Иафет (Хам, участвовавший в действии по первоначальному варианту пьесы, зловещий сутенер и торговец наркотиками, отсутствовал на сцене, приняв уже потусторонние стати), были призваны подчеркнуть всеобщность происходящего. Маленькая жестяная мастерская, в которой происходит действие, становится последним убежищем любви и здравого смысла. Физически неполноценный юноша Сим (Йозель Дрори) и старенький жуир и пьяница Иафет занимаются тем, что едва-едва можно назвать созиданием или даже ремеслом — ремонтом водосточных труб. Улица же — во власти Хама. Спасаясь от него, в мастерскую приходит проститутка Шарона — и возникает зыбкая надежда на будущее, которая рушится вмешательством всесильного Хама, — уже навсегда.

Нафи опять повторяет свое предостережение: израильское общество на пороге хаоса, насилия, деспотии. И не так-то легко спорить с ним, не прибегая к ссылке на нашу избранность и волю Творца. Разве что обратиться к брату Нафи по крови и по ремеслу, Моше Салаху, принадлежащему к кругу "вернувшихся к религии", — к тому же кругу (или кружку), что и Шломо Бар?

Одед Котлер

ТЕАТР И ПОЛИТИКА

(беседа с членом редколлегии "22" Н. Воронель)

Начну с широко распространенного заблуждения. Считается, будто у нас существует некая "элита" вверху и "народ" внизу и этот народ якобы нужно "поднимать к вершинам искусства". Я не совсем согласен с этим. Не так уж народ — внизу, не так уж элита — наверху, по-моему. Мой опыт режиссера убеждает меня в этом.

Как человек, причастный театру, я занимаюсь созданием и развитием театра определенного типа — того, который живет внутри национального процесса, внутри процесса строительства общества в нашей стране, — выполняя при этом, разумеется, свою роль как театра.

Существует, конечно, и другой тип театра, который видит себя поставщиком культурных развлечений. Такой театр может стать порой поставщиком развлечений очень высокого культурного уровня, он может иногда заниматься классикой, но этот театр не мыслит себя частью процесса. Это просто магазин — хороший магазин с хорошим художественным товаром. Это — два разных типа театра. Один видит себя частью процесса и потому считает, что должен заниматься этим процессом сознательно и систематически. Другой никому ничем не обязан, разве что своим актерам да зрителям — за успех или неудачу того или иного спектакля. Из такого театра я себя исключил.

Приведу сравнение: существует, скажем, фармацевтическое производство, которое поставляет хорошие и нужные людям продукты; и существует научно-исследовательский институт, где создают новые лекарства. Конечно, многое из того, над чем трудятся в институте, пойдет потом в мусор, но ведь будет создано и что-то новое, что фармацевты затем запустят в производство.

Я пытаюсь идти по пути исследователей. Я пытаюсь создать театральную лабораторию — в Хайфе, в Неве-Цедеке, — которая стала бы интегральной частью общественного процесса. Это означает, что в общепринятом смысле наш театр -- не "культурный" театр. Ибо последний работает с тем, что уже оформилось как культура. Наш же театр -- общественный, политический, он, возможно, создает какие-то инструменты, который как-нибудь, когда-нибудь, не при моей жизни, конечно, внесут какой-то вклад в общекультурный процесс. А пока он пытается сделать что-то, дающее людям удовлетворение. Ведь есть люди, которым нравится наблюдать производственный процесс, любопытно видеть, как работают в лаборатории, не все идут прямо в магазин. Мы раскрываем им двери. Всякий раз, когда мы делаем новый спектакль, мы раскрываем двери. И при этом откровенно признаемся сами себе, что нас, пожалуй, устроило бы, поработав над чем-то, выбросить этот материал после одноразового использования. Если бы деньги позволяли, я бы так и делал. Мне интересен не результат, а процесс.

Но что собой представляет такой процесс? Скажем, в институте ищут лекарства против болезней. Над чем работают в театральнo-общественной лаборатории? Тоже над болезнями — но в общественно-национальном плане. Это болезни, которым в определенных условиях можно дать художественное выражение. Для этого нужно мобилизовать соответствующие силы. В этом смысле наш театр — мобилизованный, заангажированный театр.

Существует, например, проблема “второго Израиля” — одна из самых серьезных и тяжелых болезней нашего общества. Когда занимаешься тем типом театра, который делаем мы, нельзя не коснуться этой проблемы. Как нельзя обойти проблему арабов, проблему еврейской самоидентификации, проблемы экономики и морали. Чем вообще занимается театр? Классический театр можно сравнить с подводной лодкой, которая опускается в глубины и там, прожектором, освещает темные уголки души человека и общества. Он изучает и рассматривает их, как неизвестные континенты, как дальние, экзотические страны. Приходит Шекспир и высвечивает их так, приходит О’Нил и высвечивает по-иному, и мы видим их в том или ином освещении, то есть в том или ином художественном воплощении. Что делает такой театр, как наш? Он поступает точно так же -- только с общественными проблемами. Он переносит на сцену голоса, мысли и чувства из “темных уголков” израильского общества.

Разумеется, чтобы это сделать, нужно прежде всего занять определенную общественную позицию, иначе ничего не удастся вынести на сцену. С той минуты, как я говорю: вот, это болезнь нашего общества, -- я уже занял определенную позицию. Потому что есть другие, которые не считают это болезнью. Взять, к примеру, арабов. Отношение к этой проблеме разделяет наше общество. Есть люди, которые говорят: разве это проблема? выгнать их, и все, нет никакой проблемы! Есть люди, которые считают, что проблема есть, но она чисто техническая. У меня своя позиция. Но я не хотел бы вдаваться в чисто политические проблемы. Свою позицию как режиссера я могу определить просто: дать возможность раскрыть рты, возможность полного, ясного звучания заглушенных голосов. Открыть клетку, дать полетать и посмотреть, что это за птица, как она летает. Я говорю о притесненных, ущемленных слоях общества. Причем я говорю не как представитель этих слоев. Я не ощущаю себя притесненным. Я вырос, не ощущая никакого гнета.

Людам, которые чувствуют себя обделенными, нужно дать равные шансы и равную возможность самовыражения. Они не имели этого на протяжении многих лет. Нужно им в этом помочь. И быть готовым к последствиям. Я к ним готов. Я настаиваю только на одном: равные права для всех. Если речь идет о самовыражении, то право на него должно быть и у меня. Я не говорю: дадим им говорить, а сами отойдем в сторону, пусть они летают, а мы уйдем, нет. Я буду считаться с ними, но и они – со мной. Никто не скажет мне: это не твой дом. Но и я не скажу никому: это не твой дом.

Естественно, первые попытки такого самовыражения “ущербных” часто выглядят как агрессивное самоутверждение. Но я уверен, что это лишь начало процесса. Мне ясно, что это процесс освобождения от ущербности. Люди пытаются найти опору для самоуважения, освободиться от чувства неполноценности, от многолетней дискриминации. И агрессивность зачастую – следствие прямого подстрекательства. Вместо того чтобы сказать этим людям: вставай, выходи с поднятой головой! – им говорят: вставай, ломай, разрушай! Достаточно припомнить выступления Бегина перед сефарадами...

Я же думаю, что, по крайней мере, часть этой энергии, которую годами зажимали, можно направить на труд и творчество. Я видел это своими глазами. Люди, которые никогда в жизни не посещали театра, после одного-двух спектаклей заинтересовались; люди, которые никогда не слушали музыку, стали ее слушать. Я видел это в нашем театре в квартале Неве-Цедек. Дети, которые находились на грани воровства, даже иногда воровали, семи-восьмилетние дети из обездоленных слоев (что тоже важно иметь в виду), через два года нашей систематической работы с ними стали регулярно ходить в театр, начали работать в нем -- в студиях ритмики, рисунка, скульптуры, кукольных постановок.

Я сказал бы так: никто не может открыть краны, краны открываются сами, но если ты хочешь помочь, то можешь направить струю правильно. Если же ты отказываешься быть частью процесса, то кончится тем, что вода просто хлынет тебе на голову, как случилось во многих странах мира, где тоже существовало угнетение. В природе человека есть что-то разрушительное, фашистское, что-то антисоциальное, что всегда готово вырваться из-под контроля. Недаром сказано: живи и давай жить другим. В какой-то форме люди научились это делать -- скажем, в Швеции лучше, чем в Рос-

сии. Израильтяне пока не научились и платят высокую цену за свое неумение. В Ирландии тоже платят высокую цену. В конце концов они, конечно, научатся, не знаю только, какое время это займет. Конечно, у нас маленькая страна, и мы все время заботимся, чтобы она была сильной вовне, иначе ее просто уничтожат. Но она должна быть сильной и единой также и изнутри, иначе она и вовне ослабнет...

Таковы размышления и чувства, которые руководят создателями общественного театра – театра, способствующего процессу единства и самовыражения, участвующего в этом процессе. Но есть и другой аспект, не менее важный – чисто культурный и художественный аспект.

Мы должны создать здесь, в Израиле, местный художественный язык. Если, к примеру, в Африке какое-то племя вздумает играть Шекспира, как его играют в Англии, это будет выглядеть несколько странно. То же самое здесь. То, что мы немножко из Европы, немножко из Азии, не отменяет африканской параллели. Мы будем выглядеть комично, если попытаемся ставить Шекспира, как англичане, или Мольера, как французы. Мы должны говорить на собственном художественном языке. Да что говорить – во Франции годами не ставили Шекспира, потому что знали – это не пойдет. И в Америке не ставили годами, только в последнее время возникла труппа, которая понемногу начинает его ставить по всей стране. Это поучительно. Это означает, что театр, который посвящает себя общественному процессу, одновременно становится частью культурного процесса. Культура – это не только песни, танцы и литература. Культура – это и то, как человек ходит по улице, как он чешется, почему он делает то, а не иное своему ближнему. И если занимаешься театром, как частью процесса, из которого этот театр произрастает, то занимаешься, собственно, и самим этим процессом, создаешь язык, который отвечает элементам этого процесса, а элементы эти – местные, локальные, выражение их – здешнее. Я не могу ставить спектакль в духе американской или французской традиции. Я должен ставить его так, как подходит мне, моей стране. Потому что те, кто сидит в зале, – мои компаньоны, они купили билеты, им принадлежат акции в спектакле. Если мы обнаружим фальшь – в голосе, поведении, интонациях, – зал отреагирует, как сейсмограф. Таково искусство...

Когда я ставлю спектакль, я перевожу голоса людей на сценические голоса. Происходит художественный процесс, попытка

придать человеческую окраску голосу, даже если это голос бунта. Моя цель — открыть сердца, чтобы люди выбросили из себя все, что их закрепощает, выразили себя. И все это — чтобы создать лучшее общество.

Говорят, что я рисковую. Но, по-моему, риск таится там, где затыкают рты, где поставляют хлеб и зрелища, дают звучать голосам в цветном телевизоре, но подавляют голос боли изнутри. Там, где пытаются замаскировать раны и язвы. Я же говорю: да, рана есть, и она болит, когда ее касаются. Очистим ее — и она быстрее заживет.

Если же кто-то спекулирует на боли и протесте, ставит политический спектакль с деструктивными намерениями, я говорю: эта тема очень важна, но постановка никуда не годится, она отвратительна, она лишена связи с отношением человека к человеку. Ибо, в конечном счете главное в театре, даже политическом, — это человек. И процесс, о котором я все время говорю, происходит тоже с людьми. Поэтому особенно важна конструктивность. И в политике тоже. Долгие годы этим пренебрегали. Маарах не дал ответа на многие проблемы дискриминированных слоев, и они повернулись к Ликуду в надежде, что тот даст ответ. По-моему, они трагически ошиблись: Ликуд не дал ответа. Даже такая партия, как ТАМИ (с которой я во многом не согласен), больше помогла оздоровлению народа, чем Ликуд, потому что она дала кому-то из сефардов немного гордости и самоуважения. У людей, которых годами дискриминировали, появилось ощущение: есть кто-то, кто прислушивается ко мне. И вот выступает такой известный сефардский композитор, как Шломо Бар, и говорит: по некоторым вопросам я согласен с ТАМИ, по другим расхожусь, но, по крайней мере, теперь я имею адрес. Но Ликуд не дал ничего. Мне кажется, сегодня у нас больше неимущих, чем прежде, несмотря на цветные телевизоры во всех домах. Выходит. свои решения неимущие, дискриминированные слои искали не по адресу. Это случается. Если чего-то ищешь, то иногда стучишь во все двери. И сейчас, я думаю, колесо еще не раз повернется снова, и ничего не успокоится, пока решения не будут найдены, и будет еще много криков, и скандалов, и боли, пока в конце концов не придут к решению, которое, я надеюсь, все-таки найдется. Если, разумеется, не обратятся за решением к диктатуре. Такая опасность тоже существует. Нам подстерегает много опасностей. Но такова жизнь. Сама действительность опасна. На войне,

например, убивают. Поэтому я всегда призываю: пусть будет поменьше войн, думайте, прежде чем затевать новую войну...

Конечно, не все со мной согласны. Мы живем в свободном обществе, где я вправе провозглашать свои убеждения, а другие вправе с ними не соглашаться. Единственное, что я могу делать — это стараться убедить как можно большее число людей теми средствами, которыми я располагаю. Может, если я сделаю больше спектаклей, если они будут лучше, убедительней, мне поверят больше людей. Когда я ставлю такие спектакли, как "Патриот" (который многие сочли пасквилем на Израиль), я в действительности стремлюсь вызвать понимание, обострить проблему так, чтобы ее более четко видели. Это конструктивно, это не призыв к разрушению и бунту. Но вот, к примеру, содержание недавнего спектакля Нафи Салаха в Акко сводилось именно к такому призыву. Это была не конструктивная постановка. Попытка Салаха превратить искусство в политический призыв — это неудачный опыт, особенно неудачный в сравнении с первоисточником — рассказом Иошуа, который ведь говорит о взрывающемся мире вообще, а не о вражде сефардов и ашкеназов...

Тем не менее я стою за то, чтобы и Салах, и Шломо Бар, и другие имели возможность самовыразиться так, как они хотят и понимают. И я буду сражаться за эту их возможность. Так же, как и за свою возможность самовыражения. И если я проиграю свою войну — что ж, значит — проиграю. Так это в жизни. Но я хочу подчеркнуть еще раз, что я верю в свое право сражаться за свои права и не верю, что большинство нашего народа только и мечтает, как бы заткнуть рты "ашкеназийскому меньшинству". Это не так. Действительность не такова. И потому я не вижу опасности в том, чтобы и сефарды, и арабы получили возможность самовыражения. В конце концов, их голоса уже существуют, вне зависимости от нашего желания. А от зажима и глушения может быть только вред — куда больший, чем от свободы. Нельзя закрывать глаза на реальность. Действительность существует, и мы в своем театре, в своих спектаклях всего лишь говорим: взгляните, она есть и она — такая.

Я пытался войти в эту действительность, в этот процесс еще плотнее. Мы затеяли опыт создания культурного центра в одном из заброшенных "городов развития", в Кирьят-Атимона. Это был интересный опыт, но мы не сумели довести его до конца, потому

что приехали туда на время, не на всю жизнь. Да и другие группы не последовали нашему примеру.

И все же какой-то сдвиг происходит. Я, например, с радостью вижу, что если в начале ливанской войны большинство народа было за нее, то сейчас все больше — против, включая тех, кто голосует за Ликуд. И вовсе не из-за спектакля “Патриот”, — из-за действительности. Это действительность дала такую пощечину. И те люди, с которыми мы общались в Кирьят-Шмона, тоже это понимают — только по-другому, иначе. Ведь понимание — функция традиции, воспитания, образа жизни. Эти люди убеждены, что для защиты безопасности нужно все время прибегать к мечу. Есть много людей, убежденных, что вся их жизнь здесь будет всегда состоять из войн, что нужно постоянно приносить жертвы, что их внуки и внуки их внуков должны будут всегда служить пушечным мясом и только тогда все будет в порядке. Я уже говорил: человек в какой-то мере создан прежде всего для войны, для жестокости, для фашизма. Люди рождаются, неся в себе элемент фашизма. Нужно пройти некую трансформацию, чтобы понять, что человек не может жить только благодаря мечу, понять необходимость уживаться с другими, в обществе. Но для этого общество должно давать всем равные права и равные шансы. Таков ведь, в конце концов, основной принцип демократического общества. Мы должны использовать свои права, потому что иначе нам свалятся на голову решения, навязанные другими. Это верно в отношении всех проблем, включая палестинскую. Некоторые политики считают, что нам не следует ею заниматься и она решится как-нибудь сама собой. Но тогда решение будет намного хуже. Нет иного выхода, кроме как сказать: проблема есть, и давайте ее решать таким образом, который потребует как можно меньше крови. Записано же в нашей Декларации Независимости, что наша страна обеспечит равные права для всех — как евреев, так и арабов. Меня не интересует, готовы ли арабы для демократии. Я не собираюсь отдавать им свою страну. Но я говорю: дайте нам мир и возьмите за это обратно свои территории. За мир я готов отдать все...

УКРАИНСКО- ЕВРЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Мое участие в еврейско-украинской дискуссии имеет целью рассмотреть один ее аспект: отношение украинцев к евреям. Я не обещаю разобрать все проблемы, которые появляются словно из ящика Пандоры при сопоставлении слов "евреи" и "украинцы", потому что для этого понадобились бы десятки статей. В частности, я намеренно избегаю вопроса об отношении евреев к украинцам, ибо, как я объясню далее, имеются весомые тактические, стратегические и этические причины оставить этот вопрос евреям.

Украинский антисемитизм, понятно, не популярная тема среди украинцев, и в разговорах о необходимости украинско-еврейского диалога, которые ведутся вот уже четверть века, украинская сторона охотно нарекает на враждебность евреев к украинцам, но замалчивает, а то и решительно отрицает существование украинской враждебности к евреям. Явление это сравнительно недавнее, и не так было до и во время Второй мировой войны, когда украинцы демонстрировали антисемитизм достаточно откровенно. Вот малоизвестный, но красноречивый тому пример.

Одно из лучших мемуарных произведений о бедах Украины начала 30-х годов - "Его тайна" Аркадия Любченко. В своих

Марко Царинник

ТОЛЬКО И ЕСТЬ У НАС ВРАГ – НАШЕ СЕРДЦЕ

Первоначальный вариант этой статьи прочитан как доклад на вечере "Актуальные проблемы еврейско-украинских отношений" в Торонто 15 апреля 1984 года.

воспоминаниях Любченко рассказывает, как он встретился с Миколой Хвылевым на харьковской улице ранней весной 1933 года и как они решили вместе отправиться в село, чтобы там, по заказу редакторов, писать о том, что на партийном жаргоне называлось "углубленным процессом социалистического строительства". Отправившись в путь на поезде, Любченко и Хвылевый встречают мальчика, который потерял отца и сестер в толпе крестьян, бежавших от голодной смерти. Хвылевый успокаивает мальчика, отыскивает его отца (который рассказывает, как умерла от голода его жена и как он идет, куда глаза глядят, чтобы спасти детей), объединяет семью и делится своим запасом пищи и денег. Мне этот небольшой, счастливо закончившийся эпизод больше говорит о трагедии, чем все описания опухших трупов. Ведь я могу представить себе, что этот мальчик – мой сын, и могу вообразить, как бы я горевал, потеряв его.

Одиннадцатью годами спустя, в июле 1944 года, тот же Любченко, который так тепло и трогательно рассказал этот эпизод, фиксирует в своем дневнике впечатления от другого громадного несчастья, которое обрушилось на Европу в этом веке. Немцы отступают под натиском Красной армии, и Любченко, который оставался на оккупированной территории, стремясь убежать от ненавистных коммунистов, пускается на запад, вслед за немцами. Вот вся его запись:

"В дороге, на станции Мушина, впервые увидел длиннющий эшелон с жидами, которых вывозят куда-то из Мадьярии. Товарные вагоны, затянутые колючей проволокой оконца, где теснятся разные головы и рты жадно хватают воздух. Иногда двери чуть приоткрыты (хоть и на замке), и в щель видна густая толпа людей. А в иных вагонах наоборот – людей мало, на шнурках висит постиранное детское белье. Седые, горбоносые, пейсатые – не жаль их, они столько веков и так безжалостно мучили мой народ. В полутени вагонов поблескивают молодые, злобные глаза. Другие равнодушны, словно не представляют себе, что их ждет. Особенно молодые жидовки. Одна красивая (голубоглазая!) выделялась из этой серой массы – глаза ее были задумчиво-тревожны, застыли на какой-то точке – безумные глаза. И ребенок поразил, мальчик лет 11–12, который колупал доску около дверной щели, воровато поглядывая в щель. Он всем этим, видимо, был больше удивлен, чем испуган. А все же, когда увидел, что приближается часовой, метнулся в сторону, спрятался, как зве-

рек. Дети все же пробуждают сочувствие, угнетают воображение. Из вагона, что стоял рядом с нашим, струился тяжкий смрад, специфический смрад жидовской нечисти, усиленный жарким летним зноем. И вдруг замечаю, что в щель окна жидовская рука просовывает свернутую трубочкой фиолетовую бумажку. Заметили и другие пассажиры: "О! Жид деньги показывает! Мадьярские пенги!" Эта бумажка в щели дергалась туда-назад, как змеиное жало. Жид искушал... все тем же золотом, из-за которого шла эта кровожадная, безумная война, его же неумолимо уничтожавшая. Потом жид отпустил трубочку, она упала на песок, слегка развернулась, шевельнувшись, будто еще живая змея. Несколько пассажиров, шедших перроном, жадно посмотрели, оглянулись, нет ли часового, и заколебались: брать или нет? Малейшее движение к вагону с жидами — и возможна пуля в лоб. Наконец один, какой-то простой паренек, отважился, взял. Говорят, они часто так сбрасывают по пути пенги и доллары -- если и не причинят никому вреда, то хоть след по себе оставят, вынут дят дольше их помнить".

Самое страшное, что Любченко описывает эту сцену с настоящим мастерством. Опытный взгляд писателя ловит самые точные, самые трогательные детали: безумные голубые глаза молодой женщины, фиолетовый цвет денег, падение трубочки из окна вагона. Я дрожу от его слов о детском белье на шнурке. Боже, какое горе за этими словами! И в то же время Любченко слеп, он не видит — не хочет видеть! — что это люди и что они осуждены на верную смерть.

После поражения гитлеровской Германии и после Нюрнбергского процесса такой патологический и откровенный антисемитизм проявляется редко. Но это не значит, что его нет среди украинцев.

Все слышали, наверно, о "Протоколах сионских мудрецов". Это фальшивка, которую изготовила царская охранка в 1890-х годах и согласно которой существует еврейский заговор с целью захватить власть над миром. Антисемиты всех национальностей частенько переводили и распространяли эту фальшивку. В одном украинском журнале была даже дискуссия: один автор заявлял, что существуют украинские переводы "Протоколов", хотя он лично их не видел, а другой на него набросился -- как он смеет говорить такое, если сам не видел? Но я видел такие переводы, и их образцы у меня имеются.

Вот передо мной издание "Протоколов собрания ученых ста-

рейшин Сиона”, вышедшее в Виннипеге в 1934 году. А вот переиздание этого текста, вышедшее там же в 1959 году.

Вот несколько книг, написанных украинцами в том же духе слепой ненависти. Возьмем книгу “Каждый должен знать”, изданную в Нью-Йорке в 1952 году. Что должен знать каждый? Что большевиков вообще не существует, а есть горстка жидов, которые повинны во всех бедах Украины и всего мира.

Возьмем книгу “Вековечные враги Украины”, изданную в Торонто в 1960 году. Кто эти вековечные враги? Евреи, ясно. Вот брошюра “В защиту украинской правды. Проблема украинско-еврейских отношений”, изданная в Калифорнии в 1964 году. Кто отвечает за большевистскую революцию? Кто преследует украинский христианский народ? Жиды и только жиды.

А вот книжка “Украина и жиды”, изданная в той же Калифорнии в 1968 году. Кто мечтает отнять украинскую землю у украинцев? Кто повинен в голоде 1933 года? Жиды и еще раз жиды.

Еще один пример. Несколько месяцев назад я получил по почте толстый пакет, в котором обнаружил фотокопию книги “Евреи при Сталине”, изданной в 1942 году в Берлине. Смысл книги очень прост: в Советском Союзе правят жиды, большевизм — это жидовский заговор. В пакете не было сопроводительного письма, и я допускаю, что отправитель (которого я не встречал, хотя имя его узнал — оно часто появляется в украинских журналах) знал обо мне по моим выступлениям в прессе и на телевидении. Может быть, он хотел помочь мне в моих исследованиях, посылая книгу, с которой я незнаком? Нет, эта книга не имеет никакой научной ценности, и этот добродей просто распространяет нацистскую погань.

И последний пример патологического антисемитизма. В ходе моих исследований голода 1933 года я опубликовал статью, в которой привел архивные данные о том, что Уолтер Дюранти, корреспондент “Нью-Йорк таймс” в Москве, сознательно писал неправду о голоде. В своих сообщениях Дюранти прилагал все усилия, чтобы отрицать факт голода или, по крайней мере, преуменьшить его масштабы. Зато британским дипломатам в Москве он рассказал в сентябре 1933 года, после того как объездил Украину и Кубань, что “из Украины выпустили всю кровь” и что, по его мнению, от голода погибло не меньше 10 миллионов людей.

Я опубликовал также интервью с американским советологом

Робертом Салливантом о советской политике на Украине в двадцатые-тридцатые годы.

На эти публикации откликнулась одна организация в Нью-Йорке. Только Царинник правильно трактует голод 1933 года, написали лидеры этой организации. За что мне такой комплимент? А за то, что я якобы обратил внимание на преступную деятельность еврея Дюранти, который писал для еврейской газеты, а Салливант напомнил, что в украинских городах в двадцатые годы преобладали русские и евреи. Так антисемитское шило вылезло из мешка. Я бы хотел передать лидерам этой организации следующее:

Во-первых, Салливант говорил о евреях в городах Украины не для того, чтобы делать антисемитские выводы, а чтоб разъяснить социологическую и политическую ситуацию на Украине в то время.

Во-вторых, Дюранти был не еврей, а ирландец, родившийся и получивший образование в Англии. Верно, что он работал в газете, хозяевами которой были евреи, но редакторы этой газеты не всегда соглашались с Дюранти и писали в редакционных статьях о голоде, когда он пытался его отрицать. К тому же статью, в которой я разоблачил деятельность Дюранти, опубликовал журнал "Комментарии", издаваемый крупнейшей еврейской организацией Соединенных Штатов -- Американским еврейским комитетом.

Где же тут еврейский заговор, направленный на то, чтобы скрыть от мира правду о голоде на Украине?

Это привязывание друг к другу двух, на первый взгляд, несвязанных вопросов -- голода 1933 года и еврейско-украинских отношений -- не случайно. Изучая историю Украины в двадцатом веке, я то и дело сталкиваюсь с двумя параллельными мифами. Некоторые украинцы убеждены, что евреи играли особую роль в создании голода. В доказательство они приводят данные (обычно непроверенные) о количестве евреев в партийно-административном аппарате. Кое-кто утверждает, что ни один еврей не пострадал от голода -- хотя есть сведения о разорении еврейских колхозов на юге Украины. Кое-кто заявляет, что 1933 год -- это месть евреям за Хмельничину. И есть и такие, кто доказывает, что евреи сами организовали голод и что Сталин сначала ничего не знал о их намерениях, а когда узнал, то наказал виновных. Этот вариант дореволюционной веры в доброго батюшку-царя и злых советников

К ВОПРОСУ ГОЛОДА НА УКРАИНЕ

(Опубликовано в "Канадском фермере" 25 ноября 1963 г.;
перепечатано в канадской газете "Шлях перемоги" 27 мая 1984 г.)

...Еврейский историк Аузбель сообщает, что еще в 1917 году еврейство планировало поселение евреев на украинской земле. Для той цели в Америке был организован специальный комитет "Агро Джойнт" во главе с еврейскими миллионерами. На ту цель Джулиус Розенвельт вместе с Джоном Д. Рокфеллером пожертвовали 500.000 долларов. Возглавляли тот комитет Льюис Маршал, Маер Лондон и Феликс М. Варбург.

До 1924 года было собрано 59 миллионов долларов на ту цель, а с 1924-го по 1929 год еще было собрано 80 миллионов долларов, которые большей частью пошли на проект поселения евреев на землях Украины и Крыма. Это сообщает сенатор Джек Б. Тинней в своей книге "Сайонист Нетворк", стр. 56.

До 1930 года уже было заселено 250.000 евреев, которые имели 162 хлебопроизводственных (9526 хозяйств) единиц, как сообщает А Брик в своей книжке "Украино-еврейские взаимоотношения", на стр. 142.

Опять же, как сообщает еврейская пресса, в правительстве СССР в то время было: (1917—1918 гг.) комиссаров в государственных организациях — 316, из них евреев — 300; (1920 г.) комиссаров в государственных организациях — 457, из них евреев — 322; (1921 г.) комиссаров в государственных организациях — 550, из них евреев — 447; (1922 г.) комиссаров в государственных организациях — 525, из них евреев — 445.

Имея большинство в правительстве СССР, евреи решали все вопросы, а также и вопрос поселения евреев на Украине и в Крыму и создания Сиона на Украине. Планирование голода было за несколько лет наперед. Обезоружив Украину фальшивой "амнистией", правительство СССР обезоружило население, а процессом СВУ они лишили украинцев духовных сил. Как раз тогда они приступили к выполнению "плана голода". Еврейскому населению было заранее сообщено, и они покинули хутора и перебрались в города и местечки. Еврейское население не голодало, ибо они заранее запаслись продуктами.

Во время голода в 1933 году вся европейская и американская пресса, будучи преимущественно под контролем евреев, молчала, а когда какой-нибудь журнал писал про голод, то сразу же следовали запрет и "доказательство", что при Советах голода нет, ибо даже вывозятся продукты за границу, а писания о голоде — это выдумки врагов Советской России.

Московской элите и патриотам такие еврейские планы безусловно не нравились, и это легло в основу заговора против Сталина под руководством Тухачевского.

Сталин раскрыл тот заговор, ликвидировал Тухачевского и всех заговорщиков, провел чистку в армии, в партии и по всему СССР. Но с того времени он и сменил свою политику по отношению к евреям.

Таким образом, стремления еврейских руководителей создать свой "Сион" на землях Украины не осуществились. Но жертвой этого страшного заговора пало до восьми миллионов украинцев, и этого украинский народ никогда не забудет

был бы смехотворен, когда б не то, что есть люди, готовые сделать из него человеконенавистнические выводы.

С другой стороны, некоторые евреи убеждены, что украинцы вряд ли уступали нацистам в истреблении евреев во время оккупации. Следы этого мифа легко обнаружить в серьезной литературе, прессе и телевидении Северной Америки.

Между тем проблема национальных отношений на Украине, как заметил Леонид Плющ в своих воспоминаниях "На карнавале истории", состоит "в страшном сплетении исторических обид, противоречий и субъективности. Со всех сторон были факты, но эмоции не позволяли найти выход".

Плющ писал о шестидесятих годах, но его наблюдения верны и сегодня. Факты, приводимые в подтверждение обоих мифов, преимущественно верны. Действительно, были евреи, помогавшие проводить раскулачивание и коллективизацию. И были украинцы, помогавшие уничтожать евреев. (Но не забудем, что были и украинские активисты, и еврейские коллаборационисты.) Но человек, оперирующий такими изолированными фактами, подобен лошади в шорах, потому что не видит в с е г о комплекса явлений. В нашем украинском случае шоры закрывают нам именно наш антисемитизм.

Поймите меня правильно. Я не говорю, будто все украинцы – антисемиты или что украинский народ заражен антисемитизмом больше, чем другие. Тот патологический антисемитизм, примеры которого я сейчас приводил, не исчез, но и не он доминирует в сегодняшних высказываниях украинцев о евреях. Сегодня доминирует доброжелательный, апологетический тон. Это тон людей, которые клянутся, что хотят хороших отношений с евреями, но уверены, что никакого украинского антисемитизма никогда не было (а если и был, то лишь вследствие политики оккупанта), и потому удивляются, откуда взялся еврейский антиукраинизм.

Я не могу цитировать многочисленные высказывания, в которых ощущается этот тон, и потому ограничусь лишь одним примером. Еще в 1950 году в "Народной воле" появилась статья "Евреи на Западной Украине в новейшее время". Автор доказывает, что во время немецкой оккупации Западной Украины погромы организовывали только немцы, используя "сброд, сложившийся по интернациональному, а точнее -- безнациональному принципу из лиц польского, украинского или иного происхождения. Там, где в общинах решающий голос имели сами украинцы,

не было вообще никаких антиеврейских выступлений. Это доказывает, что украинское общество не только не было настроено противоеврейски, но напротив -- относилось к евреям дружелюбно, как видно из случаев, когда украинские люди, рискуя собственной жизнью, прятали евреев от гитлеровских преследований и смерти”.

Такая апологетика, которая часть фактов замалчивает, а часть преувеличивает, никого не может удивить -- кому хочется говорить о страданиях, причиненных им другому? -- но не может служить и исходной позицией в украинско-еврейском диалоге. Нет: единственно честная позиция для нас, украинцев, -- это снять наши шоры в надежде, что найдутся евреи, которые пойдут нам навстречу и снимут свои шоры.

Эта позиция имеет и тактическое, и этическое оправдание. Тактическое звучит примерно так. Если я подойду к Якову Сусленскому и скажу ему: “Вы, евреи, -- все украинофобы”, то он обидится и ответит: “А вы, украинцы, -- все юдофобы”. Мы махнем друг на друга рукой, а то и поддеремся, и никакого диалога у нас не будет. И ни один из нас не поймет, что его оппонент -- тоже человек с наболелым, обиженным сердцем.

Но если я спокойно скажу Сусленскому: “У нас, украинцев, такая-то и такая-то история и существуют такие-то и такие-то причины нашему отношению к евреям”, -- он, если он порядочный и разумный человек, может ответить: “А у нас, евреев, такая-то и такая-то история и такие-то и такие-то причины нашему отношению к украинцам”. И тогда может завязаться диалог.

Пессимизм, который вы, возможно, слышите в моих словах, не означает, будто я не верю, что можно без драки говорить о том страшном сплетении исторических обид, в котором запутались оба наши народа. Напротив, об этом можно и нужно говорить. Затем и приехали Яков Сусленский и Юрий Пустовойт в Северную Америку. Затем мы и собрались с вами сегодня.

Пример уравновешенного, делового разговора дал покойный Всеволод Голубничий. Пример дал Леонид Плющ, который в своих воспоминаниях с жесточайшей честностью обрисовал эволюцию своего отношения к евреям. Пример дал Израиль Клейнер, который в апрельском номере “Сучасности” показал, как можно разумно говорить о самых болезненных проблемах. Пример дает Яков Сусленский, который вот уже сколько лет почти в одиночку ведет кампанию за налаживание еврейско-украинских отношений. При-

мер, наконец, дали нам Говард Астер, еврей, и Петро Потичный, украинец, издавшие совместную работу "Еврейско-украинские отношения: два одиночества". Живя рядом много веков, пишут Астер и Потичный, евреи и украинцы образовали два совершенно изолированных общества, которые почти ничего не знали друг о друге.

Среди людей, которых я назвал, а я назвал далеко не всех, кто работает на взаимопонимание между нашими народами, преобладают евреи. Приходится признать, что евреи лидируют в осмыслении тех конфликтов, которые разделяют наши народы, и, хотя украинцы, быть может, чаще и громче говорят о необходимости взаимопонимания, основные проблемы быстрее схватывают все же евреи. Это выявилось и в инициативе создать Общество еврейско-украинской дружбы, которая возникла в Израиле. Это выявляется даже в таком, казалось бы, близком украинскому сердцу вопросе, как установление факта голода 1933 года.

Я имею в виду воспоминания Льва Копелева "И сотворил себе кумира" и статью Якова Меникера "Уничтожение крестьянства", появившуюся недавно в "Сучасности". В большом, мастерски написанном разделе "Последние хлебозаготовки (1933)" Копелев воссоздает ход голода в селе Петровка на Миргородщине и — это его наибольшая заслуга — честно и мужественно изображает психологию активистов (кстати, и украинцев, и евреев), которые проводили хлебозаготовки. А Меникер, опираясь на факты, даты и имена, описывает судьбу жителей села Котюжаны на Винничине. Вот если бы мы имели такие же детальные описания по всем селам и городкам на Украине! Какая потрясающая картина открылась бы тогда миру!

Как случилось, что в Европе есть только два великих народа без государства — украинцы и евреи? Как им добыть себе государства? Этот вопрос обсуждали во время встречи в Вене в 1893 году основатель сионизма Теодор Герцль и Иван Франко. Ответ Герцля был одновременно и очень прост, и невероятно сложен. Все можно добыть, сказал Герцль, если в голове хотя бы одного человека зародится идея. Из такой идеи впоследствии возникло государство Израиль. Из такой идеи возникнет и свободная, демократическая Украина. И из такой идеи возникнут дружественные отношения между гражданами обоих государств.

Но предпосылкой и независимой Украины, и нормальных отношений между украинцами и евреями является длительный,

последовательный и болезненный, но тем не менее необходимый разговор обо всем, что разделяет украинцев и евреев, и обо всем, что их объединяет.

Я не ошибся, когда сказал, что такой разговор — предпосылка независимости Украины. Ничто не нанесло украинскому освободительному движению столь тяжкого удара, как репутация погромщиков и коллаборационистов. Я не говорю, будто все обвинения в адрес украинцев справедливы, а все упреки украинцев евреям безосновательны. Вовсе нет. Истина лежит рядом с глубокой пропастью, которая разделяет наши народы.

Но остается фактом, что были украинцы, которые либо проливали еврейскую кровь, либо радовались, когда ее проливали другие. Остается фактом, что сегодня некоторые украинцы пытаются это кровопролитие замолчать, отрицать или оправдать. И остается фактом, что применяя древний принцип “разделяй и властвуй”, враги обоих наших народов используют эти умолчания, отрицания или оправдания не для того, чтобы восстановить историческую правду, а чтобы оболгать то, за что мы боремся. В этом и состоит стратегическая причина, почему мы, украинцы, если мы действительно хотим вступить сегодня в диалог с нашими братьями-евреями, должны начинать именно с этого — с открытого разговора о нашей общей истории.

Этическая причина такого подхода к нашим отношениям с евреями, вероятно, еще важнее, чем тактическая. Есть раннее стихотворение Павла Тычины, написанное до того, как он начал рифмовать имя Сталина. Оно называется “Война”. Поэт пишет о матери, которая засыпает с молитвой. Ей снится ее сын. Он в бою, грудь его рассечена саблей. “Благословляю, сынок, против врага”, — говорит мать во сне. Но сын ей отвечает: “Нет врага и не было, только и есть у нас враг — наше сердце. Благословите, мамо, искать зелье, искать зелье против людского безумья...”

Поучение поэта, как и ответ Герцля Ивану Франко, сводится к одному и тому же: начнем с себя.

1. Украинцы

*"Все время лился взятый
сгоряча, из лесов сражений,
поток бендеровцев".*

*А. Солженицын, "Архипелаг
ГУЛАГ"*

...Поток этот был малозаметен до 1950 года. Он вливался в разношерстную массу общих лагерей, пополняя самую бесправную касту лагерного класса "фраеров-мужиков", касту контриков. И даже в этой касте находился внизу, ибо грамотный, понаторевший в советской действительности контрик мог, производственного плана ради, выбиться в "придурки"*; а уж деревенский "бендера" — никогда. Пусть и обучился бы русской грамоте — все равно не мог. Слишком мало прожил в самом гуманном обществе победившего социализма, не перепахан моровой коллективизацией 30-го года, не уstraшен достаточно годами последующими и потому не смещены еще у него, как надо, понятия правды и лжи — не советский еще человек.

Посади его, скажем, наряды обрабатывать, не найдет, где из дважды два сделать пять, откуда отнять, куда прибавить. И получится от того "бендеры" отчет, от которого и начальству

Давид Таксер

ЛЮДИ ОСОБЛАГА

* Всякий зэк, который не был воровом и не работал на общих работах.

вред, и своим не та пайка, какая кому по рангу положена. А раз не может он “придурком” быть, не может хотя бы в “полуцвет”^{**} перекачаться, то единая у него дорога – скатываться по ступеням фраерской лестницы: 1-я категория – по прибытии с вольных хлебов (лучкист-повальщик), 2-я категория – при малой сперва отощалости (раздельщик баланов), 3-я категория – при отощалости большей (сучкоруб), предпоследняя – 3-я интрод (кострожег) и последняя, дальше только бирка к ноге, 4-я категория – доходяга-дистрофик.

Думаю, все “бендеры”, как и другие нацмены, впрочем, быстрее наших, тертых, скатились бы по этой лестнице, не задумай сподвижник Отца родного, Лаврентий Палыч, реформу по своему ведомству. Может быть, посчитали они вместе даровой людской ресурс и вышло, что на сто лет ни России, ни Украины, ни Прибалтики вместе взятых не хватит, а Папа наш, как известно, жить хотели долго.

Началась реформа с воров. Во-первых, очень они “мужикам” помогали, пожирая пайку “мужицкую”, по лестнице скатываться, удирать на погост, недовыработав положенное. Во-вторых, хоть и не антисоветская, а все же внепартийная организация, с уставом неписанным, но крепким.

Пособирали воров на специальные лагерные пункты. Пусть как пауки в банке. И пусть. Жестко их пособирали и быстро.

На лагпункте, где я пребывал, один воровской подручный-“шестерка” прибил гвоздем мошонку к тумбочке, а этап уже за воротами. Побежал надзиратель за указаниями и вернулся с приказом: “Отправлять вместе с тумбочкой”. В дороге “шестерке” тому приговаривали: “Не брыкайся, а то тумбочку бросим – яйца оторвет”.

Отправили воров явных – и хорошо. Только пайка мужицкая оттого не увеличилась. “Полуцвет” тут же воровское место занял, да и “суки”^{***}, без междоусобицы с ворами, вконец обнаглели. Однако это уже не на нас, контриков. Это на мужиков-бытовиков, потому что тут же вторая главная часть бериевской реформы пошла, относительно нас. Стали нас свозить в особые лагеря с уже-сточенным режимом: два письма в год, по отбою бараки на запор

* Полуцветной – “мужик”, маскирующийся под блатного

*** Воры, исключенные (или себя исключившие) из воровского “закона”.

с парашей, по зоне ходить только строем, номера на каждой одежке спереди и сзади. Ну, там всякие мелочи другие.

Но еще до того как в лагеря эти попали, еще на этапе, оценили мы, какое благодеяние контрикам Лаврентий Палыч оказал. Первый тот этап в моей жизни был без "шерстиловки". Никто ни у кого шмотки не отбирал и конвою не "перепуливал".

Прибыл наш эшелон в казахскую степь на станцию, пугающую названием — Карабас. Карабас-Барабас — пугало детских лет. От этой станции пешком километров десять по пересохшей земле в клубах пыли, поднятой сотнями ног.

Вот и обиталище новое: пяток недостроенных диковинно круглых барачков-юрт, в окружении пока несерьезного забора из колючей проволоки в один ряд. При нас же и строителей конвой оттуда вывел, таких, как и мы, эзков. Только для них эта зона была рабочей, для нас — жилой.

Здесь мы услышали новый ритуал смены часовых на вышках: "Пост по охране изменников родины сдал!" — орал сменяющийся "попка". "Пост по охране изменников родины принял!" — вторил ему заступающий. Ритуалы их нам до фени. Родине, которую они олицетворяют, не то что не грех изменить, а просто-таки надо. Большинству же она и вовсе не родина — заграбастый поработитель. Как только мы друг на друга оглянулись, увидели, что большинство — западные украинцы, потом прибалты, за ними уже русские, кавказцы, среднеазиаты, татары, евреи.

Отражала ли эта структура структуру общую, не берусь судить. Чтобы такое утверждать, нужно перевернуть архивы Лубянки. Потому скажу лишь, что в колоннах других лагпунктов этого Особлага, которые случалось видеть мельком, украинские лица тоже преобладали. Можно предположить и такое, к примеру, объяснение: вызывается в министерский кабинет будущий начальник лагеря, и ставится перед ним задача в кратчайший срок дать стране казахстанские угольные шахты с городом горняков Чурубай-Нурой (Джамбул ныне).

— Хорошо, — отвечает будущий начальник. — Только задание тяжелое. Потому дайте мне комсомольцев стоящих. Не тех, что за 33 года так научились с болтовней от работы отлынивать, что и органы их заставить не могут. Дайте тех, кто тому пока не обучился.

Задумался Лаврентий Палыч, не выйдет ли беды от сбора таких в одну кучу, но махнул рукой. Сильна Россия-мать.

-- Черт с тобой, -- говорит. -- Бери "бендер" и "лесных братьев". Но помни, вымогатель, что сроки САМ установил. САМ и шкуру спустит.

Был ли, не был ли разговор — мы у Лаврентия Палыча спросить опоздали. И на Лубянку нас не пускают. Разве что в камеру. Потому примем этот факт действенным для Песчанлага. Про другие лагеря — другие скажут.

Прибыли, значит, мы в таком составе. Что незнакомых людей, надерганных из разных лагерей и лагпунктов, объединяет? Единственный явный признак — национальность. И забежали по баракам, каждый разыскивая своих. Теперь не хотели, как в бытовом лагере, где бились вроде гладиаторов на римской арене: все против всех и только воры наверху, потому что вместе.

Думаю, поначалу это не было объединение высоких целей. Скорей, целей низких, привезенных со старых, успевших развратить кого больше, кого меньше, мест. Объединение для захвата и защиты — всего, что удастся. Спросите, что в лагере захватывать, что защищать? Много. Сталинский лагерь, даже не лагерь, а лагерный пункт, — микрокопия советского государства, с законами "объективными", эзкам неподвластными, и законами "субъективными" — подвластными. Режим, выход на работу, пайка — все общим числом есть законы объективные. Распределение же по рабочим местам, распределение той же пайки, многое еще — очень субъективный закон. Чей нарядчик — значит, какой бригаде на работу легкую, какой на каторжную. Чей хлебрез -- кому горбыльки с полным весом, а то и пара другая паечек сверх нормы, и от кого эти горбыльки и сверхнорму отнять. Повара -- соответственно. Чей "лепило" в санчасти -- кому лимитом освобождения от работы пользоваться. Все это в форме смертельной борьбы за существование, где слово "смертельной" не красным словцом. Трупы зарубленных, зарезанных, удушенных составляли, может быть, большую часть лагерного кладбища.

Первыми зашевелились русачки-приблатненные, то есть те, кто в бытовых лагерях отирались около воров. Там они распинались, что антисоветские статьи получили ошибочно, что на самом деле они "честные воры", почитающие советскую власть. Но воры в "закон" их не принимали. Чтоб попасть в "закон", нужно было свидетелями доказать принадлежность к клану по "деятельности" на воле. Администрация же их услуги принимала охотно. Однако в стране ярлыков действует железный закон анкетных данных.

Навешана статья 58 — контрик. Если бы стали разбираться, кто задаром эту статью получил, пришлось бы отпустить 99,9% коренных, до приобретений 1939—40-го годов, подданных Его Гениальности. 99,9% запуганных советских граждан до 1939 года — контрики липовые: шпионы, узнавшие, что и для кого шпионили, от следователя, члены антисоветских организаций, сколоченных в следовательских кабинетах, рассказчики анекдотов, красного словца ради. Был не один контрреволюционер, по неграмотности ставящий крестики вместо подписи.

Как тут не вспомнить ярославского дворника, дядьку Семена Лукова. Подметая свой участок улицы, дядька Семен метлой, которой до того сметал конские яблоки, обмел снег с портрета Его Гениальности и лик пометом измазал. На беду его о ту пору в местном отделении Лубянки формировалась “террористическая группа”. Пошел дядька Семен в ту группу главным исполнителем. Однако же, ввиду беспросветной темноты, его не расстреляли, а навесили червонец лагерей по 58-й статье с тремя пунктами: антисоветская агитация, состояние в антисоветской организации и задуманный, но несовершенный благодаря бдительности Ярославского ГБ террор против всех вождей.

Впрочем, дядька Семен потерял немного, в лагере тоже дворничал. Ему что большая зона, что малая — один хрен. Разве, может, тюря на воле была погуще, и то, должно быть, не всегда.

Пока зэки нового лагпункта друг к дружке присматривались, прибалтенные успели многое к рукам прибрать. Им, не связанным даже воровским законом, это просто. Перед начальством шапки ломают, бьют себя в грудь: мол, тут они по ошибке и стоят против враждебных сил. Но чувствовали прибалтенные зыбкость власти малого количества над массой и потому распустили слух, что “бендеры” и прибалты собираются всех других перерезать, стали собирать всех других, кого силой, кого уговором, в свой барак. Накалялась атмосфера. Назревало то, что на языке коммунистических катехизисов называется революционной ситуацией или национально-освободительной войной, только что в малом размере лагерного пункта.

У украинцев с прибалтами какие-то свои разногласия. Прибалты, народ угрюмый, хуторской, в бытовых лагерях прижимались особо, возможно, потому, что совсем русский язык не понимали. Они противопоставили себя даже украинцам, причисляя всех понимающих к русским поработителям. Однако, вы-

ражаясь языком того же катехизиса, эти разногласия не имели непримиримого характера, были основаны на ошибке и быстро утряслись.

Через пару недель после прибытия существовали три группировки: две, противостоящие друг другу, — малочисленные приклатенные, поддерживаемые начальством, против украинцев с прибалтами, — и все прочие нейтралы, сочувствующие отнюдь не блатарям.

Уже в этом, пока бескровном, противостоянии обозначилась железная организованность западных украинцев, которых сплачивала недавняя партизанская борьба. После горечи поражений, несправедливого суда и разобщенности эти люди, почувствовав плечо друг друга, вновь обрели радость справедливой борьбы и отдались ей самозабвенно.

Восстание

Все началось с бегства "нейтралов" из "блатного" барака. В пору строительства самого лагеря зэки жили где хотели, естественно группируясь по национальному признаку. Рабочие бригады формировались по спискам УРЧа*, который, из своих соображений, национальный состав их размещивал сколько было возможно. Блатные в рабочих бригадах не состояли — захватили внутрилагерное обслуживание. Такое положение облегчило украинцам разъяснительную работу с обитателями благого барака во время рабочего дня.

Вскоре большая часть "мужиков" оттуда бежала. Нашлись, однако, и такие, которые остались, рассчитывая, что начальство не допустит разгрома своих помощников, а от тех и им что-нибудь да отломится от привилегий. Без "дезертиров" в бараке еще набиралось душ пятьдесят. Чувя угрозу, они приняли меры предосторожности. днем и ночью вход в блатной барак охраняли часовые, вооруженные металлическими прутами.

В один день все рабочие бригады были оповещены, что после ужина состоятся переговоры с блатными. Невидимый комитет требовал, чтобы нарядчик, проявлявший крайнюю свирепость, отказался от поста, а хлеборез с поварами были бы предупреждены об ответственности головой за справедливое распределение пайка.

Переговоры поручили двум западным украинцам, одному литовцу и одному русскому из покинувших "блатной" барак. Русский, какой-то бывший театральным работником, отиравшийся в КВЧ**, наотрез отказался.

Еще утром группа украинцев "арестовала" хлеб, полученный дневальным осажденного барака, вернула его в хлеборезку и заставила выдать

* Учетно-распределительная часть.

** Культурно-воспитательная часть.

пайки, приготовленные для рабочей бригады. Они же оставили на кухне людей наблюдать за раздачей баланды. Дежурный надзиратель ничего необычного не заметил и “забивал козла” с вохровцами на проходной. Все вокруг выглядело, как всегда, когда три парламентаря направились к логову блатных. Но переговоры не состоялись. Внутрь их не впустили, после долгого ожидания вышел “шестерка” нарядчика, известный под кличкой “Шкода”, и объявил, что его патрон с “мужиками” говорить не будет. Потом он с независимым видом протиснулся сквозь толпу позади парламентарей и направился куда-то в зону. По чьей-то команде двое последовали за ним. Не скрываясь, они шли след в след, а он крутил по зоне и вдруг ринулся на вахту. Схватить его успели у самой цели. На крик оторвался от “козла” надзиратель, но дальше порога не пошел, пустил матюка вслед утаскивающим Шкоду, махнул рукой и возвратился к партнерам.

Что уж делали со Шкодой — неизвестно, только не добровольно, не от раскаяния он пошел по баракам в сопровождении двух дюжих хлопцев с третьим позади, несшим табуретку, объявлять о цели бегства на вахту. В каждом помещении один из сопровождающих требовал внимания: “Ты-хо! — кричал он. — Зараз оця гнида вам щось скаже”. Затем Шкоде помогали взобраться на табурет, и он, без следа угнетения свежим предательством, иногда даже улыбаясь, рассказывал, как был послан просить помощи общих тюремщиков против контриков, угрожавших расправиться с хорошими советскими заключенными.

Обращение за помощью к тюремщикам считалось неслыханным позором даже у бытовиков. Здесь же, так аргументированное, оно вызывало особое негодование. Только конвой спасал Шкоду от растерзания.

С вечера группы украинцев, а в бараке, населенном преимущественно прибалтами, группа из их числа, установили дежурство у входов. С этой минуты никто не мог выйти наружу. Кому приспичило “по надобности”, шли туда и обратно в сопровождении. Казалось, кто-то неизвестный продумал все до мелочей.

На рассвете лагерь разбудил треск пулемета. Часовой ближайшей к “блатному бараку” вышки шпарил длинными очередями. Зэки посыпались с нар. Кое-кто хотел искать убежища вне барака, но охрана у входа по-прежнему не выпускала. “Панове, ховайтесь на пидлози. На вулиці небезпечно!” — как заведенный выкрикивал долговязый украинец в помещении, где я находился.

Вскоре пулемет умолк. Чьи-то истошные вопли резали тишину. Топот ног. В окнах заалел отсвет пожара. Еще несколько одиночных выстрелов. Молчание.

На завтрак шли мимо черного круга дымящихся головешек — все, что осталось от “блатного барака”.

Результат кровавой ночи: произвол “приблатненных” ликвидирован под корень. Двое из них застрелены часовыми в запретной зоне. Шестеро убиты “мужиками”. Один сгорел в бараке. Остальные выгнаны на вахту и неизвестно куда этапированы начальством.

В эту же ночь кто-то свел счеты со стукачом. Два часа считали и пересчитывали зэков на поверке. С учетом трупов и выгнанных за вахту недо-

считывались человека. Потом тело извлекли из зловонной ямы уборной у барака прибалтов.

Никто из осаждавших не пострадал.

Странное дело. Начальство не вело расследования. Замяли, убоявшись огласки хаоса организационного периода? Посчитали происшедшее выгодным для производства? Ответы на Лубянке.

Что ж, лагерные смерти не диво. За многие тысячи загубленных "мужиков" — это малая кровь. Диво то, что началось на лагпункте потом. Победители не заняли "сладкие посты". Лишь под чьим-то давлением "подал в отставку" повар Сулейман, прославившийся нескрываемым расчетом: "Если каждый дам два грамм масла, сколько положен на один голова, все скажут: нэ дал. Минэ придут, убьют. Дам десять человек по сто грамм — защитят". В числе его "защитников" был также и дежурный надзиратель. Видимо, это и послужило причиной "отставки". Во всем остальном Сулейман отличался от других только болтливостью. Это было понятно тем, кто хотел так изменить порядок в зоне, чтоб опасно стало отнимать от положенного, а не наоборот.

Кроме страха требовался личный пример, и ни один "бендера" не воспользовался победой прямо. Кто-то, всем этим заправлявший, не разрешил. Даже освободившееся место Сулеймана занял другой нацмен. Победители продолжали "вкалывать" на общих работах, но желающие одарить одних за счет других теперь должны были крепко подумать.

А уж дисциплина у "бендер" была железная. И конспирация. За три с лишним года жизни на этом лагпункте, не сомневаясь, что есть командование, я не знал, на кого подумать. Уверен, что и малое число украинцев знало.

Впрочем, был один среди моих знакомых, душевные качества которого и природный ум позволяли ему занять место в "правительстве". Только не в "министерстве твердости", а в "министерстве доброты". О нем речь ниже.

Вскоре по зоне распространился лозунг: "Смерть ЗК — радость ЧК". Больше никто не дрожал за свою жизнь. Даже более или менее серьезные драки стали редкостью. Каждую из них разбирал нелицеприятный суд.

От равноправного дележа паика пострадали "придурки", но и их поведение — свидетельство того, что сердца людей добру открыты. Только поначалу некоторым из них казалось диким получать одинаковую с последним доходягой порцией баланды. Но через непродолжительное время большинство из них сами бы отказались от лишнего черпака из чувства справедливости, а лишённые его предпочли бы отказаться из страха. Урвать от паика больше других стало делом позорным и опасным.

Добропорядочность совершенствовалась с каждым днем. Теперь лагерь стал политическим в лучших традициях. Можно было на спор потерять кисет с табаком, какую-нибудь другую лагерную ценность и быть уверенным, что на стене столовой появится объявление, у какого дневального следует получить свою потерю. Немыслимое, непонятое дело для "вольняшек". Женщина-зубной врач, давно вместе со всем населением страны "самого передового строя" утратившая понятия чести и бесчестия, да еще соответственно настроенная против "контриков", говорила своим пациен-

там: "Вы специально развешиваете бумажки, чтоб думали, какие хорошие люди сидят в лагере". Нарядчик, тот самый театральный работник, который отказался быть парламентом в переговорах с блатными, предложил ей подбросить для проверки кошелек. На следующий день они пошли по объявлению. Нашедший лишь спросил: "Скільки було грошей?" Но разве убедишь того, кто сам так не поступит? Врачиха осталась уверена, что все для нее специально подстроено.

Религия

Установилось уважительное отношение к верующим вне зависимости от вероисповедания. Возможно, в веротерпимости сыграло определенную роль то, что Советы в антирелигиозном рвении тоже не различали вероисповедания. Все религиозные отправления в лагере властями запрещены. Но что гонимо гонителями, то поддерживается угнетенными, поэтому даже неверующие заключенные участвовали в религиозных обрядах. Только мусульман я не припоминаю в индивидуальном отпращивании религиозных обрядов.

Постоянно нарастающее количество советских евреев (наборы "буржуазных националистов" и "космополитов") выказывало любопытство к религии своего народа. Сказывалось пробудившееся с появлением еврейского государства чувство национального самосознания. Крепкой верой отличались украинцы-униаты и польские евреи. Но своя вера никого не вела к нетерпимости или фанатизму. Наоборот. Вошло в обычай взаимное поздравление с религиозными праздниками. Для таких поздравлений откладывалось что получше, из домашних посылок, доставалось с воли через "вольняшек".

Бендеровцы несли охрану православных и еврейских религиозных собраний точно так же, как и своих. Устанавливался наблюдательный пост в пределах видимости вахты и цепочка за ним до места собрания. Если в зоне появлялся кто-нибудь из начальства, по сигналу убирались все религиозные атрибуты, инсценировалась обычная встреча друзей.

Впрочем, вряд ли начальство могло быть неосведомлено, если знала вся зона. Вероятней, что во избежание хлопот принимался декорум неосведомленности. Известен случай, когда, несмотря на старания охраны, в кабинку, где молились евреи, забрел надзиратель. Горели свечи, на плечах молящихся были накидки-талесы, но надзиратель закрыл за собой дверь как ни в чем не бывало. Наскок не имел последствий.

Евреи и украинцы

Трудно было себе представить, что последовательная, настойчивая перестройка на лагпункте могла осуществиться стараниями только таких же, как ты сам, заключенных. Все пребывали в уверенности, что организация бендеровцев спаяна связью с руководством вне зоны. Многие признаки подтверждали эту уверенность. В частности, еврейско-украинские отноше-

ния, улучшающиеся по мере успехов государства Израиль и особенно — со времени разрыва отношений с ним Советов.

Конечно, среди бендеровцев были люди, впитавшие вековую вражду к евреям. Но мне известен факт передачи украинцами из рук в руки документа, разъясняющего, что в послевоенном мире евреи стали одной из действенных сил в антисоветской борьбе и потому являются союзниками украинского освободительного движения. Документ был составлен на хорошем литературном украинском языке, которым вряд ли владел кто-либо в зоне.

Во время нарастания гонений на евреев за пределами зоны еврейско-украинские отношения в лагере еще больше потеплели. В этот период я был не раз свидетелем защиты украинцами евреев, а однажды и сам защищен.

В рабочей зоне мы собирали сборно-щитовые дома из ГДР. Работами руководили вольнонаемные прораб и десятник Толик. Как сегодня, вижу Толика лисью мордочку, угодливенькие манеры. Знал, гад, что может обвалиться балка на голову. Прораб, тот только издали посмотрит, даст “ценные указания”, а десятник должен и внутрь заглянуть.

Казалось, что для обоих национальная принадлежность зэков не имеет значения. Все изменники родины — куда дальше? Но вот однажды в конце 1952 года* прибыл прораб в рабочую зону, посмотрел на меня и громко, чтоб все слышали, говорит Толику: “Я же сказал, чтоб ни одного жида на моих объектах не было”. Повернулся и потопал за зону при открытых ртах заключенных.

На следующий день Толик вроде впервые меня увидел:

— Ты, — говорит, — еще не в Палестине?

— Отпусти, — отвечаю, — если можешь. Свечку поставлю.

— Мне жидовские свечки не нужны, — говорит.

Тут вмешался столяр Радчук:

— Що, там у вас в Кремлю вже фашисти? Понавчались у швабив?

Бригадир Бодю:

— Мы того слушать не хочемо. Приймай роботу та геть звидси.

И поджалэтот лис хвост.

В другой раз бендеровцы расправились с зэками-украинцами, бывшими немецкими полициями, с которыми пришлось драться “по национальному вопросу”.

Клуб пана Радчука

Пан Радчук — столяр-краснодеревщик. Пожалуй, “краснодеревщик” — определение слабовато. Столяр-художник. Столяр-музыкант. Есть такая квалификация?

Столярка пана Радчука не имеет никакого отношения к немецким деревянным домикам, которые мы собираем для будущих

* Время “дела врачей-отравителей”

горняков города Чурубай-Нура. Получаемые то ли в счет контрибуции, то ли в счет коммунистической дружбы народов, они сделаны еще с капиталистическим качеством и не требуют вмешательства русского топора.

Но будущие горняки города Чурубай-Нура, а главное — лагерное начальство, нуждаются в мебели. Не на полу же сидеть в этих аккуратных, острокрыших под черепицей, домах.

Мебель делает пан Радчук, а бригадир Бодю, с полного согласия, нет — по распоряжению начальника производственной части, старшего лейтенанта Болотова (лагерная кличка “Болван”), раз в месяц пишет туфтовый наряд, сколько подогнал пан Радчук стропил, половых досок или сколько убрал мусора со строительной площадки. Не важно, что пишет, — важно, чтоб на максимальную пайку.

Мебель из рук пана Радчука выходит под стать этим домам, добротная и красивая — не чета той, что купишь на воле. Впрочем, на воле не купишь никакой. Потому к пану Радчуку очередь.

Сторожихи производственной зоны, бывшие уголовницы Надька и Варька, которые заступают на ночь, после того как нас выведут и снимут охрану, — наши агенты по сбыту продукции столярки на “свободном рынке”. Им работа на нас приносит, пожалуй, поболее дохода, чем казенное жалованье.

Какое-то время Надька и Варька промышляли в нашей зоне и древним женским ремеслом, что называлось на лагерном жаргоне словом “пулялись”, то есть прятались в “зачачку” до того, как нас приведут, пропускали сколько есть желающих и заступали к исполнению официальных обязанностей после нашего увода, как бы пребывая полные сутки на социалистическом производстве. Обе они не были очень уж меркантильны и, если какому зэку приспичит, а нечем платить — отпускали даром.

Только в конце концов вышел скандал с дракой по причине того, что Надька влюбилась в кавказца Османа и через ту любовь других не захотела принимать. Драка разбиралась в каких-то тайных лагерных инстанциях, где вынесли решение зачачку сломать, а зэкам, кому невтерпех, обходиться тем же “ручным способом”, коим обходились до сторожих. С тех пор Осман и Надька по утрам и вечерам смотрят друг на друга сквозь колючую проволоку так, что у сентиментальных вышибает слезы.

Но вернемся в клуб, то бишь в столярку пана Радчука. Вот он стоит, рассматривает кусок доски. Не просто рассматривает —

рассматривает и нюхает со всех сторон. Потом постукивает палочкой, прислушивается. Вздыхает и бросает в общую кучу. Нет, на скрипку не годится. Скрипки не на продажу. За все время пан Радчук сделал четыре: одну себе и две — играющим в зоне. Начальник лагпункта увидел однажды — заказал для сына. Но тянул пан Радчук, и тогда начальник просто отобрал. Забрал себе и пошел. Что ему скажешь? Сделал пан Радчук четвертую, но ни одной не был доволен. “Пиликаты, — говорит, — можно, гра-ты — ни. Дэрэво нэ тэ”. А по мне — скрипки что надо.

В углу верстака стоит инкрустированное панно. Кусочками дерева разного цвета изображено на нем село пана Радчука, что где-то под Ровно. Деревенская улица с хатами, с фигурами сельчан в движении, в работе, с деревьями и облачками в небе. “Оце моя хата”, — показывает пан Радчук на домик с аистовым гнездом на крыше. Сколько раз смотрю — столько показывает, где его хата. И другим тоже. Панно, думаю, специально не оканчивается. Пан Радчук не умеет отказывать, если попросят. Просто не было случая, чтоб отказал. А так — неоконченная работа.

У входа в столярку на гвозде большой кисет, почти мешок с табаком. Его не спрячешь в карман. Табак этот — обязательная часть платы за сбываемое на “свободном рынке”. Закуривай кто хочет. Сам пан Радчук некурящий. Не только закуривай. Радчук в одиночку куска хлеба не съест. Еще и в зону жилую таскает, есть там вечно голодные.

От полной раздачи спасает Бодю. Практичный парень. Ведет все расчеты, отделяет, кому что полагается, в том числе и надзирателю производственной зоны.

Надзиратель у нас татарин. Но из тех, кто заповедью Корана насчет спиртного пренебрегает. Потому от трудов пана Радчука часть идет надзирателю на водку.

Вот подумайте теперь, как трудно приходится Его Гениальности с такими подручными. Что Он может поделывать, если все подданные продаются, кто за водку, кто за шкаф? Удавил бы, может, всех собственными руками, да рук всего две. Нас миллионы. Так и живем.

Еще в клубе пана Радчука — кашевар производственной зоны, малолетка Стасик. Взяли Стасика “у лиси”, когда партизанам еду нес. Партизанам ли, не партизанам — мало кому еду можно нести? Сколько ни били Стасика на допросах -- ничего не выбили. Так что пострадал только сам. Сейчас ему семнадцать лет, а вы-

глядит на четырнадцать, не более. Щуплый, волосы и брови — лен. И лицо в веснушках — сметана с сахаром. Сварит Стасик свою кашу из саго, вроде пшенной сечки, — и в столярку помогать. Инструментальщик-кладовщик Коля “з велький Украйны” тоже всегда здесь. Остальные приходят, кто может и хочет, сколько-нибудь отдохнуть, покурить.

Как только забежит Бодю при мне, я его тут же начинаю “заводить”.

— Так что, — говорю, — Бодю, проиграли вы, потому что дальше своего леса не видели?

— Как так? — спрашивает.

— А так, — отвечаю. — Думали вы несколькими западными областями от России отмахнуться. А под боком у вас тридцатимиллионная Украина, которая не пошевелилась. Значит, не работали с ней.

— Как не работали?! Гонцов посылали агитировать. Да разве его (мотает головой в сторону Коли-кладовщика) подымешь? Ему же все равно, что царь Мыкола, что Сталин, что Гитлер. Только бы хату не спалили.

Коля, грузный, флегматичный, лыбится.

— Люди есть люди, — продолжаю. — Раз не подняли — значит, плохо работали.

Бодю кипятится, доказывает, что на “зелький Украйны” народ порченый.

— Все, як оцей Мыкола, — снова кивок на кладовщика.

Наконец Коля открывает рот:

— Американцы придут — освободят.

У Коли, как у всех севших после 48-го года, необозримый срок: двадцать пять лет лагерей. Четвертная. Он всей душой надеется, что вот-вот с неба посыпятся ангелы в американской форме освобождать заключенных, Россию и Украину. Единственная Колина надежда. В своих людей он не верит, в Бога тоже. В споре на религиозную тему Коля как-то сказал:

— Если бы был Бог в небе, разве ж он допустил бы, чтоб матери ели своих детей? Вам за Польшей и не снилось, что на Украине было в 33-м году. Сломали нас. Начисто сломали.

Теперь Коля надеется только на ангелов-американцев. Жадно выискивает в газетах, скоро ли начнется.

— Не жди, Коля, — говорю ему. — Американцы ногтя от своего

парня не пожертвуют за твою голову. Им что есть Николай Хоменко, что нет его.

-- А вот придут — я тебе нос утру.

— Ну, ну. Скажешь, когда в газете вычитаешь.

Вечером пан Радчук мне выговаривает:

— Нэ гоже то, Давидка. Нэ гоже у людыны надию рушыць.

— Так это же правда, пане Радчук.

— Мыколи зараз нэ правда твоя потрибна, а надия.

И вот думаю я часто. Неужели пана Радчука перековали в работника какого-нибудь деревокомбината? Неужели лихой партизан Боду стал на своей Вольни председателем колхоза? А Стасик, в детстве кагебистами битый, неужели же председатель там чего-то? Нет, не подходят им эти одежды...

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
ВЫПУСКАЕТ НОВУЮ КНИГУ
КИРИЛЛ ХЕНКИН
"РУССКИЕ ПРИШЛИ!"**

300 стр.

14 долл.

В своей новой книге известный автор ("Охотник вверх ногами" и другие) задается вопросом о том, как формировалась "третья эмиграция". Кто столь заботливо мог отобрать своеобразный букет талантливых писателей, неунывающих стукачей, высококвалифицированных уголовников? Кто сумел бы очистить Одессу и Кутаиси от черного бизнеса, а Вильнюс и Ригу от сионизма? Кто позаботился об очистке Москвы и Ленинграда от ненадежного элемента и об укреплении кадров радиостанции "Свобода"? Читатель уже полагает, небось, что догадывается об ответе? Так вот — его ждут неожиданности.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

О. Кустарев

ЧЕГО ЖЕ ТЫ ХОЧЕШЬ?

(Проблемы интеллектуалов
в романе Сола Беллоу
"Декабрь декана")

... Их сознание лишено необходимых свойств, позволяющих понять взаимосвязь человека и общества, личной биографии и общей для всех истории, "Я" в мире и мира...

Райт Миллс

Последний роман Сола Беллоу "Декабрь декана" не отличается от нескольких его предыдущих романов: он принадлежит к ряду интеллектуально-реалистических. С. Беллоу развивает ту реалистическую традицию, которая понимает и изображает общество как среду. Поскольку он дает не безучастное описание среды, а оценочное, его реализм можно назвать "критическим". Поскольку критика вложена в мысли и разговоры центрального персонажа, роман может быть назван интеллектуальным.

Обилие рассуждений и размышлений ставит работу Беллоу на грань художественной литературы. Тем не менее это художественная литература. Прежде всего (особенно с точки зрения читателя) потому, что книга Беллоу по-настоящему увлекательна. Существует очень долгая и мощная традиция, в силу которой считается, что роман должен быть интересным. Что обеспечивает роману это важное свойство? Роман делает интересным некоторая неясность. Неясность к концу романа может разрешиться, а может и не разрешиться, но так или иначе картина, нарисованная в романе, должна быть не вполне понятна, интриговать.

Романной коллизии должна быть присуща некоторая неразрешенность, неясность взаимоотношений между персонажами, неясность их мотивов, их целей, их облика, наконец — неясность в их отношении к самим себе и к своей среде. Последнее есть интеллектуальная проблематичность, внесенная в структуру романа. Именно эту интеллектуальную проблематичность мы обнаруживаем в романе Сола Беллоу.

Герой Беллоу — человек в смятении. В то же время общество (среда), к которому принадлежит герой и на которое мы смотрим его глазами, тоже находится в состоянии кризиса. Какова же связь между кризисом героя и кризисом общества? Что, так сказать, “первично”? Наука решила бы этот вопрос условно и была бы по-своему права. Чистая идеология сделала бы однозначный выбор. Интеллектуально зрелый и живо рефлекслирующий человек колеблется. История его колебаний несет в себе заряд драматизма.

Что же заставляет нас колебаться? Кажется, что возможность судить об обществе дает нам лишь положение в нем общества. Но если бы это было только так, все было бы сравнительно просто. При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что, во-первых, взгляд извне не обеспечивает понимания. Во-вторых, из своей культуры “не выскочишь”. В-третьих, эта проблема имеет и моральный оттенок, во всяком случае, в традициях иудео-христианского морализирования. Имеем ли мы моральное право разглядывать и судить других? Есть ли у нас моральное право отделять себя от других ради суждения о них?

Все эти проблемы кажутся неразрешимыми. Однако можно думать, что они все же могут быть “сняты” в рамках личного опыта. Конкретно для человека это означает: быть таким же, как все, и одновременно отличным от всех. Каким же для этого надо быть и как себя вести? Что это за странный способ существования и тип личности? Мыслимо ли это вообще? Герои Беллоу как раз обычно находятся в этом экспериментальном состоянии.

Вот, например, мистер Саммлер из романа “Планета мистера Саммлера”. Он как бы в нем общества и внутри него. Его “потусторонность” связана с такими прозаическими обстоятельствами, как старость и полное отсутствие формальной рабочей функции. Он может смотреть на людей со стороны, и признаки этой “остраненности” обнаруживаются во всем его поведении. Но в то же время в своей памяти он принадлежит человеческому

сообществу, и его внутренняя причастность всему происходящему тоже хорошо видна. Удивительное сочетание "остраненности" и "причастности" осуществляется в фигуре Саммлера и вызывает доверие и уважение. В этом импозантность и "возвышенность" Саммлера, а одновременно и редкостная художественная удача автора.

Герой последнего романа Беллоу еще сложнее. Саммлер не задумывался над возможностью быть "таким же, как все, и в то же время иным". Жизнь, так сказать, помогла ему. Герой последнего романа Альберт Корд пытается решить эту проблему вполне сознательно.

Еще одна неопределенность сообщается роману темой Апокалипсиса. Будет катастрофа или не будет катастрофы? Что думает по этому поводу герой? И в какой роли он выступает — пророка катастрофы или агента катастрофы? Последнее не совсем исключено, потому что если считать, что он неверно оценивает состояние общества, то его, так сказать, "клевета на действительность" может как раз ввергнуть общество в кризис, в котором оно вовсе не находится само по себе. Мы все по личному опыту знаем, что именно внутренняя готовность к неприятностям часто как раз и навлекает на нас неприятности.

И наконец, герой поставлен автором не в одну, а одновременно в две среды: он рефлексирует на так называемый свободный мир и так называемый коммунистический мир. По ходу действия герой попадает в Бухарест и получает возможность взглянуть собственными глазами на так называемое тоталитарное общество.

Естественно ожидать от него сопоставлений и параллельных оценок. Читатель (особенно русскоязычный) инстинктивно ждет: кого выберет герой? Подобно тому как читатель любовного романа ждет, какую из двух девушек выберет себе в невесты молодой герой. Здесь, в сущности, та же самая "структура драматизма". С тем, что герой выбора не сделает вообще, никто всерьез не считается. Кажется неизбежным, что выбор будет сделан, потому что такой выбор теперь — интеллектуально-моральная повинность, налагаемая на писателя читателем.

Вот в основном тот содержательный фон, на котором происходят интеллектуальные приключения в романе Сола Беллоу. Проследим теперь за героем романа в вихре этих приключений и порассуждаем вместе с ним.

Герой романа Альберт Корд одновременно живет в мире и наблюдает за ним со стороны, во всяком случае, пытается "держаться" в такой трудной позиции. Он родом из Чикаго и остро ощущает свою принадлежность

этому городу. В его сознании постоянно возникают бытовые, политические, культурные и топографические реминисценции Чикаго. Чикаго для Корда — место обитания, символ цивилизации и сама цивилизация, предмет глубокой озабоченности. Ему кажется, что Чикаго неблагополучен. Безусловный (для Корда) признак неблагополучия, точнее, даже форма неблагополучия — насилие. Нужны существенные перемены. Какие перемены и кто должен проявить инициативу?

Корд — интеллектуал по роду занятий. Но это не все. Он начинает понимать себя как представитель привилегированного сословия. Это очень существенно. Ведь чувство социальной ответственности возникает у человека тогда, когда он осознает себя как сословие. Есть сословия, определяемые через обязанности: это низшие сословия. Но есть сословия, определяемые через привилегии: это высшие сословия. Сословная структура общества не симметрична по признаку “привилегии—обязанности”. У низших сословий привилегий нет, разве что некоторые символические, утешительные. Так, например, самые бедные в этом мире могут утешаться тем, что не несут ни за что ответственности и в этом смысле — свободны. У высших же сословий есть и привилегии, и обязанности, осознанные и кодифицированные. Интересы общества предполагают, что привилегированное сословие понимает свои обязанности.

Однако это не всегда имеет место. И даже наоборот: в истории весьма часты случаи, когда обладатели привилегий забывают о своих обязанностях. Обычно это чревато для них и для всего общества дурными последствиями: так было с французским дворянством накануне революции. Накануне реформации в Европе много говорили о забвении своих обязанностей церковным сословием. Забвение сословных обязанностей чаще всего можно наблюдать у сословия, вступившего в стадию разложения, упадка.

Но возможна и ситуация иного типа. Слабое осознание своих обязанностей характерно и для слишком молодого сословия. Молодым сословием я называю такое, которое еще не осознало своей привилегированности. Речь идет о группе, фактически находящейся в привилегированном положении, но не понимающей этого факта. Этот период “молодости сословия” может затянуться по разным причинам. Так, по-видимому, обстоит дело с интеллектуалами. Особенно это относится к советской интеллигенции, на что есть особые причины.

Но если иметь в виду интеллектуалов вообще (и Запада, и Востока, и даже отчасти бывшего колониального Юга), то обнаруживается одно общее обстоятельство, позволяющее им “затянуть” свое сословное отрочество. Это глубокая традиция самоинтерпретации как профессиональной группы.

Интеллектуал, понимающий себя как представитель конкретной профессии, чувствует себя ответственным только перед производственной единицей, к которой он приписан. Но ответственность интеллектуалов — иного рода. Так же как интересы частного предприятия не совпадают с интересами общества, обязанности интеллектуалов по отношению к работодателям не совпадают с их обязанностями перед обществом. В наше время этот конфликт проявился в ярких биографиях таких людей, как Оп-

пенгеймер и Сахаров. Часто, к сожалению, он трактуется как чисто этический. Но эта трактовка поверхностна. Дело в том, что и у Оппенгеймера, и у Сахарова в сознании произошел сдвиг, имеющий социальную суть. Лично-этическая сторона этого сдвига имеет значение для них самих, для нас же гораздо важнее его социальная сторона. Они спросили себя: "В чем наш долг как интеллектуалов по социальному положению?" И дали известный ответ.

Ответ, который они дали, представляет собой, однако, не более чем их версию. Они определили, как считали нужным, обязанности сословия интеллектуалов. Однако возможны и на самом деле бытуют другие версии долга интеллектуалов. Поведение так называемых "бессовестных" и "трусливых" советских академиков связано, я сказал бы, не с их предполагаемой бессовестностью и трусостью, но с иной трактовкой социальной роли интеллектуалов, а также иным пониманием собственных интересов. Последнее особенно важно.

Почему-то автоматически предполагается, что каждый интеллектуал, сотрудничающий с властью, как бы предает интеллигенцию в целом. Но какие у нас основания так считать? По меньшей мере правдоподобно и другое предположение: упомянутый "отдельный" интеллектуал просто понимает или чувствует (вот оно, классовое чутье!) подлинные интересы своего класса.

Но различия в поведении интеллигентов, разводящие их, в сущности, если не на разные стороны баррикад, то, по крайней мере, на разные стороны зала заседаний, возможно, свидетельствуют о существовании разных социальных типов интеллектуального сословия, то есть, по сути дела, разных сословий, определяемых пока что одним и тем же именем. Где проходит граница между этими двумя "сословиями"? То, что изображено в романе Гола Беллоу, дает нам возможность высказать по этому поводу некоторые соображения.

Внешне, то есть по своему поведению, интеллектуалы разделяются на тех, кто критически настроен по отношению к современному мировому обществу, его состоянию и тенденциям ближайшего развития, и тех, кто считает, что все обстоит благополучно.

В другом плане интеллектуалы разделяются все явственнее на профессионалов и "люмпенов". Отношения между ними очень содержательны и заслуживают самого внимательного анализа.

Наконец, еще в одном плане интеллектуалы делятся на техников и гуманитариев. В советском обществе это разделение осознается особенно отчетливо и обросло целым рядом небезынтересных предрассудков. Все, кто жил в 60-х годах в СССР, помнят шумную дискуссию о "физиках" и "лириках", прямо-таки доминировавшую одно время в интеллектуальной жизни. Все три аспекта иллюстрируются в романе Беллоу.

Альберт Корд — представитель гуманитарного крыла интеллигенции в профессиональном смысле. Его сфера — журналистика и социальная наука, между которыми он отчасти колеблется и которые отчасти пытается соединить. Он также университетский администратор, то есть до некоторой степени профессиональный политик. Зыбкость его профессионального лица как бы подчеркивает большую определенность сословно-идеологиче-

ского типа. Особенности его характера и поведения, обозначенные в романе, дают скорее социальный тип, чем уникальную персону.

Чисто физиономический этот тип хорошо нам знаком: небрежно одетый, немного унылый, меланхоличный, мягкий человек. Читатели русской литературы хорошо знают эту фигуру. Русская литература богата типологическими этюдами этого рода: Тургенев, Чехов, Горький. Так называемый "типичный интеллигент".

В разговорах, с кем бы Корд их ни вел, он как-то почти сразу и автоматически попадает в положение человека, вынужденного отвечать на агрессивные вопросы, объяснять, оправдываться и обороняться. Сам он не только не агрессивен, но агрессивность его оппонентов вызывает у него головную боль, физическое недомогание, опустошенность, усталость, приступы пессимизма. Его усталая неуверенность в себе и в своем знании идет, пожалуй, не от личного комплекса неполноценности. Она, скорее, в его идеологии. Корд не желает симулировать торжествующую ясность представлений, если ее на самом деле нет. Самоуверенная твердость оппонентов подавляет его и расхолаживает до почти полной утраты интереса к дискуссии. За четким догматизмом оппонентов он видит пустоту, и спорить с ними кажется ему бессмысленно. Впрочем, если Корд и не ввязывается в споры, то он все время спорит мысленно. Его дискуссия с оппонентами дана по большей части в рассуждениях с самим собой.

Корд сознательно стремится к широте наблюдений. Когда-то это толкнуло его в журналистику, а занятия журналистикой в свою очередь сделали широту наблюдений почти привычкой. Замечать и оценивать приходится столько всякой всячины и так быстро, что интуитивная обработка информации оказывается единственно практичным способом "схватить" и "не упустить" окружающее. Установка на детали, на максимум деталей, на детальность самих деталей. Пристальное внимание к человеческим типам, непрестанные упражнения в физиогномике, сортировка человеческих лиц, городских ландшафтов. При этом наблюдение за внешностью — как бы попытка по внешности опознать внутреннее — сопровождается грустными сожалениями по поводу того, что полное опознание невозможно. Скептическое признание своего незнакомства с "Другим", доходящее до серьезных опасений в том, что человек и себя-то толком не знает. Опасений, может быть, вовсе небезосновательных, — ведь утверждают некоторые мыслители, что понять самого себя можно только в процессе общения с "не-я", с другой индивидуальностью, с другой культурой.

Культ объективности, страстное, как говорит сам Корд, желание быть беспристрастным, тем более интенсивное, что с каждым шагом в сторону объективности становится все яснее, как нечеловечески трудно ее достигнуть. человеческий ли это вообще удел — пресловутая объективность?

Убеждение в том, что культура (культурное наследие) существует как бы впустую. Прежде всего культура отделена от народа. Отчасти потому, что народу она недоступна как всякое дорогостоящее благо. Отчасти потому, что народу она и не нужна. Пролетаризирующиеся массы создают собственную культуру (субкультуру, если угодно). Это — культура отчаяния. Она-то и порождает насилие как способ существования.

Борьба с насилием полицейскими методами не приносит успеха. Можно

ли искоренить культуру отчаяния и насилия? В противостоящей ей культуре собственников культурного наследия не содержится указаний на этот счет. "Мы не знаем, как подойти к этим людям", — думает Корд. Пропать. Пропать между "сословием экспертов" и дезориентированной толпой не может быть преодолена, если культура, претендующая на свою достаточность для общества, не осознает этой пропасти. И также не содержит в себе сознательного намерения эту пропасть преодолеть.

Ни такого осознания, ни такого намерения в нашей культуре теперь нет. Нет по нескольким причинам. Во-первых, из всего культурного наследия наша культура взяла и довела до логического предела ту тенденцию, которая ведет к отказу взглянуть в лицо действительности. Корд иллюстрирует это примером Рильке. В одном из разговоров с женой Корд замечает, что "Рильке избегал обсуждать войну. Он чувствовал себя оскорбленным, когда друзья пытались разговаривать с ним на эту тему. Не просто потому, что действительность была слишком жестока и бесформенна, чтобы говорить о ней, но потому что обо всем этом можно было говорить только в газетных выражениях. Когда вы произносите это, говорил Рильке, вы испытываете отвращение и ужас к тому, что сходит с вашего языка". Но Корд продолжает: "Кто-то, однако, заметил, что дорога в вечность начинается на Грэнд Сентрал Стейшн. Он, конечно, имел в виду, что отправной точкой для нас всегда должна быть современная реальность". По мнению Корда, этот принцип предан забвению. Это ведет к удивительной слепоте и безмятежности собственников культурного наследия. Благородно-трагический эстетизм Рильке (ставшего между тем элементом культурного наследия) в руках элигонов превращается в эгоистический снобизм.

Во-вторых, культура утратила собственное значение и функцию. Она выродилась в знание о культуре. Она стала циркулирующей информацией, "культурным капиталом", "культуваром". Отделенное от народа "культурное наследие" попало в руки манипуляторов. Они сделали манипулирование культурой своей профессией и получают за свое оперирование "культурным наследием" зарплату (прибыль? ренту?). Используя культурное наследие как сырье, они изготавливают продукт для регулярного потребления, так называемую "духовную пищу", которую и навязывает потребителю, способному платить, эксплуатируя главным образом его престижные чувства. Такой манипулятор представлен в романе Беллоу. Дьюи Спэнглер — критик Корда, по-видимому, антагонист автора*.

Корд и Спэнглер — дети одной и той же культуры. Оба они родились и выросли в Чикаго и приобщались к культурной традиции через Шекспира, Ницше, Рильке и т. д. и т. п. И профессиональное их лицо примерно то же. Оба журналисты. Но отношение их к культуре разное. Корд пытается сохранить ее изначальный смысл и ценности. Спэнглер использует ее как ресурс. Возникает ситуация, подобная той, о которой мы говорили выше. Корд, сознающий свою привилегированность, делает и следующий шаг: он сознает обязанности своего сословия. И это делает его отщепенцем. Спэнглер со сво-

* Рискну предположить, что в имени этого персонажа не случайно соединены два популярных имени нашей эпохи: философа-прагматиста Джона Дьюи и пророка крушения западной цивилизации О. Шпенглера.

им бездушным отношением к культуре как к капиталу и инструменту манипуляции, по-видимому, вполне отражает дух сословия, к которому принадлежит. Неясно, насколько он сознает свою привилегированность, но обязанностей интеллектуального сословия он не сознает — это точно.

Его отношение к Корду типично для уверенно чувствующего себя члена большого коллектива. Он видит в Корде злополучного ренегата общего дела. Он ведет себя с Кордом умеренно-раздраженно и умеренно-покровительственно. Как полагается солидному дяде вести себя с дядей-чудаком из той же семьи.

С точки зрения нормального функционера от журналистики, каким является Спэнглер, Корд — больной человек. Об этом, по мнению Спэнглера, свидетельствует "импрессионистский", "поэтический" метод Корда как журналиста. Но больше всего о болезненности Корда свидетельствует его апокалипсизм. Корд и в самом деле склонен к апокалипсизму. Его апокалипсизм, однако, не результат снобистских предубеждений, а результат пристальных наблюдений за окружающей средой.

Пристальное наблюдение за окружающим миром отнюдь не естественное занятие человека. Оно требует волевого решения; наблюдать можно только сознательно. Установка же на наблюдение вызывает к жизни идеологию э к о л о г и з м а. Ибо экологизм — это идеология. Науки всегда порождали соответствующие идеологии. Физика породила физикализм. Биология — биологизм. Экономика — экономизм, кстати и сейчас наиболее влиятельную идеологию нашего общества. Соответствующие науки оказывают влияние на весь строй нашего мышления. Теперь э к о л о г и я, наука об окружающей среде, входит в наше сознание.

Проблема среды всегда была в центре наиболее последовательного вида гуманитарной активности — так называемой реалистической литературы. Сол Беллоу — представитель этой литературы. Он развивает ее традицию и ставит вопрос о среде в духе эпохи, то есть не просто изображает среду, но также изображает рефлексию на среду со стороны научно-технического (шире — интеллектуалистского) сознания и самих носителей этого сознания.

Состояние окружающей среды Корд оценивает как крайне неблагоприятное. Этого следовало ожидать, и это имеет прямое отношение к драматизму романа. Но драматизм романа питается еще одним источником. Сол Беллоу считал нужным обосновать настроение своего героя не только состоянием чикагских трущоб, символизирующих в романе неблагоприятие Запада, но и состоянием коммунистического мира.

Своя рубашка, говорят, ближе к телу. Западному либералу пристало ругать Запад, восточному — Восток. Истина эта настолько стара, что вряд ли уже когда-нибудь устареет. Но вот представление о том, что такое "своя рубашка", меняется. Экологической идеологии глубоко присуще сознание единства мира. В этом едином мире все части зависят от всех и от целого. И если прибегнуть к самой крайней формулировке, проблемы чикагских трущоб и советские продовольственные проблемы каким-то образом связаны и могут быть решены только вместе. Так в поле зрения экологически мыслящего Корда попадает Восточная Европа.

Сюжетно это выглядит так. Жена Корда — румынка, невоз-

вращенка. Ее старая мать умирает в Бухаресте. Корд сопровождает жену в Бухарест к постели умирающей матери и на (очевидно) предстоящие похороны. Здесь, в Бухаресте, он тоже смотрит, замечает, запоминает. Та же ориентация на детали, то же внимание к внешним физиономическим чертам. Из зафиксированных Кордом деталей складывается портрет коммунистической восточно-европейской страны: подавленные, запуганные люди, очереди, пустые магазины, пронирыливые шабашники, наглые начальники и характерные декорации — ветшающая архитектура в стиле французской Третьей Империи. Все это на мрачном фоне похорон и промозглой декабрьской атмосферы.

Черты восточноевропейского общества, воспроизведенные в наблюдениях Корда, сперва производят впечатление клише, заимствованных из эмигрантской антикоммунистической печати. Потом становится ясно, что Корд смотрит на чужую страну извне и перед ним, естественно, ее обобщенный образ. Чикаго воспринимается Кордом и описан Солом Беллоу изнутри, Бухарест — снаружи, с помощью чисто символических деталей.

Террор и насилие господствуют там и там. В Чикаго — террор снизу, в Бухаресте — террор сверху. Оба общества терроризированы. Впрочем, природа террора оказывается различной. Корд высказывает интересное соображение по этому поводу. На Востоке, как ему кажется, сознательно установлен некий "стандарт страдания". И каждый молчаливо согласен принять этот стандарт. В американской культуре люди, наоборот, ориентируются на "стандарт благосостояния". Иными словами, на Востоке общественная жизнь регулируется отрицательными стимулами, а на Западе — положительными: живи и жить давай другим.

Восточноевропейское общество Корд характеризует как архаичное. Бегство же Запада по пути прогресса, увы, не спасает его. Гони террор в дверь, он влезет в окно. Лишенные доступа к стандарту, который всегда в центре внимания всего общества, общественные низы ожесточаются и начинают терроризировать благополучное большинство, не говоря уже о терроре как норме внутри самой их субкультуры.

Сопоставляя состояние динамичного Запада и окаменевшего Востока, Корд вносит существенный оттенок в свой апокалипсизм. Логика его импровизаций как будто подсказывает нам, что Западу грозит превращение в Восток. Вот, собственно, та катастрофа, которая грозит Западу в обозримом будущем. Быть

может, это и не мифический Апокалипсис, не гибель, так сказать, человечества. Но для Корда крушение “Западного Социального Проекта”, может быть, означает не меньше, и, я думаю, многие из нас с ним согласились бы.

Ведь на Западе затеялся уникальный Эксперимент. Была принята попытка создать перманентно-динамичное общество со свободой как основной ценностью. На карту поставлена судьба этого Эксперимента. Сползет Запад обратно к опробованной тысячелетиями общественной системе, в которой свобода вообще не является объектом рефлексии и оценочных суждений? Окажется история Запада последних 400 лет уникальной еретической флуктуацией или станет началом принципиально новой фазы в развитии человечества? Вот интересный вопрос: кто бы на него ответил?

Итак, положение аварийное, и нужно что-то предпринять. Что именно и кто должен это сделать? Старый денежный класс не способен что-то исправить, так как полностью погружен в ситуацию и по своей природе не может оценить ее со стороны. Осознать положение, хотя бы только осознать, должны бы интеллектуалы.

Но для этого они должны понять, что являются привилегированным сословием, отдать себе отчет в том, что из их привилегий вытекают определенные обязанности, сформулировать эти обязанности и приступить к их выполнению.

Что же происходит на самом деле? Корд глубоко разочарован деятельностью двух мощных групп интеллектуалов: журналистской и академической. В свое время Корд оставил журналистику, так как разуверился в ее возможностях положительно воздействовать на общество. Этот институт, чья задача как будто бы заключается в том, чтобы информировать, парадоксальным образом дезориентирует общество, в сущности мешая ему осознать свои действительные проблемы. Но самое существенное - это то, что журнализм превратился в рассадник ложных ценностей.

Свое отношение к профессуре Корд выражает тоже достаточно ясно и резко. Например. “Филистерские по происхождению гуманитарно-академические круги потянулись, как к магниту, назад к филистерскому ядру американской общественной традиции”. И далее: “Профессор, получивший постоянную позицию, становится похож на эту самую мамашу с восемью детками, сидящую на взл-фере”.

Интеллектуалы-гуманитарии превратили культурное наследие

в сырье для своего бизнеса. А как потребители своей же собственной продукции они превратили культуру в элемент комфорта. Кроме того, они потребляют культуру на глазах у всех остальных, демонстрируют свое потребление и, используя свой традиционный престиж, по существу, понуждают простодушного обывателя подражать им в этом театрализованном потреблении.

Горестные рассуждения Корда напоминают, по мнению его антагониста Спэнглера, высказывания Жюльена Бенда о “предательстве интеллектуалов”^{*}.

Пока Корд обдумывает все это, вспоминая свой родной Чикаго и скользя взглядом по чужому, холодному (в декабре) Бухаресту, с ним ведет переговоры одна американка балканского происхождения, оказавшаяся по стечению обстоятельств тут же. От имени

^{*} Имя Жюльена Бенда произнесено в романе. Можно считать это указанием на связь книги Беллоу с книгой Бенда. Поэтому целесообразно изложить основные идеи этой интересной и довольно уже старой работы. Она так и называется — “Предательство интеллектуалов” (Париж, 1927). Главная мысль Бенда выглядит следующим образом: “Цивилизация... невозможна, если не соблюдается некоторое разделение функций. Рядом с теми, кто предается мирским страстям и прославляет удобные для себя добродетели, существует класс людей, разоблачающих их мирские страсти и прославляющих непреходящие ценности”. Так и было, думает Бенда, до сих пор. А что же теперь? Вот что: “Люди, чья задача противостоять оппортунистическому реализму толпы, на самом деле возбуждают в толпе реалистически-цинические настроения. Поэтому я решаюсь назвать поведение интеллектуалов предательством”.

Реализм, пишет Бенда, был свойствен светской черни всегда. Многие интеллектуалы, возможно, тоже были достаточно практичны в быту. Но чего раньше не было — так это апологии практицизма как моральной добродетели. Поворот интеллектуалов в сторону новой идеологии, думает Бенда, означает не просто капитуляцию перед несовершенной реальностью, но и создание своего рода “религии реализма”.

Бенда обсуждает разные мотивы и корни этого “предательства”. Среди них он называет карьерные соображения. Попросту говоря, интеллектуалы стали потакать толпе, потому что за это платят. Он указывает и на основную идейную форму, в которой происходит коррумпирование интеллектуалов. Это — национализм. Национализм кормит кое-кого и сейчас. Появились новые идеи, эксплуатация которых обеспечивает работой, влиянием и престижем толпы обмирщенной гуманитарщины. В массах разжигается стремление к символическому обладанию артефактами, что часто невозможно без посредничества профессионала-гуманитария. Ведется огромная работа по переработке элементов культурного наследия в товары, пригодные для престижного потребления. Расцветают исполнительские искусства. Неспособность человека, лишенного общинной и даже нормальной семейной жизни, оставаться наедине с самим собой жестоко эксплуатируется шарлатанами от психиатрии, специалистами по медитациям, нагло обещающими людям восстановление душевного равновесия и лишаящими их последних остатков духовной самостоятельности. Промышленность духовного обслуживания населения заполняет вакуум, возникший после упразднения общинной и церковной жизни

некоего геохимика по имени Бич она предлагает ему принять участие в задуманной Бичем природоохранной акции. Профессор Бич обнаружил вредное влияние на организм человека одного химического элемента и установил, что уровень насилия в разных местах обитания находится в сильном соответствии с содержанием этого элемента в организме человека. По его мнению, химическая природасоциального кризиса налицо.

Корд относится к этой "химической" версии с недоверием. Ему кажутся более реалистическими те взгляды, которые объясняют кризис культуры имманентными культуре факторами. Стиль объяснений Бича внушает ему подозрения.

Вступать в союз с Бичем или не вступать? Эта проблема как рефрен проходит через весь роман. Бухарестский опыт, почти враждебные беседы со Спэнглером (он тоже случайно в Бухаресте) и воспоминания о недавних событиях в Чикаго склоняют Корда принять предложение Бича.

Но прежде он хочет знать, почему сам профессор Бич добивается союза с ним так настойчиво. Оказывается, Бич читал мрачные статьи Корда о Чикаго. Но дело не только в том, что понимающего суть дела Бича тянет к понимающему суть дела Корду. Бич не верит, что научное понимание проблемы может быть доведено до сознания широких кругов в его первоначальном виде. Язык науки достаточно специален и не предназначен для формулирования ценностей. Лишь гуманитарная традиция с ее инструментами-символами может обеспечить осознание массами того положения, в которое они попали.

В романе Сола Беллоу подлинная наука и подлинная гуманитарная традиция возвращаются в общее лоно после довольно длительного раздельного существования, обусловленного глубокой профессионализацией научного знания, чтобы выработать общую идеологию и общую стратегию.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Слову надо дать отстояться. Отстояться должно слово сказанное и вдвойне -- слово о слове. Быстрота реакции — не самое выигрышное качество филолога. Основная рабочая гипотеза — “Рукописи не горят!” — властно диктует осторожный и осмотрительный оптимизм. Этим филология отличается от смежных опасных дисциплин (пожарного дела, например). Побочным эффектом исторического оптимизма является то, что современной словесности отказано в праве на понимание.

Более того, рискуешь и сильно рискуешь нарваться на бдительных современников. Ну, например:

“Многоуважаемый редактор,

В 23 номере Вашего журнала...

Я знаком с реальным контекстом этого стихотворения и могу заверить...

...и фактические ошибки...

...и такие толкования пресечь...

Искренне Ваш. .”

Жалоба эта подана на стихотворение Иосифа Бродского “Коньяк в графине цвета янтаря...”. То есть со стихотворением все в порядке — не порядок в толковании. Поскольку из опубликованной версии “Письма в редакцию” (“22”, № 30, 1983, с. 133) понять уж и вовсе ничего нельзя, позволю себе процитировать письмо редактору (от 06.05.83) :

Зеев Бар-Селла

ВСЕ ЦВЕТЫ РОДСТВА

(Из книги “Иосиф Бродский.
Опыты чтения”)

“Бар-Селла дает понять (вполне справедливо), что литовский цикл Бродского связан с моей скромной персоной, а затем допускает, что стихи являются диалогом с неназванным литовским поэтом (т. е. Томасом В.)”.

Так вот, ничего подобного я не давал и в стихи “Коньяк в графине...” никакого Томаса В. не допускал. Но я мог и ошибаться, а г-н Венцлова — и вправду знать что-то такое, что...

Что? Допустим (а почему бы нет?), что стихотворение возникло в условиях, свидетелем которых являлся мой оппонент. Согласится ли он, что знание реальных обстоятельств (точное название улицы, название кафе, дата республиканской олимпиады) эквивалентно пониманию стиха? Уверен, что не согласится. Самый изысканный путеводитель по Парижу не заменит стихов о соборе Нотр-Дам, но и стихам не суждено заменить путеводитель. Томас В. исходит из убеждения, что он и именно он является собеседником поэта (стоит ли упоминания, что тем самым он принимает мою интерпретацию стихотворения как диалога?), а я в этом не убежден. Как не убежден и в том, что статья о палиндроме в журнале “Наука и жизнь” (1966, № 7) — была чем-то большим, чем звеном в цепи ассоциаций, не имеющих отношения к палиндрому.

Вполне вероятно и то, что кандидатура Межелайтиса как объекта пародии может быть отклонена; однако несомненно, что личности автора статьи о палиндроме (В. Кирсанова) в “Графине...” уж и вовсе не найти. Да и вообще, мой анализ есть не больше, чем попытка раскрыть смысл стиха, и образ оппонента поэта в стихе я рассматриваю как собирательный...

Короче говоря, мое расхождение с Т. Венцлова состоит в том, что он считает стихи И. Бродского иллюстрацией, а я поэзией.

А поэтому я решаюсь взяться за анализ того, чему не были свидетелями ни я, ни сам Бродский. Речь пойдет о зимней кампании 1980-го года...

СТИХИ О ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 1980-го ГОДА

*В полдневный жар в долине Дагестана”
М. Ю. Пермонтов*

1

Скорость пули при низкой температуре
сильно зависит от свойств мишени,

от стремленья согреться в мускулатуре
торса, в сложных переплетеньях шеи.
Камни лежат, как второе войско.
Тень вжимается в суглинок поневоле.
Небо — как осыпаящаяся известка.
Самолет растворяется в нем наподобье моли.
И пружиной из вспоротого матраса
поднимается взрыв. Брезгающая воронкой,
как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться
в грунт, покрывается твердой пленкой.

2

Север, пастух и сеятель, гонит стадо
к морю, на Юг, распространяя холод.
Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана.
Механический слон, задирая хобот
в ужасе перед черной мышью
мины в снегу, изрыгает к горлу
подступивший комок, одержимый мыслью,
как Магомет, сдвинуть с места гору.
Снег лежит на вершинах; небесная кладовая
отпускает им в полдень сухой избыток.
Горы не двигаются, передавая
свою неподвижность телам убитых.

3

Заунывное пение славянина
вечером в Азии. Мерзнущая, сырая
человеческая свинина
лежит на полу караван-сарая.
Тлеет кизяк, ноги окоченели;
пахнет тряпьем, позабытой баней.
Сны одинаковы, как шинели.
Больше патронов, нежели воспоминаний,
и во рту от многих "ура" осадок.
Слава тем, кто, не поднимая взора,
шли в абортарий в шестидесятых,
спасая отечество от позора!

4

В чем содержанье жужжанья трутня?
В чем — летательного аппарата?
Жить становится так же трудно,
как строить домик из винограда
или — карточные ансамбли.

Все неустойчиво: (раз — и сдуло)
семьи, частные мысли, сакли.
Над развалинами аула
ночь. Ходя под себя мазутом,
стынет железо. Луна от страха
потонуть в сапоге разутом
прячется в тучи, точно в чалму Аллаха.

5

Праздный, никем не вдыхаемый больше воздух.
Ввезенная, сваленная как попало
тишина. Растущая, как опара,
пустота. Существой на звездах
жизнь, раздались бы аплодисменты,
к рампе бы выбежал артиллерист, мигая.
Убийство — наивная форма смерти,
тавтология, ария попугая,
дело рук, как правило, цепкой бровью
муху жизни ловящей в своих прицелах
молодежи, знакомой с кровью
понаслышке или по ломке целок.

6

Натяни одеяло, вырой в трухе матраса
ямку, заляг и слушай "уу" сирены.
Новое оледененье — оледененье рабства
наползает на глобус. Его морены
подминают державы, воспоминанья, блузки.
Бормоча, выкатывая орбиты,
мы превращаемся в будущие моллюски,
бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты.
Дует из коридора, скважин, квадратных окон.
Поверни выключатель, свернись в калачик.
Позвоночник читит вечность. Не то что локон.
Утром уже не встать с карачек

7

В стратосфере, всеми забыта, сучка
лает, глядя в иллюминатор
"Шарик! Шарик! Прием Я — Жучка"
Шарик внизу, и на нем экватор
Как ошейник Склоны, поля, овраги и
повторяют своей белизною скулы
Краска стыда вся ушла на флаги
И в занесенной подклети курь

тоже, вздрагивая от побудки,
кладут непорочного цвета яйца.
Если что-то чернеет, то только буквы.
Как следы уцелевшего чудом зайца.

1980

Хоть местом действия и назван Чучмекистан, не требуется особой одаренности для уяснения того, что приведенные стихи повествуют о войне в Афганистане. Неприязнь Бродского к нынешнему российскому режиму известна; поэтому вполне предсказуема невесторженная оценка им и данной войны. Стихи о событиях такого рода вселяют надежду найти в произведении ясное и недвусмысленное изложение гражданского негодования поэта, не менее ясный и недвусмысленный ответ на вопрос: "С кем вы, деятели культуры?" и, быть может, призыв к перерастанию войны империалистической в войну гражданскую. С сожалением приходится констатировать, что наши ожидания на этот раз обмануты: желаемого четкого представления о гражданской позиции поэта я по этим стихам составить не берусь и сомневаюсь, что кто-то возьмется.

Для политического стихотворения такое признание равносильно признанию неудачи.

Возможно, впрочем, что неудача в одном есть следствие удачи в чем-то другом. Возможно, что данные стихи наряду с главной — афганской — содержат и какую-то побочную тему, и, возможно (гипотеза так гипотеза!), поэту именно эта побочная тема представлялась главной? Для проверки такого утверждения нам не остается ничего иного, как рассматривать данный текст с чисто литературной точки зрения.

Стихотворению предпослан эпитафия. Начнем с эпитафии. Он взят из стихотворения "Сон". Отсюда протягивается историко-литературная нить: первым о войне в Афганистане поверх лермонтовского текста написал А. Лосев. Свое стихотворение в "Эхе" (№ 1, 1980) он начинает так:

Вот ручка, не пишет холера,
хоть голая баба на ней.
С приветом, братишка Валера,
ну, как там — даешь трудней

Эпистолярный зачин и название "Валерик" — уменьшительное от Валера, Валерий то есть — сразу отсылают нас к лермонтов-

ским стихам “Я к вам пишу: случайно право...”, повествующим о сражении с горцами у речки Валерик (а перевести на наш язык, то будет речка смерти). Адресат лермонтовского послания перенесен на орудие письма (голая баба), но во всем остальном Лосев педантично следует фабуле и мотивам оригинала:

Лермонтов

Все размышления мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью...
И нет работы голове...
Зато лежишь в густой траве,
И дремлешь под широкой тенью
Чинар или виноградных лоз,
Кругом белеются палатки;
Казачьи тощие лошадки
Стоят рядом повеся нос...

Лосев

Пока нас держали в Кабуле,
считай до конца января,
ребята на город тянули,
а я так считаю, что зря.
Отличные кстати базары.
Мы так с отделенным пойдем,
возьмем у барыги водяры
и блок сигарет с верблюдом...

“Простора нет воображенью” — “Ребята на город тянули”; “Зато лежишь...” — “А я так считаю, что зря”; “или виноградных лоз” — “... у барыги водяры”; “лошадки стоят рядом” — “блок сигарет с верблюдом”.

На шинели,

Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал.
...взоры
Бродили страшно, он шептал...
“Спасите, братцы. — Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал ..
Не слышат...”. Долго он стонал.

И надо же как не поперло —
с какой-то берданки, с говна,
водителю Эдику в горло
чечмек лупанул — и хана
Машина крутнулась направо,
я влево подался, в кювет,
а тут косорылых орава,
втащили в кусты — и привет.

“Их капитан. Он умирал” — “в горло чечмек лупанул — и хана”; “взоры бродили страшно” — “Машина крутнулась направо, я влево...”; “Тащат в горы” — “втащили в кусты”; “Не слышат ..” — “и привет”

Биографические и литературные связи Бродского и Лосева подтверждаются в том же номере “Эха” фотоснимком, где запечатлены А. Лосев и И. Бродский (справа).

Бродский использует избранное им стихотворение М. Ю. Лермонтова куда скромнее, прежде всего обозначая отличие цитатным отталкиванием: “Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана” противопоставлен строчке, вынесенной в эпиграф;

“Снег лежит на вершинах; небесная кладовая/ отпускает им в полдень сухой избыток./ Горы не двигаются, передавая/ свою неподвижность телам убитых” имеет в виду “Уступы скал теснились кругом./ И солнце жгло их желтые вершины./ И жгло меня — но спал я мертвым сном”.

Подчеркивается различие лермонтовского солнечного жара и холода афганских долин, снова повторен "полдень", сожженные вершины укрываются снегом, но снег этот сух ("сухой избыток" — эквивалент сухого пайка), то есть снова обыгрывается тема "жара".

И все-таки главное, по-видимому, не этот цитатный перебор, а сюжет: человеку, спящему "мертвым сном", иными словами — трупу, снится сон. Такова же и одна из сюжетных линий "Стихов о зимней кампании": "Сны одинаковы, как шинели", поскольку неотличимы владельцы тех и других — "Все будем одинаковы в гробу", как уже однажды отметил Бродский. Путь, впрочем, и здесь был проложен Лосевым: **единственное** существенное фабульное отличие "Валерика" от лермонтовского оригинала в том, что письмо в колхоз писано покойником ("когда с меня кожу сдирали, я сильно вначале блажил").

Таков самый ближний ряд ассоциаций, но они, подчиняясь некой, не понятной еще нам логике текста, чем дальше, тем более углубляются и ширятся.

Вот 5-я строфа: "Растущая, как опара, пустота" немедленно переводит нас к Мандельштаму — "Как растет хлебов опара". На самом же деле, первая часть строфы подразумевает хотя и мандельштамовский, но иной текст:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но видит Бог, есть музыка над нами, —
Дрожит вокзал от пенья аонид...

Это — "Концерт на вокзале"...

И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит.

Концерт делает понятным присутствие "рампы" у Бродского:

...раздались бы аплодисменты,
к рампе бы выбежал артиллерист...

Что же касается до подслойных реминисценций самого Мандельштама, то лермонтовская принадлежность абсолютна в первой строфе ("ни одна звезда не говорит") и бесспорна в последней:

“И мнится мне...” — “И снилась ей долина Дагестана...”. Связь по Лермонтову удовлетворительно объясняет появление Мандельштама в разбираемой строфе, но мандельштамовские аллюзии не ограничены пятой строфой. Вот пример из первой:

Небо — как осыпающаяся известка.
Самолет растворяется в нем наподобье моли.
И пружиной из вспоротого матраса
поднимается взрыв. Брезгающая воронкой,
как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться
в грунт, покрывается твердой пленкой.

Небо со снежными тучами — как побеленный потолок, матрас, воронка, сбежавшее молоко — все это выстраивает четкий ряд уподоблений: зимний пейзаж предстает разросшейся комнатой.

Квартира тиха, как бумага —
Простая без всяких затей...
.....
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.

От “ухлопанной моли” — к самолету, растаявшему в снежных хлопьях, а не торчащему, как муха в молоке — заблудился он в небе, что делать...

И уже несомненный Мандельштам прочитывается в строфе 6-ой:

Позвоночник чтит вечность.

“Позвоночник” и “вечность” поставлены рядом, как:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

Но зеркало цитат все еще не затуманилось:

Север, пастух и сеятель, гонит стадо
к морю, на Юг, распространяя холод.

А это Пушкин:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В поработанные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь мирные народы!

Вас не разбудит чести клич,
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.

Схождения текстов Бродского и Пушкина бросаются в глаза: "сеятель" — "сеятель"; "пастух" — "паситесь"; "стадо" — "стада"...

С Пушкиным мы дошли, по-видимому, до нижнего слоя литературных реминисценций. Теперь неплохо было бы разобраться, что хотел сказать сам автор "Стихов о зимней кампании 1980—го года".

Я полагаю, что цель автора не заключалась в проверке литературной компетенции читателя, равно как и не в демонстрации свободы размещения чужих стихов внутри собственных. Поэт, судя по всему, вообще не читает стихов — он читает поэта. Если для читателя чтение стихов есть — в самом оптимистическом варианте — соучастие в чужом творчестве, то для поэта чтение стихов — обмен мнениями...

Выбор Лермонтова более или менее ясен — спетая им победная песнь Империи в наше время звучит пародией. Путь же от Лермонтова к Пушкину пролегает через "Спор":

От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Двигутся полки.
.....
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,
Страшно-медленны, как тучи,
Прямо на восток.

"Стадо", гонимое Севером к морю, — облака, то есть те самые лермонтовские полки-тучи. Бродский совершает обходной маневр, столкнув певца Империи с певцом Империи и Свободы (так отнесся к Пушкину Г. Федотов). Так производится оборот от хвалы водителю легионов к проклятию поработанным. Но у Пушкина поработаны не враги Империи, а само имперское молчаливое большинство — это уже гораздо ближе мыслям Бродского.

От Лермонтова логично перейти и к Мандельштаму:

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

Бродский интересуется не способами излечения сутулости (“могила”), а причинами возникновения заболевания:

Нятяни одеяло, вырой в трухе матраса
ямку, заляг и слушай “уу” сирены.

.....

...свернись в калачик.

Позвоночник чит вечность. Не то что локон.

Утром уже не встать с карачек.

Итак, перед нами полемика. Не вполне, впрочем, ясная полемика... Остановим, поэтому, наше внимание на некоторых внутренних смыслах “Стихов о зимней кампании”. Прежде всего удивимся непривычной перевернутости Востока и Запада:

Заунывное пение славянина
вечером в Азии.

вместо ожидаемого “заунывного пения муэдзина” и

Мерзнущая, сырая

человеческая свинина.

свидетельствуют, что поэт встал на мусульманскую точку зрения и изменил основной идее русской экспансии. Он не разделяет претензий России выглядеть продолжением европейского натиска на Восток. Луна, закутанная небесной чалмой, со страхом и отвращением наблюдает вонючие сапоги, гадающий металлический скот, немывтое воинство поганой орды, несущей смерть и рабство цивилизованному миру.

Странен и ужасен их варварский язык:

Скорость пули при низкой температуре
сильно зависит от свойств мишени.

В чем содержанье жужжанья трутня?

В чем — летательного аппарата?

Нятяни одеяло, вырой в трухе матраса
ямку, заляг и слушай “уу” сирены.

Это — полевой устав, вложенный в уста старшины-сержанта.

В стратосфере, всеми забыта, сучка
лает, глядя в иллюминатор.

“Шарик! Шарик! Прием. Я — Жучка”.

Здесь в образе печально известной сучки Лайки, выступает связь воинских частей по расции.

Нет больше храбрых поручиков, горячих корнетов, господ военврачей — одно сплошное хамло. Литература оторопело наблюдает происходящее, сознавая полную бесполезность воплощения его в романтических образах.

Ввезенная, сваленная как попало
тишина. Растущая, как опара,
пустота. Существой на звездах
жизнь...

“Ввезенная” противостоит “выхожу”, “вышел”, “ушли” и, следовательно, всей предшествующей традиции — с Бродским русская поэзия лишается иллюзий по поводу свободы воли и выбора; речь больше не идет о свободе выбора жизни и смерти. Потому в текст введены “тишина” и “жизнь” — “Ночь тиха” и “Уж не жду от жизни ничего я. / И не жаль мне прошлого ничуть”. У Бродского повествуется о мертвой тишине и жизни несуществующей (на звездах). Чьей жизни, чьей смерти?

Это важно понять, потому что жизнь и смерть есть тот действительный смысл, который стоит за всеми рассмотренными текстами и превращает их в единое целое —

Пушкин, Лермонтов, Мандельштам — убиты.

Есенин — повесился.

Маяковский — застрелился.

Лермонтов написал “Смерть поэта” с тем, чтобы через 4 года разделить судьбу Пушкина. В 1925 Маяковский написал “в этой жизни помирать нетрудно” и пять лет спустя подтвердил слова делом. Да и сам Пушкин, как представилось позднее, предрек свой конец в образе неведомого, но милого поэта, добычи ревности глухой. Маяковский через все головы обращался к памятнику на Тверском бульваре: “После смерти нам стоять почти что рядом — Вы на “П”, а я на “М” “. Мандельштам избрал в подзащитные Лермонтова. Что же сделал Бродский? является ли он продолжателем славной традиции или же вносит в нее нечто новое, обращаясь ко всему блестящему сонму предшественников в целом?

стихотворения Есенина:

Гармонист спиртом сифилис лечит,
Что в киргизских степях получил.
Нет, таких не подмять. Не рассеять.
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты Россия моя... Рассея...
Азиатская сторона!

Таким образом азиатская подпочва стихотворения Маяковского предвосхищает построения И. Бродского, точно так же, как параллель превращениям Лермонтова образует судьба пушкинского Саади — персидского поэта, разжалованного Есениным в гармониста с киргизским сифилисом. Литературная традиция вытягивается в вереницу подобий и единообразных ходов.

Принципы своего полифонизма он уже излагал “Одной поэтессе”:

Один певец подготавливает рапорт.
Другой рождает приглушенный ропот.
А третий знает, что он сам лишь рупор.
И он срывает все цветы родства.

Отечественной традиции клятвы над гробом Бродский отдал дань в стихотворении 1968 года “Строфы” (“На прощанье ни звука. Грамофон за стеной”), где по канве известного предания об аресте О. Э. Мандельштама он расшил свою собственную судьбу. Мужество перед лицом неизбежности составляло тогда (в 1968 году) моральную норму. Мандельштам ощущал свое время трагическим, а себя – героем трагедии. И отсюда – чувство своей сугубой причастности происходящему: Мандельштам намерен вырвать век из плена, склеить своей кровью его разбитый позвоночник, ручается, что силающиеся оторвать его от века себе же и свернут шею. Он возвышает свой век (и тем самым своих противников), он видит себя на войне за попранные права четвертого сословья –

...Не просить, не жаловаться, цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
чтоб я теперь их предал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим
ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Учитывая это общее мандельштамовское умонастроение, Бродский, по-видимому, имеет в виду и совершенно конкретный текст – “Стихи о неизвестном солдате”, в которых европейский пацифизм 30-х годов странным образом сплетается с пафосом героической смерти. Напомним начало 3-го стихотворения мандельштамовского цикла:

Сквозь эфир десятичнозначенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и **молью** нулей

Но более важным представляется 5-е:

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хорночной
Над улыбкой приплюснутой Швеика,

И над птичьим копьем Дон-Кихота
И над рыцарской птичьей плюсной.

Эти строки прямо соотносятся с “Концертом на вокзале”:

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятении и слезах.
Ночного хора диков начало
И запах роз в гниющих парниках...

С “Концертом” уже сопоставлялась 5-я строфа “Зимней кампании”; остается добавить, что по утверждению Бродского, музыки, в отличие от Павловска, над нами, видит Бог, нет. Кстати, начало “Стихов о неизвестном солдате” —

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его

разъясняет появление в 5-ой строфе Бродского после слов “Праздничный, никем не вдыхаемый больше воздух” — артиллериста (“к рампе бы выбежал артиллерист, мигая”)*

Позвоночник, чтущий вечность, устанавливает отношение “Стихов о зимней кампании” к более общим сторонам мировоззрения Мандельштама: стремлению к связи с веком, чувству современничества, то есть к тому, что в представлении Мандельштама есть выражение самоутверждения личности и утверждения ее права на жизнь. Выносливости позвоночного столба противостоит негибкая слабость:

Позвоночник чтит вечность. Не то что локон.
Утром уже не встать с карачек.

Это уже не политика, это — поэтика.

Мандельштам: Но разбит твой позвоночник,
Мой жестокий, жалкий век.

Бродский: Твой локон не свивается в кольцо,
и пальца для него не подобрать.

(1964)

Негнувшийся позвоночник можно разбить. Локон гнется, всегда выпрямляется и никогда не ломится. В данном контексте Позвоночник и Локон — символы различных и непримиримых поэтик.

Поэтический спор этот начат был давно, по крайней мере за строфу:

* Верность духу подлинной филологии вынуждает нас выдвинуть текстологическую гипотезу. “Стихи о зимней кампании” были задуманы как полемический комментарий к “Стихам о неизвестном солдате”, а 5-я строфа первоначально открывала стихотворение

Жить становится также трудно,
как строить домик из винограда
или карточные ансамбли.
Все неустойчиво: (раз — и сдуло)
семьи, частные мысли, сакли.

Домиков из винограда строить не принято ни на деле, ни на словах. Но рядом находятся “карточные ансамбли” — замена понятная: “карточный домик” и “архитектурный ансамбль”. В карточном домике поселились “архитектура” и “виноград” — “демон архитектуры” и “стихов виноградное мясо” — дух и плоть поэзии и поэтики Осипа Мандельштама. Они обречены — раз и сдуло!

Эсхатология “Стихов о зимней кампании” тоже маска:

Бормоча, выкатывая орбиты,
мы превращаемся в будущие моллюски,
бо никто вас не слышит, точно мы трилобиты.

Под маской снова Мандельштам:

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

Глухота обращена вовне — “Бо никто нас не слышит”; потеря зрения описана не только выкаченными орбитами, но и тьмой — “Поверни выключатель”; завиток, впившийся в океанскую пену и наделенный роговой мантией, обращен в поединок моллюска и символа неокостенения — локона.

Что это все? Спор с Мандельштамом? Да.

Для Бродского Мандельштам вобрал в себя всю красоту и всю ущербность русской поэзии. Споря с ним, Бродский противоречит сводному хору русских поэтов.

Свой собственный голос он поднимает только в конце:

Если что-то чернеет, то только буквы.
Как следы уцелевшего чудом зайца.

Две эти строчки замыкают стихотворение и круг литературных аллюзий. И снова Лермонтов; первая строчка — “Сон”:

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь **чернела** рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

вторая — “Беглец”:

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрее, чем **заяц** от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла.

Следовательно, стихотворение И. Бродского есть апология дезертирства. Моральная предосудительность такого рода поступков неоспорима. На войне, как на войне! Залитые кровью шинели всегда были русскому поэту ослепительны, легки и впору. Но Бродский не писал стихов об афганской войне: “Стихи о зимней кампании 1980 года” — это **стихи о русской поэзии**. Заяц убегает не от орла Империи, он убегает от имперской поэзии, где предназначение поэта есть воинский долг — “Мы умрем, как пехотинцы...”. Под сенью фатализма неотличимыми оказываются тени Лермонтова, Маяковского, Мандельштама и Пушкина — “**Судьбы** исполнен приговор!”.

Иосиф Бродский отказывается петь арию попугая и сделать свою смерть поводом для поэтического вдохновения других — его следы в русской поэзии не раны, а буквы, строки, строфы...

Впервые за всю историю русского стиха Бродский вышел из темы “Поэт и Царь” живым.

ЛЮДИ И КНИГИ

Александр Донде

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ В СССР. ОБ "АНТОЛОГИИ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ"

Речь пойдет о книге, составленной и изданной трудами нескольких человек, проживающих в США и Западной Европе. Наиболее активным в издательской группе был поэт и критик К. Кузьминский. Поэтому для краткости мы будем называть книгу "Антология Кузьминского".

В антологии Кузьминского собраны стихи поэтов, живших в 50-е и 60-е годы в Ленинграде и Москве. Книга названа "Антологией новейшей русской поэзии", а в предисловии проф. Боулт несколько раз называет ее "антологией неофициальной поэзии".

Что такое "неофициальная поэзия"; вообще, что такое "неофициальная литература"? Почему одни литературные тексты мы относим к официальной литературе, а другие к неофициальной?

Строго говоря, литература — это всякий текст, написанный в соответствии с некоторыми формальными требованиями. Требования эти меняются, по их поводу никогда не бывает полного согласия, но не будем обсуждать эту сторону дела, чтобы не запутаться. Как род искусства литература едина, но литературные тексты сильно отличаются друг от друга способом своего существования. Теперь мы говорим: они могут существовать "официально" и "неофициально".

"Официальность" — слово молодое. А применяться к литературе оно стало совсем недавно. К этому времени литература существовала многие столетия и даже тысячелетия, вероятно, даже не подозревая, что в одну прекрасную эпоху она вдруг окажется разделенной на две части — официальную и неофициальную.

Предпосылкой этого разделения было изобретение Гутенберга, приведшее к возникновению двух статусов литературного текста: статуса "рукописи" и статуса "публикации". Рукопись и публикация различились прежде всего юридически. Различной оказалась и их роль в культурной жизни общества. Обратим внимание хотя бы на то обстоятельство, что публикация (тиражированная!) имеет больше шансов оказать влияние на ум, чем рукопись.

Затем постепенно стало намечаться различие между рукописью и публикацией по линии престижа. В нормальных буржуазных условиях престиж публикации несомненно выше. Благодаря процедуре предварительного издательского отбора публикация получила более высокий престиж. Предполагается, что допуск рукописи к публикации обеспечивает ей кпеймо качества, общественной полезности.

В извращенно-буржуазных условиях советского общества престижное различие рукописи и публикации сперва было доведено до абсурдного

предела. В сущности, оно даже переродилось и приобрело роковой и радикальный характер, превратившись в различие между статусом "существования" и статусом "несуществования". Тиражируемая литература, названная в народе соответственно бюрократическому духу эпохи "официальной", как бы монополизировала статус существования. Тогда как рукописная, нетиражируемая литература была загнана в тот мир, где, как сказать, блуждают души неродившихся младенцев, то есть тени, то есть ничто — то есть даже не в мир небытия, а еще хуже — в мир несостоявшегося бытия.

Затем, однако, картина усложнилась. Удручающе низкий уровень советской официальной литературы привел к неожиданному росту престижа неопубликованных рукописей. В определенной среде предпочтение, отдаваемое рукописям, якобы не предназначенным для печати, приобрело даже догматически-доктринальный характер, превратилось в жесткую норму.

Но этот переворот не был полным. В сознании культурных масс на самом деле установилась некая двойная шкала престижей. Презирая официальную культуру, люди, связанные с неофициальной культурой, продолжают испытывать сильный комплекс неполноценности. Печать этого комплекса лежит на всем их творчестве, на всех их вкусах, на всем их поведении. Это могло бы быть темой специальной статьи, и я не буду сейчас развивать эту тему.

Облик неофициальной литературы зыбок. Она представляет собой вавилонское смешение текстов, различающихся по всем мыслимым параметрам, кроме одного, а именно — претензии на литературность. Советская неофициальная литература, этот идеальный тип неофициальной литературы, а, может быть, единственная неофициальная литература в природе, многократно усложняется по своему составу еще и потому, что (1) идеологическая и эстетическая доктрины официальной литературы невероятно узки и (2) роль личных связей для перевода "рукописи" в статус "публикации" чрезвычайно велика. Эти два обстоятельства нечеловечески усложняют вхождение в корпус официальных литераторов, и основная часть написанного народом остается в пределах неофициальности.

Ко всему этому надо добавить, что население поголовно грамотно, и каждый, так сказать, советский Журден умеет говорить не только прозой, но и стихами. Надо еще иметь в виду, что потребность выражать свои мысли в письменном виде резко возросла, потому что масса людей хочет выговориться, а устно это сделать негде и попросту опасно. Произошла также мутация эпистолярного жанра в литературу, так как культура общения по переписке умерла, а писать людям хочется. Многочисленные публикации переписок возбуждают в читателях представление, что всякое письмо есть опус. Все это имеет результатом то, что литературная активность нации разрастается поистине до всенародного участия, и литература оказывается айсбергом с крохотной официальной верхушкой и гигантской подводной частью (как алкоголизм).

Какими же путями написанный с установкой на литературность текст попадает в неофициальную часть литературы? Таких путей несколько.

Во-первых, в социально неоднородном обществе обычно (а, может быть, всегда) литература какого-то одного слоя (класса, сословия, касты, группы) получает статус единственно законной. Литература всех остальных сегмен-

тов общества существуют на “диких” началах. Так было даже до изобретения Гутенберга. Достаточно вспомнить хотя бы то, что наряду с письменной литературой существовало устное литературоподобное творчество. Здесь изобретение Гутенберга в принципе ничего не изменило. Оно только дало привилегированной литературе дополнительное средство обеспечить себе монополию.

Во-вторых, всегда существует некоторый эстетический канон. Иные толкователи считают, что этот канон всегда носит классовый или сословный характер. Иные это отрицают и говорят, что литературные вкусы вещь автономная. Всяко бывает. Но так или иначе, официальный статус “литературы” как бы закреплен за текстами, соответствующими канону. Канон в свою очередь может быть установлен заказчиком (властью) в директивном порядке или базироваться на согласии между членами профессионального цеха.

В-третьих, существует довольно интересный подход к реальной действительности, делящий ее на две части: достойную литературного изображения и недостойную. “Нормальная” литература эти ограничения соблюдает, “дикая” вроде бы нет. Дискриминация некоторых реальностей может рассматриваться как часть эстетического канона, если угодно.

В-четвертых, общественные нормы налагают известные ограничения и на так называемое “идейное содержание” искусства. Очевиднее всего это проявляется в советской литературной практике. Но в какой-то мере идейные ограничения литературы действуют в любом обществе. Например, сейчас никто не осмелится силой искусства пробуждать в народе сочувствие к людоедству. Существует и ряд более тонких нравственных ограничений.

В-пятых, практикующие писатели (при условии, что им не приходится думать исключительно о доходах) иной раз поразительным образом делят свою продукцию на такую, которую они хотят обнародовать, и такую, которую не хотят обнародовать. Чаще всего это бывает, когда взыскательный автор просто недоволен результатом своего труда. Но еще интереснее другой случай, когда у автора нет претензий к сделанной работе, но он почему-то считает ее неуместной в существующем помимо его воли культурном контексте. Классический пример — Кафка.

Итак, литературные тексты попадают в “неофициальную” часть литературы разными путями. Точнее говоря, они разными путями НЕ попадают в ее официальную часть. Некоторые тексты оказываются обречены на неофициальность какой-либо одной причиной. А некоторые по совокупности причин. В них сложным образом переплетается “неофициальность” разного рода. Имея это в виду, мы и охарактеризуем некоторых поэтов, представленных в антологии Кузьминского.

Но сначала о книге в целом. Антология Кузьминского, в отличие от обычных антологий, не подведение итогов, а летопись литературной жизни. В ней помещены не только стихи, но и комментарий, живописно воспроизводящий картину литературной жизни Москвы и Ленинграда. В книге рассказано, кто с кем дружил, кто кого вдохновлял, кто собирал и хранил рукописи, к кому все ходили в гости, какие читали книги и где их брали, как вели себя между собой и на людях, как понимали себя, литературу и

окружение. Материалы очень обильны, и благодаря им книга читается как увлекательный роман.

Количество персонажей этого романа — самый поразительный факт. Кузьминский в одном месте называет цифру 128. Количество людей, готовых писать друг для друга и в стол, поразительно. Не следует ли из этого, что литературная деятельность — потребность, а не товарное производство по своей природе, и что литература в принципе явление “дикое”, стихийное? Так же очевидно, что в условиях политически-полицейского пресса стихия литературной деятельности становится особенно неукротимой. В этих условиях люди тянутся к искусству как к спасительной гавани, ради возможности утвердить себя, как к единственно возможной форме противостояния системе, как к орудию мести, как к утешительной игре, и мало ли что еще.

Но, к сожалению, и как к престижной деятельности. Престижность литературы в этих условиях резко возрастает. Во-первых, потому, что лицензированные литераторы у всех на виду как новая аристократическая группа в бесклассовом обществе. Они становятся, как говорят социологи, “референтной группой” для всего дипломированного народонаселения, то есть, проще говоря, все хотят быть как писатели. Во-вторых, потому что в задвленной массе интеллигенции независимые занятия литературой обретают ореол диссидентского аристократизма.

Функциональная универсальность искусства в обществе проявляется при этих обстоятельствах во всем своем великолепии.

Второе, что поражает читателя в книге Кузьминского, это единство литературного мира. В общем, почти все знали почти всех, в крайнем случае один через одного. Я убежден, что почти каждый эмигрант из Ленинграда и Москвы найдет в книге несколько хорошо известных ему людей, а то и людей, которых он знал лично.

Единству “дикой” литературы способствовали два обстоятельства. Во-первых, литобъединения, поощряемые властью прежде всего для того, чтобы хоть как-то контролировать самодеятельную литературу. Во-вторых, то, что самодеятельные поэты “жались” к редакциям. Кузьминский с горечью отмечает, что все они пытались пробиться в печать. Возле редакций они знакомились и объединились в среду, впоследствии ставшую сравнительно автономной.

Но лишь сравнительно автономной. Еще одна особенность советской литературной жизни заключается в том, что “дикая” и “легальная” литературы тесно связаны друг с другом. Некоторые официалы писали кое-что неофициальное. И, наоборот, некоторым “дикарям” удалось (в разной мере) пробиться в печать и получить двойной статус. Литературная жизнь была едина. Кадровый корпус советской литературы был един. И жил он единой жизнью. В “дикой” литературе мы обнаруживаем постоянное присутствие официальной литературы: временами “дикая” литература имитирует официальную, временами пародирует и травестирует ее, временами косвенно полемизирует с ней.

Перейдем к поэтам, представленным в антологии. Вот один из первых (по времени) героев хроники Кузьминского Рюальд Мандельштам. Великий

страдаец и, по-видимому, почти святой человек. В конце 50-х и начале 60-х годов в Ленинграде о нем ходили легенды. Сыграло свою роль и имя (Роальд Мандельштам был однофамилец Осипа Мандельштама), уже тогда становившееся в определенных кругах как бы паролем интеллигентности и оппозиционности. Потом сведения о нем прекратились, потом прошел слух, что он умер.

Многие думали, что это очень не молодой человек. Стихи его не были молодежными. В них также не было ни политики, ни вообще острой общественной тематики. Если бы в советской литературе продолжались те эстетические тенденции, которые начались в конце прошлого века и еще "тлели" вплоть до начала 30-х годов, Роальд Мандельштам был бы вполне "нормальным" автором. Знакомство со старой традицией и верность ей в его творчестве очевидны. Открытого вызова партийной эстетике в его стихах не видно, но в то же время он как бы игнорировал государственную эстетическую доктрину; просто не считался с ее существованием. Более тщательное исследование его творчества покажет, был ли его художественный выбор следствием особенностей его поэтической личности или сознательным проявлением солидарности с пресеченной литературой. Несомненно, что Роальд Мандельштам писал очень профессионально. Но редакторам советских журналов он, вероятно, показался бы любителем. Они приняли бы тогда его стихи за юношеское баловство, пригодное разве что для семейных альбомов, и были бы абсолютно искренни.

Проживи он немного дольше, он мог бы попасть в печать, потому что эстетические критерии в советских редакциях к концу 60-х годов изменились. Не думаю, что его стихи как-то особенно хороши, как казалось многим в начале 60-х годов. Но они написаны с большим достоинством, не суетливы и серьезны. Нет сомнений, что Р. Мандельштам делал не "дикую" поэзию и оказался исторически и организационно в рядах "диких" только в результате чрезвычайной узости официальной эстетической доктрины и жесткой лицензионной дискриминации.

А вот Глеб Горбовский, почти ровесник Роальда Мандельштама, но человек совершенно другой судьбы. Горбовскому мало было просто писать стихи. Он хотел п е ч а т а т ь с я. Он несомненно из тех, кто не верит в себя, если не получает признания со стороны. А признание он понимает только в его формально-организационном варианте, абсолютно в соответствии с традициями советского бюрократического мышления. Без членства в книжки СССР он и сам не считал себя поэтом.

На мой взгляд он ярче и талантливее Роальда Мандельштама. В то же время его эстетика никогда не расходилась с официальной. Мандельштам был редакторам непонятен и чужд целиком. Горбовский социально и эстетически — свой парень.

"Дикие" стихи Горбовский писал потому, что много повидал, со многими пил водку, участвовал. И Горбовский не был эстетом. Запрещенных тем для него не было. А самое главное, он хотел нравиться тем, с кем делил хлеб, бутылку и кошку. Вот он и писал для них.

Горбовский одной ногой пишет в официальную литературу, а другой — в "дикую" (которая из них левая, еще далеко не ясно). Иные стихи он писал, не зная заранее, получатся они "нормальными" или "дикими". Иные

из его стихов легко могут быть превращены из “диких” в регулярные несложным редактированием. Вероятно, он часто так и делал. Для такого виртуоза, как он, труда это не составляло. Горбовский никогда не удалялся в неофициальность, но и его официальные стихи иной раз достаточно двусмысленны. Он сформировался как поэт на переходе к “оттепели” и обратно, и на всем его творчестве лежит печать двойственности, характерной для этой переходной литературы. Ведь в 60-х годах критерии менялись часто и беспорядочно. Многое, что затевалось как официальное, пролежав год-другой в редакциях, оказывалось неофициальным. Горбовский — гость в антологии Кузьминского и вместе с тем лучшая иллюстрация того, как зыбка грань между официальной и неофициальной литературой в СССР.

Кроме того, в его творчестве обнаруживается тенденция, впоследствии резко усилившаяся: демонстративная стилизация под неофициальность. Классический пример — популярнейшее в широких массах стихотворение “Сажу на нарах, как король на именинах...”. Наиболее полно, кстати, эта тенденция воплотилась в творчестве Высоцкого.

Зато уж кто полный хозяин в этой книге, так это Александр Вольпин. Вольпин — прекрасный поэт, свободный, естественный. В его стихах видны действительность и тип личности, существование которых не желает признавать официальная картина мира. Так что неофициальность Вольпина начинается с его принадлежности к иной жизни и иной системе ценностей. Но самое главное, что не дает ему возможности стать официальным советским писателем, — это ясный ум и неукротимая воля к самобытности.

Он представляет собой не “дикую” периферию официальной культуры, а полноценную другую культуру. Но это не визионерская культура Роальда Мандельштама. Ее ядро — не эстетика. Вольпин не придумывает себе мир, который ему было бы сладостно созерцать. Он пишет о мире, в котором живет. Этот мир весьма объективен. Вольпин — реалист. Можно представить себе много культур, в которых стихи Вольпина сочли бы “дикими”, как сочли, например, в свое время “дикими” стихи Бодлера. Так оно и есть, но “дикая” поэзия Вольпина такого сорта, что она способна поколебать уверенность официальной культуры в своей “нормальности” и общественной ценности. Если поэзия Р. Мандельштама вызовет у советского редактора недоумение и раздражение, но он будет уверенно смотреть на нее сверху вниз, то поэзия Вольпина покажется ему страшной и опасной и возбudit ненависть. Существование поэзии Р. Мандельштама всего лишь нарушило бы монополию официальной версии литературы; поэзия Вольпина своим существованием ставит под сомнение право на существование советской литературы, советской действительности, но, что самое для них страшное, она делает это совершенно понятным для них образом, на доступном им языке.

Помимо всего этого, стихи Вольпина великолепны в своей изящной и ясной простоте, дельной содержательности. Звучат они легко и поражают точностью. Вот пара примеров.

Я — царь вселенной!.. Мне приятно, Инна,
Мне так приятно, словно в сердце — шприц!

Или:

В гнилой воде лежит как жердь
Разутый труп солдата.

Приведенные строчки — концовки стихотворений. Как блестяще они выполняют свою задачу “замыкающих”.

Владимир Уфлянд — поэт компромиссный. Облик его поэзии не прорисован. Если ее считать серьезной, то можно считать ее и неофициальной. Можно, так сказать, предварительно договориться, что она неофициальная. Но так же точно можно договориться, что это просто юмор такой, и тогда этот юмор вполне укладывается в рамки официальной юмористической поэзии. Странно, что его стихи никогда не печатались на знаменитой в народе 16-ой странице “Литературной газеты”. Разве что потому, что были слишком хороши. Они, так сказать, “задали бы” “Литературной газете” слишком высокий стандарт и поставили бы ее регулярных авторов (вроде Александра Иванова) в затруднительное положение. Но сказанное относится отнюдь не ко всем стихам Уфлянда. Дело в том, что несколько стихотворений Уфлянда блистательны. Но в большинстве своих стихов он просто машинально эксплуатирует найденную им плодотворную интонацию. То, что оказалось очень удачно для нескольких стихотворений, далеко не всегда оказывается достаточным основанием для полноценного творческого стиля.

В поэзии Уфлянда часто можно усмотреть странную нерешительность: какое-то робкое стремление уклоняться от серьезных тем и снять впечатление серьезности; укрыться в надежном убежище легкого шутовства. Я бы сравнил некоторые его работы с работами Агнищева. Правда, Уфлянд намного талантливее, зато Агнищеву присуща (как, например, и Вертинскому) вызывающая невольное уважение жанровая цельность.

Налет добровольной второстепенности загоняет Уфлянда на периферию серьезной литературы. Многие стихи производят впечатление домашних, написанных для развлечения близких, некоего неофициального дополнения к официальному творчеству. Между прочим, говорят, что Заболоцкий писал такие стихи в большом количестве, но не публиковал их, по-видимому считая, что они недостойны встать в один ряд с тем, что он писал всерьез.

Однако серьезность Уфлянда со временем возрастала, как это видно из более поздних стихов, приводимых в антологии. Вместе с тем менялся и характер их “неофициальности”. Может быть, в более ранние времена поэт еще мечтал получить государственную лицензию, потом расстался с этой мечтой и пошел путем противоположным пути Горбовского. Уфлянд в этом отношении не одинок. Интересная тенденция, которая еще ждет своего исследователя. К чести Уфлянда, его отход от компромисса и от замаскированного под юмористическую легковесность вызова официальной традиции сопровождался повышением качества и значительности его поэзии. Другим “отщепенцам”, мне кажется, повезло меньше. Не на всех авторах переход в открытую оппозицию к советской официальной культуре сказался благотворно...

Для меня открытием был Михаил Еремин, стихи которого раньше мне были совершенно неизвестны. Он пишет в традиции Хлебникова, которую чувствует, мне кажется, весьма глубоко. Его поэзия напоминает некую неконвенционально переживаемую натурфилософию. Звучит она не побогемному. В чем природа ее неофициальности, кроме почти демонстра-

тивного ученичества у Хлебникова, не совсем ясно. Впрочем, советского редактора должна бы обижать ее непонятность. Жаль, что Кузьминский не сообщает о Еремине никаких биографических сведений.

В ленинградской беспризорной поэзии много эпигонов Хлебникова, черпающих идеи прямо у него и через обэриутов. Еремин, несмотря на это, выглядит одиноким, потому что при всей своей очевидной зависимости от Хлебникова, он развивает его идеи по-настоящему и весьма индивидуалистически. Он использует их не в целях комических эффектов, а ради каких-то гносеологических приключений.

В "Барачной школе", как ее называет Кузьминский, выражен групповой характер и более сознательное противостояние официальной литературе, сознательная полемика о ней. Она откровенно критична и по отношению ко всей советской действительности, точнее к бытовой ее стороне. Тяжесть и унизительность советского быта откровенно подвергается горькому осмеянию с позиций своеобразного "этического эстетизма". Здесь наиболее яркие фигуры Генрих Сапгир и Игорь Холин. Оба они занимают одновременно видное место в советской детской поэзии. Подобно обэриутам они совмещают более или менее приемлемую для официальной культуры детскую поэзию со свободным творчеством. Нельзя сказать, что детскую литературу они пишут просто для денег и для "прикрытия". Как и у обэриутов, техника их детской поэзии и "взрослых" стихов близка. Еще один вариант существования на грани официальности и неофициальности...

Поэты "Синтаксиса" придали неофициальности организационный смысл, хотя, видимо, ничего не добавили к содержанию и эстетике неофициальной поэзии. Кузьминский, однако, отмечает, что ни одно периодическое издание за рубежом не отразило так точно тенденции в неофициальной поэзии и не уловило "лучших" (я предпочел бы сказать "типичных") ее представителей. Пожалуй, Кузьминский прав. "Синтаксис" Галанскова и Гинзбурга и сейчас остается идеалом во многих отношениях.

"Геологическая школа" занимала в общем теле советской литературы особое место. Настроения и интонации ее были восприняты официальной литературой и даже оказали на нее влияние. Экзотические детали экспедиционного быта позволили ей несколько оживить романтическую струю, которая совсем было иссякла по причине слишком долгого мирного времени. Геологическая романтика стала в советской литературе суррогатом бродяжнической романтики. Ничего интересного, кроме Горбовского, который быстро эту школу перерос, она не выдвинула и останется в нашей памяти (если останется) только в виде массы однообразных сентиментально-романтических песен. Их до сих пор поют студенты, путешествующие группами в автобусах.

"Формальная школа" мне непонятна. Вернее, я не понимаю самого пафоса формалистического экстремизма. Формалистические упражнения мне кажутся все на одно лицо. Не берусь судить, какое значения для спасения русской культуры имеют эти иной раз изобретательные эксперименты. Лимонов в заметке, сопровождающей работы талантливого Генриха Худякова, пишет: "...Авангардизм часто объясняется почти бессознательным желанием поэтов и художников стать в оппозицию к режиму, сделавшему своей официальной культурой реализм". Это правда. Многие ду-

мают, что они показывают кулак (или кукиш) режиму, оскорбляя его эстетические вкусы непонятными для него опусами. Но что это дает? Вряд ли “бессознательные желания” могут быть продуктивны. А если учесть, что никто толком не знает, что такое реализм, а меньше всех понимает в этом “режим, сделавший его своей официальной культурой”, и если учесть, что нет более искажающего действительность метода, чем этот официальный якобы реализм, то можно вполне подумать, что как раз формализм — светлое будущее официального советского искусства, что власти пока не понимают, но — всему свое время: когда-нибудь поймут. Признаки этого прозрения налицо уже сейчас — и здесь есть над чем подумать.

Среди поэтов этой школы мне очень понравился неизвестный мне ранее Владимир Бурич, например (воспроизвожу вместе с графикой его текста):

Я ЛЮБЛЮ ВСЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ:

Хлеб из теста.

Дом из теса.

Я еще об асфальт не истерся.

Как сказал бы Козьма Прутков, и формализм на что-нибудь полезен.

Я хочу закончить этот обзор одной из самых интересных, драматичных и таинственных фигур в поэзии того времени. Это — Красовицкий. Имя Красовицкого носилось над ленинградскими и московскими гостиницами (кухнями) всю ту эпоху. Его называл в числе своих учителей и Бродский. Прав Кузьминский: Красовицкий — гениальный человек. Его поиски в поэзии не были поверхностными формальными исканиями. Красовицкий, похоже, искал такую форму поэзии, которая удовлетворила бы его как форма существования. По-видимому, его требования к форме собственного существования были очень высоки и необычны. В какой-то момент он, может быть, почувствовал, что в пределах поэзии он не сумеет решить те задачи, которые перед собой ставил и решение которых казалось ему столь настоятельно необходимым. Видимо, его персональные устремления вели его к радикальному разрушению поэтической формы, и он на это решился.

В стихах Красовицкого разрушительные тенденции тесно переплетаются с созидательными и борются друг с другом. Редко созидательные тенденции побеждают, и тогда получаются такие стихи как “Шведский тупик”, который Кузьминский справедливо считает шедевром. Но, такое впечатление, что Красовицкий этого нашего энтузиазма, возможно, и не разделял бы.

Кажется, с конца 60-х годов стихи Красовицкого перестали поступать в оборот. Прошел слух, что он покинул поэзию. То, что он нам оставил, вызывает одновременно восторг и недоумение. В его творчестве мощь и гениальность сочетаются с какой-то несостоятельностью, что ли. Как будто бы одно время Красовицкий пытался предлагать свои стихи для печати. Затем безнадежная. Но если бы он жил в нормальных условиях и мог бы размножить свои стихи без разрешения властей, захотел бы он этого сам? Это не совсем ясно.

Будет большой сенсацией, если когда-нибудь Красовицкий вернется

в поэзию и удивит нас всех неожиданными и неслыханными достижениями, для которых он, несомненно, был рожден. Но я думаю, что это вряд ли возможно. Великие достижения поэзии позади, и Красовицкий болезненно почувствовал это. Кто хочет с пользой совершать сверхчеловеческие усилия, должен искать в каких-то иных сферах...

* * *

Читайте антологию Кузьминского, роман ленинградской и московской художественно-интеллектуальной жизни середины этого века. Многие из вас встретят там знакомых, по крайней мере — знакомые имена. Кое-кто столкнется с чем-то совершенно незнакомым и неожиданным, и это еще приятнее. Эту книгу можно читать, почитать и просто перелистывать. Ее можно читать с любого места и в любом направлении. В ней много чудесных стихов, много колоритных персонажей (их значительные лица можно увидеть на фотографиях), много интересных сплетен. В ней воссоздан дух русских столиц середины века, ныне уже, боюсь, улетучившийся. Но Кузьминский — носитель этого духа. Мы можем его причаститься.

Д-р Яков Аўзенштат

“ АНТИЕВРЕЙСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ”

Среди изданий, выпускаемых Центром по исследованию и документации восточно-европейского еврейства Еврейского университета в Иерусалиме, особое место занимают сборники “Антиеврейские процессы в Советском Союзе”.

В 1979 году вышли два тома, посвященные судебным процессам 1969–1971 годов. Недавно, в 1984 году, вышел третий том, где нашли отражение судебные процессы 1972–1975 годов. Редактором этого издания и автором юридического комментария к каждому судебному процессу является Абрам Исаакович Рожанский. Он окончил юридический факультет Варшавского университета. С 1939 по 1976 гг. жил в СССР, после чего репатрировался в Израиль. С 1946 по 1976 гг. работал в ленинградской адвокатуре; участник многих крупных уголовных процессов, опытный квалифицированный юрист. В Рижском антиеврейском процессе защищал Аркадия Шпильберга. По приезду в Израиль работал в Еврейском университете в Иерусалиме, а сейчас — практикующий израильский адвокат и нотариус.

В трех томах этого издания опубликованы документы по 19 антиеврейским судебным процессам в Советском Союзе. По многим делам опубликованы подлинные следственные и судебные документы: обвинительные заключения, приговоры и определения. Приводятся материалы из советской печати, связанные с тем или иным судебным процессом, отклики общественности, письма и петиции советских граждан, опубликованные

в Еврейском самиздате. В связи с тем, что осложнилась возможность вывезти из Советского Союза подлинные судебные документы, некоторые из публикуемых процессов основаны лишь на тщательно проверенных фактических справках, составленных очевидцами и слушателями рассмотренных дел. Публикация материалов каждого судебного процесса сопровождается юридическим комментарием А. И. Рожанского. Этот комментарий составлен на основе советского законодательства, судебной практики Верховного суда СССР и теории советского права. Комментарий составлен так, что им могут пользоваться как специалисты-юристы, так и другие читатели, заинтересованные в ознакомлении с предметом.

Эти комментарии доказывают, что в ходе антиеврейских процессов советские судебные власти допускали нарушение основных принципов конституционного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства СССР. Верховные суды РСФСР, Украины и Латвии, а также Верховный суд СССР нарушали свои опубликованные обязательные руководящие указания. Следователи, прокуроры и судьи пренебрегали не только законами своей страны, но и теорией советского права. Из опубликованных материалов видно, что срок лишения свободы для каждого осужденного зависел не столько от совершенных действий, сколько, в основном, от того, признает ли себя подсудимый виновным и публично осуждает содеянное и самого себя, или принципиально отстаивает правоту своих убеждений. Особенно жестоко отнеслись к тем из осужденных, которые, несмотря на ожидавшие их лишения, негибело стояли на своем (Кузнецов, Дымшиц, Шпильбер, Кочубиевский, Кукуй и др.)

Комментарий по каждому процессу доказывает на конкретном материале необоснованность и неправосудность приговоров. Юридические комментарии А. И. Рожанского являются с одной стороны научным исследованием, ибо опираются на правовую теорию, на научные труды по советскому праву, на юридические нормы, а с другой стороны – из их текста видно, что они составлены опытным адвокатом с большой практикой по уголовным делам, виден высокий профессионализм автора, его адвокатское умение анализировать и критиковать допущенные судами нарушения законности и искажения фактических обстоятельств.

Рецензируемый трехтомник является историко-правовым документом, отображающим одну из позорных страниц советского судопроизводства. Он помогает читателю понять и оценить действительные цели и намерения советских властей, безрезультатно стремившихся подавить еврейское национальное движение в Советском Союзе. Значение сборника состоит в том, что он помогает исследованию дискриминации евреев в СССР. В обвинительном заключении по делу Шпильберга, Александрович и других, утвержденном прокурором Латвийской ССР 4 марта 1971 г. и опубликованном во 2-м томе сборника, указано, что обвиняемые договорились собирать клеветническую информацию "о положении евреев в Советском Союзе" и на основании этой информации издать нелегальным путем книгу о якобы существующей в СССР дискриминации граждан еврейской национальности. Эта книга не была подготовлена и не была издана. Такой книги нет до сих пор. Юридическое исследование вопросов дискриминации евреев в СССР связано с немалыми трудностями. При исследовании этих

вопросов наряду с другими материалами, опубликованными в неподцензурной печати, исследователю будет весьма полезен рецензируемый сборник.

Все изложенное позволяет сделать вывод, что целесообразен и актуален перевод сборника на другие языки и прежде всего на английский. При этом переводе необходимо устранить некоторые незначительные редакционные неточности и ошибки, имеющиеся в трехтомнике.

Нет сомнения о том, что Абрам Исаакович Рожанский и те, кто помогал ему, успешно проделали большую и полезную работу и заслуживают самой высокой похвалы.

Пройдут годы, и молодые поколения, проживающие в собственной и свободной стране, поймут благодаря опубликованным материалам, какой вклад в их будущее внесли те, кто сидел в 70-ых годах XX-го века на скамьях подсудимых в Советском Союзе и действия которых с максимальной достоверностью отражены в этих сборниках.

Рецензируемая работа показывает как советский суд, помогающий советскому партийно-государственному аппарату дискриминировать евреев, облечен правами, чтобы рождал бесправие, и защищен законами, чтобы творить беззаконие.

Книги, которых мы не читаем

И. Малер

ИЗ ФИЗИКИ-ЛИРИКИ

· (А. Прокофьев. – "Художественная литература", Л., 1940 г.)

– А танками землю мы сможем
покрыть? –
Танкисты ответят: покроем!

(Тот же автор, из той же книги)

Есть у меня собрание случайных открыток. И чего только в нем нет!

Вот, например, предвоенные открытки, изо (ото)бражающие будни Советской армии: ни тебе учебы, ни занятий, ни писаний писем родным или турецкому султану. То догоняют шпиона, то поймали шпиона, то отстреливаются в нарушителей государственной границы СССР

Или вот – серия портретов писателей, исполненная с рисунков Яр-Кравченко. Сплошные лауреаты. Два лица выделяются своим нахальным выражением даже среди писателей. Один из них -- Демьян Бедный. Он баснописец, ему-то ладно. Второй – Александр Прокофьев Тонкий лирик. Посевное солнышко да березка-береза.

Наш сборник – красненькая книжка с вытесненным полотнищем да наконечником древка – отличен не лирическими стихами, а – актуальными, на злобу дня

Александр Прокофьев – один из немногих, кто имел возможность при-

существовать на всех съездах советских писателей; и что интересно — на первом съезде он выступал на двадцать втором заседании, на втором — на четвертом, на третьем — на втором (что-то спортивное мне это напоминает, так и слышу голос комментатора). Выступления поэта Прокофьева на каждом из указанных съездов поражают неким однообразием идей и словаря; однако на первом была высказана одна, если не оригинальная, то характерная мысль (или как ее именовать?): “У многих советских биографии очень тусклые. Так многогранна и красочна жизнь нашей страны, и так бесцветна и однообразна жизнь поэтов! (прямо Хрущев какой-то. — И. М.). Человек, не имеющий биографии, должен уметь ее создать. Поводов для этого в нашей стране очень много. От каждого из нас необходимо только рвение к этому крайне полезному для себя делу”. Кавычки закрываются.

1936 год отмечен статьей в газете “Правда”, в которой настоятельно рекомендовалось ввести в новогодний ритуал елочку. Наступал одна тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Вот Прокофьев:

Гробом будь земля им, только гробом!
За насилие над страной труда,
За измену родине, за злобу —
Кровью отвечайте, господа!

Где бы ни ползли — весь путь их страшен,
Где бы ни шли они из всех зыбей, —
Их за нашу кровь, за муки наши,
Ненависть, настигни и убей!..

И за то, что враг бомбил бы вскоре
Наши села, наши города,
За презренный заговор, за горе —
Кровью отвечайте, господа!

(1937)

Беспощадный приговор народа
Как набат над миром прогремел.
Именем советского народа —
Именем семнадцатого года —
Пятую колонну на расстрел!

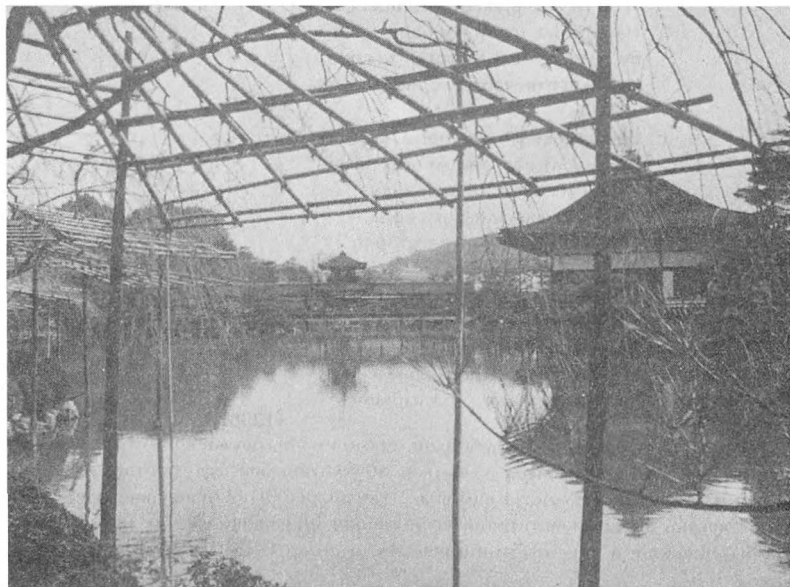
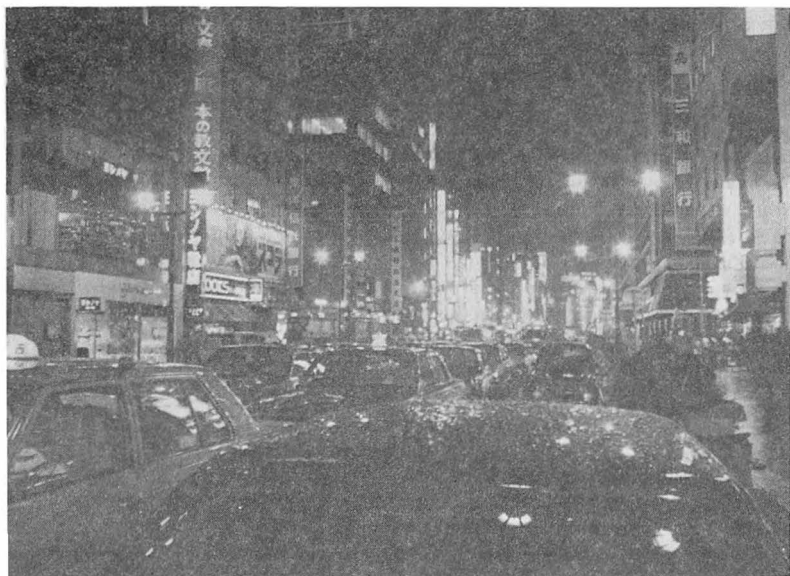
В землю, в землю пятую колонну,
Больше ей не лгать, не отравлять!
Волею народа непреклонной,
Волею страны красной знаменной
Пятую колонну — расстрелять!

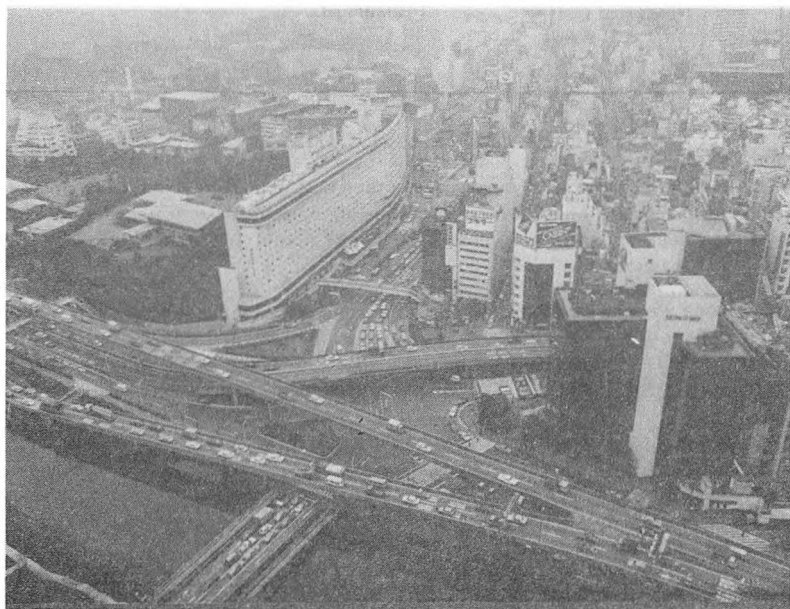
(1938)

Конечно, тогда многие требовали, проклинали, осуждали, но это и тут я почувствовал, что и меня разбирает обличительный люд достать из широких штанин, указать указательным. Когда бы были написаны эти стихи Прокофьева во времена крушителей машин или французских коммун, мы бы их оценили, в хрестоматии ввели. Но в этом, 1978-м, время еще не пришло.

... почему это в 78 м? Ах, да! в том году мы уехали

Из альбома Арнольда Гехтмана (Рамат-Ашарон)





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ "ДВАДЦАТЬ ДВА"

Условия годичной подписки: в Израиле 25 долларов (по текущему курсу), за рубежом 40 долларов (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долларов), для организаций — 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чек (чеки) №..... на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Инфляция ставит под угрозу существование нашего журнала. Мы просим всех, заинтересованных в его сохранении, помочь нам пожертвованиями, которые, независимо от их размера, будут приняты с искренней и глубокой благодарностью.

В июле журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: М. Коваш (Петех-Тиква) — 500 шек., А. Либерман (Ришон ле-Цион) — 1000 шек., Л. Наткович (Нацерет-Илит) — 1000 шек., Г. Фридман (Гиват-Нешер) — 800 шек., С. Броуде (США) — 31 долл. Искренне благодарим этих друзей журнала.

КО ВСЕМ АВТОРАМ

Отвергнутые рукописи редакция не возвращает и в переписку по их поводу не вступает.

Начиная с № 38 (ноябрь 1984 г.)
в нашем журнале
впервые на русском языке (с разрешения автора)
прославленный детективно-политический роман
Джона Ле-Карре

"МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА"

...Как удалось террористам проникнуть в дом израильского атташе в Западной Германии и взорвать его? Для расследования загадки в Европу прибывает группа израильских разведчиков, которая нападает на след неуловимой организации террористов, скрывающейся в Ливане. Джон Ле-Карре побывал в Израиле и Ливане, собирая материал для своего нового романа, ставшего бестселлером детективной литературы нынешнего десятилетия. В нем с убедительной правдивостью, шаг за шагом, воссоздается сложнейшая антитеррористическая операция израильской разведки.

...Молодая английская актриса должна стать главным орудием израильтян. Любовь — ключ к этому превращению. Но законы любви сложнее расчетов логики. Не станет ли она орудием палестинцев? Что возьмет верх — долг или сострадание? И что достанется победителям — радость удачи или горечь разочарования?

Читайте в ближайших номерах журнала:

Михаил Федотов. **Соотечественники** (первая часть остро-психологического и авантюрного повествования о судьбах и любви людей, разбросанных жизнью по свету — в России, Канаде, Израиле, Афганистане, Ливане)

Генрих Элинсон. **Член** (ленинградская повесть, или гоголиада для взрослых читателей)

Леонид Цыпкин. **Мост через Нерочь** (лирико-автобиографическая повесть безвременно скончавшегося большого русского писателя)

Станислав Лем. **Провокация** (новое произведение знаменитого польского фантаста, посвященное Катастрофе)

Биньямин Таммуз. **Харчевня Иеремии** (антиутопия известного израильского писателя, изображающая "хомейнистский" Израиль 2084 года)